

Annotation

Роман «Цена отсечения» – остросюжетное повествование о любовной драме наших современников. Они умеют зарабатывать – но разучились выстраивать человеческие отношения. Они чувствуют себя гражданами мира – и рискуют потерять отечество. Начинается роман как семейная история, но неожиданно меняет направление. Любовная игра оборачивается игрой в детектив, а за всем этим скрывается настоящее преступление.

- [Александр Архангельский](#)
 - [ЧАСТЬ 1](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [ЧАСТЬ 2](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [ЧАСТЬ 3](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Эпилог](#)
-

Александр Архангельский

Цена отсечения

Фауст

Что там белеет?
говори.

Мефистофель

Корабль испанский,
трехмачтовый,
Пристать в
Голландию готовый:
На нем мерзавцев
сотни три,
Две обезьяны,
бочки злата,
Да груз богатый
шоколата,
Да модная болезнь:
она
Недавно к нам
завезена.

Фауст

Все утопить.

*Пушкин. Сцена из
Фауста*

«Мы
предварительно
оцениваем рыночную
стоимость объекта и
возможные риски,

связанные с его приобретением. Еще до выхода на аукцион устанавливаем цену отсечения, больше которой дать не готовы», – рассказывает заместитель генерального директора ЗАО «Зест» Светлана Рясная.

*Газета «Ведомости»,
№ 233 (1760) от 11. 12.
06*

ЧАСТЬ 1

Глава первая

События проистекали так. – Первого января начали действовать новые гаишные правила. Ранним утром второго Жанна Ивановна и Степан Абгарович проводили Тёмочку в аэропорт: будь неладен вевейский лицей. В субботу тринадцатого шумно отгуляли Степин юбилей, во вторник шестнадцатого тихо отметили очередную годовщину свадьбы – вечером выпили по рюмочке, поцеловались, и привычно, мирно, ласково разошлись по соседним квартирам. А тридцатого Жанна поднялась пораньше, восьми еще не было, выгребла из почтового ящика пачку газет, счетов и буклетов. Не дожидаясь прихода МарьДмитрьны, сама заварила чай, рассортировала почту, проглядела. И ясная, размеренная жизнь вдруг помутнела и запуталась.

Конверт был заклеен халтурно. Фотография выскользнула сама собой. Глянцевая, десять на пятнадцать. В нижнем левом углу помета. Золотистая, циферки ломаные. *Дата.* 16.01. *Время.* 10:37:24. *Место.* Дмитровское шоссе, 42 км. *Скорость.* 124, 5 км/ч. *Превышение.* 44, 5. В конверте застряла шероховатая квитанция: на основании... штраф... в двухнедельный срок... И синеватый штампик в правом верхнем: ГИБДД.

Направление пути понятно; несколько минут – и Сорочаны, горнолыжный спуск, они там всей семьей бывали. На фотографии – их черная восьмерка, «Ауди» шестого года выпуска. Легкая вмятина на левом переднем крыле: на даче Степа криво парканулся, и Жанна зацепила, въезжая в гараж. О своей покоцаной машинке, милой девочке, она позаботилась сразу; Степина *авдюшка* до сих пор со шрамом. Сколько раз просила Васю починить. Но личный водитель, как сопливый бульдог, признает хозяина – и только. А Степе на мелочи плевать. Все для него ерунда.

Но вот уже не ерунда. На фотографии – никакого Василия. Хотя с утра шестнадцатого он заходил: забрал баулы, в химчистку, пока Степан Абгарович *вопросики порешает*. Василия на фото нет, а Степочка есть, на правом сиденье, в тени. Затемненное стекло приспущено, как будто бы нарочно, чтобы не было сомнений: это он. Седая грива стянута резинкой, на плече жесткий, проволочный хвостик. А за рулем – профурсетка.

Лупы у Жанны не было. Зато было Степино зеркало для бритвы, с увеличением. Она пошла в ванную, мельком взглянула на себя: и за что ей это? ведь она же хороша? ладненькая, черненькая, с синими глазами, почти

совсем не старится и не седеет... Обычная? много таких? может, и много, да меньше, чем этих... Приставила фотографию, надела утренние очки, включила подсветку. Девка молодая и восточная, смоляные волосы до плеч, дымчатые стекла, красная оправка. По утрам беговая дорожка, два раза в неделю солярий, по воскресеньям спа и японская бочка с распаренными цветиками; до сорока – товарный вид, потом – зачистка кожи, подтяжки и откачка жира. Типичная охотница, своего не упустит. Явно знала, что шестнадцатое – их символ, семейный день. Потому и настояла на свидании, наметила трещину. Прикинулась дурочкой: ах, мой милый, конечно, как же я забыла, прости-прости-прости. Я ничего, я так, безо всякой задней мысли, просто захотелось покататься на лыжах! Вдвоем, только ты и я... Год какой ужасный выдался, бесснежный, туманный, а сегодня, можно сказать, первый снег. Ничего, не судьба, не сейчас, так в другой раз... После нежных извинений отказывать неловко; невинное приключение, платоническое. Покатались, покраснелись, потом слегка замерзли, выпили пахучего глинтвейну, поехали домой. Но глинтвейн согревает сердце; разогретое сердце уступчиво; девчонка это знает не хуже, чем Жанна. И после *этого*, пропитанный обманом, он посмел заявиться на кухню! сказал ненавязчивый тост, отметил: я тут, в семье, хороший, добрый, твой.

От обиды кровь загустела, стала двигаться толчками, рвать сосуды изнутри. Первое желание было: выскочить на лестничную площадку, вломиться в Степину квартиру, растолкать, поднять на ноги, ткнуть фотографией в харю, заверещать, а лучше взвыть. Она была бы маленькой и беззащитной, а он стоял бы перед ней большой, лохматый, с распущенными космами, в полосатых трусах, растерянно пахнущий утренним потом. Что стряслось? который час? А она бы вдруг успокоилась и сказала бы. Не то беда, что в машине баба. Баба – что уж, баба дело наживное, пришла, ушла... И даже не то беда, что уговор нарушен. А то беда, что это *наш* день. И ты мелко соврал: срочные дела, облом, кредиты. Зачем? я же не спрашивала. Я никогда не спрашиваю, Степа...

Никуда она не пойдет, ломиться не станет. Столько прожито вместе, через такое прошли, что за полудетские порывы. Обиду можно пережить, ярость остынет. Большой любви у них давно уже не было, зато было нечто более дорогое и надежное: тихий мир, молчаливый уговор о доверии. И в отношении амуров, и в отношении расходов, и в любом другом отношении.

Взять квартиры. Дверь в дверь, у каждого ключи от обеих, тайн никаких, но все-таки на ночь – врозь. Кто не знает, может подумать, что это мягкая форма разъезда: ну не спят супруги вместе, делов-то, не они первые, не они последние, зато расстаться до конца не хотят, договорились о

взаимной автономии; молодцы. Ничего подобного! В этом смысле они вполне себе спят. Не слишком часто, не очень бурно, но ей хватает. А досыпают – врозь. Степа физически не может пробуждаться в одной комнате с другим человеком. Даже если этот человек – жена. Он объявил об этом на излете первого свидания, в Томске; Жанна тогда замутила истерику; он молча собрался, тихо прикрыл за собой дверь и равнодушно ушел в темноту. Она решила – навсегда, ревела. Но нет: вечером вернулся как ни в чем ни бывало, а поздней ночью опять исчез.

В Москве они снимали разные квартиры. Желательно в одном подъезде. Хозяйки, старые московские хрычовки с черными усиками над губой и дурным запахом изо рта, вертели паспорта, сличали штампы о браке и никак не брали в толк: если муж и жена, почему живут отдельно? Если живут отдельно, почему муж и жена? Не воровская ли шайка?.. Старухам было тревожно, но жадность брала свое; они накидывали десятку – за дополнительный риск, и ковыляли на кухню, чай пить с сушками.

Потом купили парную берлогу на Покровке, две двушки на втором этаже. Район понравился обоим; теперь они селились только здесь, в пределах Чистопрудного бульвара. Чем богаче становились, тем просторней было сдвоенное жилье, выше этаж. Но правило не менялось: с утра до ночи любящие супруги, с ночи до утра мирные соседи. И ничего себе, жили. До тридцатого числа января месяца две тысячи такого-то года.

Не в девчонке было дело. Точнее, не только в ней. Любовницы, они зачем нужны? Для страсти, которая выветрилась из домашних отношений. А на этой фотографии, будь она неладна, расслабленные позы, никакого возбуждения, семейный покой. Девка сидит привычно, с удобством, почти лениво, как хозяйка; наверное, беззаботно лопочет. И Степан развалился уютно. Голубки. Это – страшно. Страсть полыхнет и погаснет. В ней каждый остается по себе, партнеры делят удовольствие, как доли в прибыли. А взаимный покой связывает любовников, сплетает, обволакивает. Им хорошо вместе, поодиночке – худо. Прорастут, не отдерешь. И что тогда?

Казалось: жизнь расчислена до самого итога, канва прочерчена, осталось вышить крестиком узоры. Через десять лет – первые внуки, через двадцать – свежая старость; через тридцать болезни, голубиный старческий клекот; а потом раздастся – пык, как газ на выключенной конфорке, и обступит вечный покой. Обступит и обступит. Тебе уже будет все равно, а дети-внуки как-нибудь переживут. И что теперь? Прости-прощай, начинаем с нуля? Тёмочкину нет шестнадцати, он еще не встал на ноги. Жанне тридцать восемь, и она уже никем не будет. Всегда при муже. И при каком

муже! Страшно умном, очень вредном, иногда щедром и полностью открытым, иногда вдруг обжигающе-холодным, жадным и чужом. Но – неформатном. С ним было не только надежно – мало ли надежных мужчин; с ним было интересно, он излучал энергию, мощную, грубую: не подзарядиться невозможно.

Было... почему было-то? что за прошедшее время?

Кровь отлила от лица, раздражение погасло, навалилась тупость. Жанна аккуратно (она все делала аккуратно) склеила конверт, придавила плотнее. Как в тумане, спустилась вниз, сунула проклятое письмо в почтовый ящик: не было ничего, не видела, не знаю, сам разбирайся. Вернулась на кухню, открыла холодильник – ну-ка, что тут у нас?

У нас тут была творожная масса, вареная колбаса – языковая, с тонкой окружностью жира в сердцевине, черные испанские помидоры с красновато-зелеными крапинками, мокрая моцарелла, горько пахнущий базилик, жирные греческие маслины; на нижней полке в колючей бумаге лежал тонко наструганный хамон, за ним стояла мисочка с вареной гречкой. Степа любит, чтоб холодильник был набит – комплексы голодного детства; у нее в семье с едой был военный порядок, ей все равно, но Степа хочет – и его желание закон.

В боковом шкафике были найдены мед и джем; у плиты бутылочка с драгоценным оливковым маслом, не то что первый холодный отжим, а какой-то почти нулевой, из Кордовы в сентябре привезли, до сих пор растягивали удовольствие; в хлебнице остался чесночный хлеб, разогреваешь – очень вкусно, хотя и разит изо рта, никакой резинкой не зажевать.

Жанна стала есть. Не особо различая вкус. Колбасу заедала оливками, моцареллу хамоном, гречку сдабривала маслом и ковыряла ложкой творожок, поливала джемом чесночный хлеб.

Процесс жевания успокаивал, оттягивал тоску. Было в этом что-то животное, коровье: равнодушно жевать жвачку, прислушиваться к движению желудочного сока, ласково и бессмысленно смотреть на мир. Постилась, худела, усердно потела в фитнесе, два раза в день вставала на весы; не уследишь, расползешься, обратно квашню не упихнешь. А теперь сидела на кухне и в полном одиночестве набирала вес.

Глава вторая

1

Дверь щелкнула затвором; автоматически открылась. Хозяин объявил по громкой связи: проходите, я через минуту. Сутулый молодой старлей и короткий майор с брылями потоптались в прихожей. Огляделись. Сделано все грамотно, интересно. Взять камеры слежения. Обычно болтаются в воздухе, как детские модели вертолетов; здесь – утоплены в стены по всему периметру; только профессионал поймет, что за блескучие кружочки.

И планировка необычная. Коридор, можно сказать, отсутствовал. Внутренние стены тоже. Метров шестьдесят, а то и семьдесят открытого пространства – нараспашку. Но с перепадами: «ехали-ехали в лес за орехами» – все помещения на разных уровнях. Прихожая, как подиум, приподнята сантиметров на двадцать; на первом спуске – полукруглый холл; возле камина полосатые кресла, желто-зеленого старинного оттенка, у окна – такая же оттоманка. Стеллаж с кассетами, виниловыми дисками, сидюками и толстыми талмудами по экономике. На одной стене домашний кинотеатр, не то чтобы очень уж новый. На другой, вразброс, географические карты. Одна огромная, с размахом, в полстены: «Генеральная карта Российской империи». Другие поменьше, победнее; в основном почему-то Сибирь.

Еще ступенька вниз, и ты – на кухне. Или в столовой, сразу не определишься. Плита и мойка отсечены от зала, расположены в углу и на приступочке. Перегородок нет. Одни повышения и понижения. Хмельным не очень-то походишь: спотыкач. Хорошо хоть света много.

На белых полках, справа от камина, стояли деревянные коробки, разного калибра. Потемневшие, карябанные, старые. С крохотными дырочками. Внутри – загадочные зеркала. Лейтенант бывал в Политехническом – сначала с отчимом, потом и сам; он знал, что такое кунсткамера, но в руках никогда не держал. Взял тонкостенный ящик, поставил на широкий подоконник, навел отверстие на заснеженный дуб посредине двора; на косо серебристой пластине проявилось слабое сияние, наметилась дрожащая картинка; дуб оплывал и змеился, как змеится раскаленный воздух над асфальтом.

Лейтенант подошел к камину. Оказалось, дымоход, похожий на

опорную колонну, не примыкал к несущей стене; это был обман углового зрения. За колонной прятался коридор, уводящий вглубь квартиры: еще одна полуступенька вверх, пол приподнят, а потолок приспущен. В прихожей, холле и столовой все такое открытое, просторное, а в коридоре низкое и узкое. Как переход из отсека в отсек на подводной лодке, где лейтенант отслужил когда-то срочную. Но по обе стороны – сплошные окна. Надстройка на крыше!? Да нет же, фальшак! Искусственный свет под стеклом. Но выглядит красиво и солидно.

Майор тем временем изучал плитку. Сел на корточки, пощупал, постучал, мизинцем проверил корявые швы. Он и сам занимался ремонтом, дело как раз дошло до кафеля. Плитка выложена крупно, квадратно-гнездовым. Черный квадрат, белый. Черный, белый. Кафель шершавый, матовый. Стильно, современно. Хотя и рябит в глазах с непривычки.

У окошка стоит деревянный стол, массивный, грубо струганный, крашенный черной краской. На столе – серебряная сахарница, щипчики для кускового рафинада, стальная кофейная чашечка и тяжеловесный куркулятор. Слева от стола, чтобы свет поотчетливей падал, перекидной планшет. Почти в человеческий рост. Весь лист исчиркан кружочками, стрелочками, штрих-пунктирами.

Вход ☐45/ 55.

Пат. бюр., ФАПСИ.

Выход? пок. 100 % «Милены» ☐ ☐ Новосиб, Томск, Свердл., китайцы.

Переброс: Бойко.

Обнал: 11 %?

Бенефиц.: CyprusLtd. ☐ реестр ☐ Гибр. 5/8 Поср.? ± 250–300.

Непонятки.

И вдруг появился хозяин. Вынырнул из-за угла. Но не слева, из каминного коридорчика, а справа, где все казалось плотно пригнанным: как будто бы прошел между стен. Майор не сразу догнал, в чем фишка, стоял ошалело, а лейтенант заценил – и поморщился. Очередная уловка: стены матово-белые, швы неразличимы; маленькие и большие зеркала отражают свет; блики и тени смещаются. Издалека посмотришь – столовая и холл сошлись вплотную, встык, а приглядишься – между ними незаметный вход во второй коридор, потайная нора. Пока они бродили и принюхивались, думая, что их никто не видит, хозяин преспокойно наблюдал за ними в кабинете, на экране; прикидывал, как будет разговаривать. Их посчитали; неприятно. Бодание еще не началось, а хозяин уже заработал очко.

Он и сейчас не спешил навстречу, спокойно изучал гостей издалека. И

они на него посмотрели. Довольно смуглый, цыганистый. Высокий, плотный, кучерявый, с хвостиком. Внешность характерная. Скулы широкие, от носа к губам намечены резкие складки, на щеках вертикальные морщины. Лет ему примерно пятьдесят. Рубашка навывпуск, домашняя, защитного цвета. Рукава закатаны, руки жилистые, мускулистые, волос на руках черный, без проседи. Штаны широкие, невероятное количество карманов; молодежно, не по-возрасту.

Хозяин вдоволь нагледелся, подошел, протянул руку, подчеркнуто весело спросил:

– А вы, ребята, случаем, не из ГАИ? Ты – типичный батя, он – братан; с батей можно разговаривать, а вот если братан упрется...

– За что? – обиделся старший. – Мы не подорожники, прошу не путать. Разговор у нас будет долгий, а мы еще не завтракали. Надо бы подкрепиться.

– Добро. Сейчас одиннадцать без пяти. Вы с утра водку пьете?

– А где же ты видел ментов, которые с утра водку не пьют?

2

Хозяин вышел за дверь; роли у гостей переменились. Лейтенант устранил сутулость, крутанул часы, болтавшиеся на запястье, важно посмотрел на циферблат; майор утратил показную наглость, положил короткоствольный автомат на стол, подсел к планшету и стал ученически срисовывать схему в блокнот. Старлей заглянул через плечо и ласково, покровительственно пожурил:

– Что же вы тупите, Василич? Не видите разве, схема не сработала.

– А ты как понял, Роман Петрович?

– Ну не дурак же он на это соглашаться. Ладно, не буду вас лопушить. Лучше-ка сосредоточьтесь, много не пейте и помните, о чем я говорил.

– Слушаюсь.

3

Томичам Степан Абгарович отказывал редко. Но слишком рано и слишком плотно легли вчерашние физики под бандитов. Они долго и увлеченно чиркали по планшету фломастером, чертили схемы и схемки;

особенно старался этот, с противным наростом у правой ноздри; напрасно. Гнилой, болотный воздух Мелькисаров различал за версту, зажимал нос и прощался с порога. Он вообще обладал звериным чутьем – и на добычу, и на угрозу. Еще беззаботно чевыкают птицы, в природе разлит покой, но по кончикам волос уже стремится холод, кожа на загривке сжимается и дубеет, шерсть встает дыбом. Надо замереть, наострить уши и внезапно прыгнуть. Вперед, если дичь. А если охотник, то вбок. Сначала в густую траву, затем в глухую тень, и рысцой, рысцой в сырую чащу, почти не оставляя следов.

Первый раз он вовремя отпрыгнул на излете брежневской эпохи.

Позади был томский универ, впереди вечерний техникум, должность старшего препода. Жить на жалкие сто сорок рэ он не собирался: хватило голодного детства. Мать, училка начальных классов, растила их с братом одна; самой вкусной домашней закуской был бутерброд из черного хлеба с распластанной балтийской килькой, черно-сербристой и блестящей, сверху кружок репчатого лука, слюнки текли; на третье полагался кусок белой булки, щедро посыпанный желтым сахарным песком... Есть хотелось всегда; в старших классах Степа начал разносить почту, студентом шабашил, всегда был при средствах; не переходить же опять на голодный паек?

Решение созрело быстро. Мелькисаров одолжил побольше денег, скупил, где мог, запчасти к «Жигулям», свез к приятелю в гараж, нанял слесаря дядю Вову, прикормил милицию. К первому гаражу добавился второй, за ним третий, четвертый; дело ширилось; вскоре все в городе было схвачено: магазины, клиенты, посредники, районная и городская власть. По пути из дома в техникум Степан Абгарович любил прикинуть, как долго он мог бы содержать всех своих коллег и студентов, всю эту тысячу бездельников. Сначала получалось – месяц, потом – полгода, год. Азарт ударял в голову, энергия с шипением рвалась наружу; он думал, что счастлив.

Но деньги легче было заработать, чем потратить. Захотелось дачу – пришлось по двойной цене выкупать у везучего сантехника выигрышный билет денежно-вещевой лотереи. Крайнюю комнату он поменял с доплатой на однушку. В самом центре, возле резного музея писателя Шишкова, – того, который написал про Угрюм-реку, еще фильм такой был; но даже не двухкомнатная. Место в очереди за машиной выкупил у коллеги, прикрывшись кредитом в кассе взаимопомощи. Он мог договориться с местными вояками о вертолете, утащить компанию в тайгу, на лося, а то и на медведя; упоить хорошенькую девушку шампанским, подарить ей ярко-синий «Levi's» с медно-красной молнией и множеством

желтых заклепок, достать французские духи «Шанель». И все. Тупик. Счета во всех сберкассах Томска – максимум по десять тысяч, чтоб не рисковать, бесконечные пачки облигаций трехпроцентного займа, старинные кольца, браслеты и броши, сложенные в целлофановый пакет, однообразии жизни, тоска.

Единственная радость – несколько старых картин; их ему устроил грамотный спекулятор Гарик – лысый, тощий, верткий. Гарик наезжал в Сибирь два раза в год; по весне собирал заказы, в ноябре развозил товар, завернутый в старый персидский ковер. Васнеца тащил в Новосибирск, Айвоза – в Иркутск, Шагала доставлял омскому еврею Габриловичу, а в Томске завершал вояж, выдавал Мелькисарову очередного передвижника и уходил в странный загул. Просыпался в шесть утра, в трусах и майке шлепал на кухню, одиноко выпивал бутылку водки без закуски, и снова засыпал – до вечера.

Степан крутился по делам, а Гарик отдыхал. Тонко, по-женски всхрапывал; иногда открывал глаза, долго смотрел на картины. Его обступали какие-то смутные образы. Тяжеловесный репинский эскиз к портрету государя Александра Третьего; еврейская Русь Левитана, серо-сумрачная, влажная; летние наброски Боголюбова и зимние – Куинджи; жутковатая заготовка к «Распятию» художника Ге: в лунном свете на кресте висит некто, похожий на абортированного уродца... И Гарик опять засыпал.

И еще были старые карты. Допетровские, имперские, советские. Кабинетные, армейские, дорожные. Их он покупал в командировках, безо всякого Гарика. Пористые, рыхлые, почти пустые карты шестнадцатого века, с редкими точками цветных городов, серыми паутинами гор и черными трещинами рек; лоцманские карты семнадцатого, океанического века – засаленные, замызганные воском: то ли это мели, то ли пятна; изысканные восемнадцативековые, нарумьяненные, запудренные, подведенные тушью, обсиженные населенными пунктами, как ложными родинками мушек; армейские карты Крымской войны, прорванные на сгибах, иссеченные карандашами, раскрашенные стрелами и флажками; лживые карты 30-х – радужные, розово-зелено-синие, до прозрачного светлые, с лиловыми печатями НКВД... Отличная коллекция. Жаль, не развесишь: стен не хватит.

Жизнь была ровная, четкая. Но в июле 82-го сердце беспричинно екнуло, под ложечкой засосало, по затылку побежали мурашки, захотелось лечь на дно. Внешних причин для тревоги не было: Брежнев правил свой последний год, система блаженно гнила на корню. А деньги текли рекой.

Но Мелькисарова не покидало чувство: охотник близко, пахнет сладким порохом, горячей медью, душным свинцом. Проносились слухи про самоубийства: милицейского министра Щелокова, гэбэшного начальника Цвигуна, узбекского вождя Рашидова. Андропова с Лубянской площади внезапно, без причин перевели в ЦК... Недолго думая Степан за три копейки продал гаражи партнерам, оформил паспорт моряка и улетел на Камчатку, рыболовецким матросом.

Они ходили через Океан, добирались даже до Бермудов, несколько раз швартовались в портовых городах, меняли водку с икрой на джинсы и культурно развлекались. После чего судовой врач, матерясь, натягивал резиновые перчатки и делал половине команды глицериновые инъекции от гонореи и триппера; шанкры лечили народным способом, опуская пострадавший орган непосредственно в китовый жир.

Домой Степан вернулся в марте. И узнал, что ремонтное дело разгромлено. На корню, без пощады. Партнеры сели на разные сроки, покровители уволены. Мелькисаров тут же сбрил моряцкую бороду, спрятал джинсы на дно чемодана, обновил кой-какие связи, слегка приплатил начальству и стал ассистентом кафедры сопромата в политехе. Зарплата прежняя, сто сорок, десятка сверху за знание иностранного языка (*англ. своб., нем. чит. и перев. со словарем*), семьсот семьдесят аудиторных часов в год, комсомольская работа, упругие, костистые и прочие студентки-аспирантки, подготовка диссертации, безопасная пресная жизнь. Судьбой своих когдатощних партнеров он предусмотрительно не интересовался; мало ли что может всплыть, береженого бог бережет.

Однажды возле монастыря, где сейчас лежат останки знаменитого старца Федора Кузьмича (его считали царем Александром Первым, тайно бежавшим в Сибирь, спасаться), а в те годы было полное запустение и складская грязь, он столкнулся с женой одного из сидельцев. Маленькая, толстенькая, рано постаревшая, та сжалась в комок, как резиновый мячик, поскакала к Степану Абгаровичу, и, на секунду заглянув ему в глаза, самым презрительным образом харкнула. Снизу вверх. Смачно, жирно, обидно. Слюна вперемешку с соплями. Это был урок на всю оставшуюся жизнь: просто так уйти из дела невозможно. Люди все равно решат, что предал, не простят никогда.

Затем явился Горбачев. Сначала Мелькисаров не поверил новой власти, жил исключительно старыми запасами. Но примерно через год решился. Осенью 86-го сбил команду из жадного и наглого молодняка, окопался в комитете комсомола, ринулся в дело. Первая же кооперативная затея вошла в городской фольклор.

Водка была в дефиците, по карточкам. Накануне 22 июня в магазины подвезли идейно выдержанный набор «Ветеранский»: дешевая рубашка, копеечный галстук на штрипках, простецкий одеколон. Наутро склянки от советского парфюма валялись в городском парке, у пустых пивных ларьков толклись веселые мужики в одинаковых синих рубашечках, а на пустырях очесывались бездомные собаки в галстуках. Запах немытой псины мешался с ароматом «Шипра». Потребителю галстук был решительно не нужен, чего с ним делать – непонятно; кто-то из местных алконавтов пошутил, нацепил масонскую удавку на прикормленного пса – и слегка побрызгал шарика одеколоном; шутка понравилась, пошла в тираж.

Потом были видеосалоны с допотопной порнографией, о йе, йе, о, о, о, о, хлюп, шлеп, о йе, оборудование для дискотек, компьютеризация школ, контроль за челноками, повальная мода на железные двери, приносившая тысячепроцентный доход... Все было. Кроме простора. Контролировать ларьки, гнать контейнеры с телевизорами и поставлять разбитые праворульные иномарки местным бандитам стало смертельно тошно. Наученный горьким опытом, ранней весной 89-го Мелькисаров пробил информацию через *контору*, убедился, что все прозрачно, хвостов за ним никаких, никого он не подставит, продал все и уехал в Москву.

Через три года стороной узнал, что бывшие друзья-кооператоры потеряли всяческий страх, бросили вызов тюменской нефтянке, и были – все – разорены. Беспощадно, под корень. А штатный трезвенник Джафаров неожиданно утонул в Томи по пьяному делу; пять промилле, смертельная доза.

4

Дверь открылась: хозяин толкнул ее лбом, руки были заняты подносом. Говорил нарочито простецки; дескать, видите, ребята, снисхожу; радуйтесь, но не забывайтесь.

– Простите, мужики: насчет закуски полный швах; к жене подруги заходили. Только огурцы, помидоры и яйца. Есть вот банка красной икры, но хлеба нэма.

Майор ответил в том же полународном стиле; дескать, что ж, готовы подыграть, хотя и мы не пальцем деланы.

– Гут, не беда, яичница дело доброе. А икорочку можно и ложкой. Помидорчик на тарелке, сольца на столе? Наливай.

Водка была ледяная, рюмки покрылись снежным мхом. Свежая яичница дымилась, скворчала и пахла деревней. Майор положил бумаги на стол, ласково их разгладил:

– Изучай, Степан Абгарыч. За знакомство.

– Ваше здоровье, – вежливо добавил лейтенант.

Мелькисаров мельком взглянул, презрительно поморщился, помотал головой:

– Со свиданьем. Недоработали, ребята. Нарисовали сто звеньев, нарыли на сорок, а где же еще шестьдесят? Без них цепочка рвется. Будемте здоровы.

5

Он и раньше бывал в Москве. Последний раз прилетал сюда перед защитой диссертации, на излете недолгой эпохи Черненко. Вопрос тогда решился быстро и недорого: литр водки, настоянной на золотом корне (при мужских недугах безотказен), свежепосоленная нельма, брус медвежатины, банка брусники, без которой медвежья котлета нехороша. Жуликоватый завкафедрой радостно подмахнул бумажки, ассистентка сама собрала печати; времени осталось навалом, можно было погулять. Мелькисаров спустился к отсыревшей набережной, повернул у Парка культуры, добрал до Калининского, оттуда по мокрым бульварам выбрался на улицу Горького; мимо гостиницы «Москва» неспешно прошагал до гранитной Дзержинки. В центре Лубянской площади за народом приглядывал бронзовый Дзержинский. На минуту выглянуло солнце, от монумента упала короткая прямая тень, и круглая площадь напомнила солнечные часы. Тут же набежала туча, сумрак сгустился, опять пошел дождь.

Грозное в тот приезд было чувство. Будто все созрело для большой войны, начался обратный отсчет времени, осталось дожидаться команды «пли». Теперь Москва расслабилась, помолодела, стала вся – как смесь Казанского вокзала с цыганским табором. На каждом углу торговали молодые тетки: джинсы-варенка, пестрые юбки, китайские кеды, а вот кому куртка из кожи! На картонных коробках лежали куски мороженой свинины с прилипшими обрывками газет – мясным промышляли проспиртованные мужики. Повсюду стояли книжные лотки, у газетных стендов кучковались бородатенькие дяди и студенты. Лавки с кассетами содрогались от бурной музыки Барыкина, Высоцкого, Сукачева и «Пинк-Фloyd»; нагло, с визгом

тормозили подержанные немецкие иномарки с польскими нашлепками; дурно пахнувший мальчик в синем спортивном костюме играл на скрипке в переходе и раздраженно стряхивал челку в такт «Временам года»; старшекласники блажили Башлачева; из киосков тянуло свежими чебуреками, пончиками, сахарной пудрой, жженым кофе и передержанным чаем, из подворотен воняло кошачьей мочой.

Через неделю Мелькисаров занялся делом, через три месяца врезал дополнительный замок, через полгода внутренней железной дверью отсек большую комнату в своей квартире и попросил Жанну никогда не спрашивать его, что там. Жанна удивилась, но пообещала, и непременно сдержала бы слово: она вообще была баба сговорчивая. Просто однажды, перед самым переездом на Покровку, заявила в гости к мужу раньше времени. Степан выходил из большой комнаты, распахнул свой Сезам. Жанну чуть не хватил удар. Вдоль стен, от пола и почти до потолка, под некрашеным подоконником, на ободранном кресле, под столом, на столе – повсюду – лежали пачки сторублевок, как маленькие кирпичи серо-стального цвета. В центре денежного склада алел огнетушитель; на единственной свободной стене висел распятый уродец художника Ге. Больше в комнате не было ничего.

Степан посуровел, запер вход, сказал: «Забудь». Она – забыла.

Ничего криминального в этом не было. Ну, почти ничего. Просто Мелькисаров побродил по перестроенной столице, понял, чего не хватает. Москва считалась всесоюзной стройкой; у всей страны для нее отбирали цемент; так что цемента был избыток, а сахару – дефицит. Мелькисаров ностальгически вспомнил свой любимый бутерброд: булка с сахарным песком, сглотнул слюну, нарисовал красивый план и устроился кладовщиком в Южный порт.

Один партнер, Фархад Исмаилыч, вез два письма из жарких восточных республик (у него там были старые связи). В первом говорилось: дорогие московские товарищи, поделитесь с нами цементом, который мы вам отправляем. А то у нас у самих ничего не осталось; очень хочется строить. Во втором предлагалось: а мы вам сахару подкинем, у нас имеется запас. Другой партнер, по фамилии Томский (ирония судьбы, что тут скажешь), крупный, с голубыми глазами навывкате, пшеничными усами и густым фельдфебельским голосом, шел в Моссовет, получал одобрительные визы. Бодрый старик Циперович заведовал складом; он оформлял бумаги и считал товар.

В назначенный день по железной дороге прибывал товарняк; в старых вагонах пылился каспийский цемент. Его поскорей отправляли на склад;

опустошенные вагоны ставили на запасный путь. На следующее утро к докам подходила баржа, ржаво скрежетала о бетонный причал; трезвые грузчики, в основном технари-аспиранты, выгружали с нее сырой, основательно потяжелевший сахар и забивали вчерашним цементом. Они становились похожи на пекарей: едкая сыпь сероватого цвета блинной муки покрывала все вокруг. Баржа отчаливала; цемент по воде возвращался туда, откуда его накануне доставили сушей; бессмысленный круговорот товара продолжался.

Вечерком того же дня бодрый старик Циперович состригал садовыми ножницами свежие пломбы сахарного отсека; мешки грузили в цементные вагоны, дожидавшиеся на запасном пути. По внутригородской железке товар доставляли продавцам: поезд делал небольшие остановки, аспиранты сбрасывали сахар в побитые магазинные грузовички, ехали дальше.

Зимой обходились без баржи, гнали товар двумя составами: так было намного дольше, в разы дороже, но все равно тысяч по двадцать с каждого эшелона они получали. Ментам давали разовые взятки, что их баловать; суховатому гэбэшнику Кацоеву аккуратно, дважды в месяц, платили зарплату в конверте. Дело шло; все деньги, личные и общие, хранили за железной дверью Мелькисарова.

Степан сиял; он испытывал сладкий страх подконтрольного риска. Как при затяжном прыжке с парашютом: покатаая земля со свистом несется навстречу, но в самый опасный момент неведомая сила ударяет в предплечья, выворачивает руки, и ты мягко скользишь вниз. Главное не просчитаться, вовремя дернуть кольцо.

В ноябре 90-го Циперович пригласил его домой, на Фрунзенскую набережную. Пестрые паласы на мощном дубовом полу, черно-желтые диваны и кресла, обитые плюшем; картины живописи на стене: обнаженная телесатая дамочка в окружении фруктов и цветов, имя художника неизвестно, подвиг его бессмертен; ржавая селедка с черным хлебом, явная подделка, а-ля двадцатые годы; разлапистый Лентулов, похоже что настоящий; авторская копия «Грачей», которых голодный пьяница Саврасов плодил постоянно. И огромная, в полкомнаты, работа Леонида Пастернака. Яркий солнечный свет сквозь уютные шторы; у овального стола стоит семейство: рыхлая добрая мама, всклоченный папа, разновозрастные дети: скуластый, порывистый старший, растерянный средний, рыжеватые девчонки с пышными бантами; на столе полевые цветы. Банально; тем и хорошо. Любовь так любовь, нежность так нежность, радость так радость, семья так семья, без подколок и подначек; за это мы и ценим реализм.

«Продай!» – попросил Мелькисаров. «Не-а, – возразил Циперович. –

Мне это за долги отдали; деньги есть, а картинка хорошая, пускай висит».

Рослая блондинка в мини-юбке молча накрыла на стол, разлила коньяк «Наполеон», припахивающий ацетоном; наливая, наклонилась – маленький завскладом с гордой насмешкой стрельнул глазами под юбку, подмигнул Мелькисарову.

Речь пошла без околичностей – о перемене схемы. Что гонять туда-сюда составы, баржи? Не проще ли оформлять доставку на бумаге? Чекисты на глазах теряют силу, им не до нас, от ментов откупимся, с бандитами уладим, сэкономим процентов сорок... Все сходилось; Циперович посчитал правильно. Страну трясло и колотило, все были заняты другим, опасности никакой, а выгода очевидна.

Мелькисаров хотел было сказать «да», но вдруг сдавило щитовидку, сердце ухнуло, засосало под ложечкой, тошнота подкатила к горлу.

«Какой же паршивый коньяк», – подумал Мелькисаров. И почему-то сказал «нет».

Почему? и сам не знал. Просто магнит в одну секунду размагнитился. Тяга была, была, раз – и вдруг исчезла. Циперович упорно расспрашивал, обкладывал вопросами со всех сторон, что случилось, в чем подколка, может, знает нехорошее и молчит? Подливал коньяк, увеличивал предложенную долю; девица обдавала запахом крепкого тела; Степан Абгарович стоял насмерть. Не нужно тебе туда! – говорил ему внутренний голос, и это было сильнее всех доводов. Даже девичьих мясов. Циперович сдался; они поторговались об условиях расхода, выпили на посошок зеленого фархадовского чаю и попрощались, думая, что навсегда.

Первые сутки безделья Степан Абгарович проспал. Потом попробовал читать пропущенные книжки: Жанна подсунула, она любила почитать – еще со времен политеха. Но как-то увяз. Полистал Платонова, Набокова – и бросил. Задержался лишь на синеватых выпусках журнала «Новый мир», где печатались отрывки Солженицына. Приятно было вспомнить юность: он поступил в том самом семьдесят четвертом, когда писателя услали за границу; на комсомольском собрании в школе им говорил об этом одноногий Михал Афанасьич, фронтовик и учитель истории. После контузии у Михал Афанасьича во рту скапливалась слюна; вдруг начинала стекать по щеке – он подхватывал ее рукой и отправлял обратно в рот, слова булькали...

Но диванное время быстро вышло; нужно было срочно упорядочить финансы. В Трубниках под навесом сберкассы прятались от снежного дождя валютные менялы. Рублей у Мелькисарова было много, долларов у них – мало; два месяца кряду он ездил сюда ежедневно, как на работу.

Ставил свой «Фольксваген» на прикол, пересаживался в раздолбанный «Москвич» барыги; они отъезжали за угол, запирали дверцы изнутри, включали обогрев и слюняво считали тертые купюры. Каждый думал про себя: за сколько бы он мог меня пришибить? Однажды взгляды их встретились; оба рассмеялись и обмякли.

К двадцатым числам января рубли иссякли; валюта уместилась в два потертых кейса. А двадцать шестого случилась денежная реформа; люди брали сберегательные кассы на абордаж, падали в обморок, ненавидели себя и всех. Мелькисаров походил пешком по центру города, понаблюдал за столбами пара, которые поднимались над стариками в свальной очереди; сочувствие мешалось со злорадством: успел. Злорадство уступало место жалости: бедняги...

Вскоре ему позвонил Циперович. Как ты – как ты? Что ты – что ты? Наконец дошли до истинной причины:

– Ты по-прежнему хочешь Пастернака? У тебя как с долларами? Я в полном пролете с наличкой; Кацоев недоволен; приезжай.

Старый багет был уже аккуратно расшит, грамотно упакован; холст безжалостно свернут телескопической трубой. Бодрости в Циперовиче поубавилось; он был раздражен, о делах говорить отказался, пересчитал пятьдесят тысяч, профессиональным движением скатал пачки резинкой и беззастенчиво поторопил: давай, давай, получил свое, счастливчик, и вали, сейчас не до тебя. – Рослой блондинки при нем уже не было.

На возвратном пути Мелькисаров уперся в долгую толпу интеллигентов, которые упрямо шли по Тверской на Манежную выстаивать очередной демократический митинг. Паршивенько одетые, у кого пальто на размер больше, у кого штаны на три пальца короче. Снег метался в разномастном свете фонарей, присыпал толпу. Толпа ежилась, но продолжала медленное, жуткое движение. Сто, двести, триста тысяч человек; остановить их было невозможно; Мелькисаров понял, что нынешней власти конец.

Додумать, что из этого проистекает, он не успел. Подступающая нищя свобода вполне могла обойтись без сахара, но не могла – без информации. Степан Абгарович увлекся электронной почтой, сошелся с курчатовским ядерным центром, подивился мертвой хватке академиков, выстроил цепочку, запустил процесс. Обедал два раза в день, ужинал – три: перемещался со встречи на встречу, с переговоров на переговоры. Он беспощадно разжирел, но жизнь опять приобрела масштаб, наэлектризовалась, игра пошла на интерес, приносящий колоссальные деньги: сегодня тысячу, завтра сто, послезавтра миллион. Такое было

ощущение, что ты несешься сквозь время нарезной пулей, раскаляясь докрасна от трения встречного воздуха. А дальше что? Какая разница. Пуля не спрашивает, что будет дальше; ее дело лететь со свистом и в конце концов поразить цель, которую наметил незримый стрелок.

6

Посмотреть со стороны – все выглядело очень странно. Холодное солнце светило резко, больно. Или это начинала ныть пьяная голова. На окно нанесло мелкого сухого снега, и солнце казалось рябым; по подоконнику крошились тени, похожие на просыпанный мак. Бутылка постепенно пустела, грязные тарелки были сдвинуты на край, поближе к мушке автомата; пепельница наполнялась серым пеплом милицейских сигарет и старомодными бычками папирос. (Мелькисаров говорил, что «Беломор» – благородная штучка; а сигареты – жженая бумага, курительный онанизм.)

Шел какой-то странный диалог, постороннему решительно непонятный. Коротких реплик не было, друг на друга накатывали античные монологи, разыгранные по театральным правилам. Современный человек говорит ровно, без деревенских фиоритур, повышений, понижений, усилений и всплесков; а тут подвыпившие голоса звучали торжественно, интонации были почти актерские, со слезой, иронией, угрозой, презрением.

Майор. Вот еще звено, вот еще. Мы опять придем, водки попросим – кстати, наливай, наливай – но цена уже будет другая. Сегодня уступим за четыреста, через месяц скажем: лимон. Не пойдем друг друга, не беда, мы терпеливые. В четвертом квартале девчонки наши, *мышки с наружки*, пошуршат *бамажками*, еще звено-другое нарисует. Опять с тобой выпьем – будь здоров, Степан Абгарыч, не держи зла – попросим полтора. На третьи сутки позвонишь, но в ответ услышишь: извини, инфляция, два. А там еще и прокурорские возникнут, ты же от налогов уходил?

Мелькисаров. Моя очередь – общий привет, не чокаясь. Красиво разводите. Уважаю. Но это все от головы, а не от жизни. Сорок клеточек закрасили, еще десять потом закроете. Повезет, пять-шесть подтянете, подтасуете. И все. В коммуне остановка. Никакой суд в производство не примет. Ты прикинь: я вас пошлю, ничего не дам. Через месяц придете, покажете веселые картинки, опять попросите. А я опять отправлю. А еще через месяц объявитесь – будьте счастливы ребята, дай-то бог не последняя

– и скажете, ну ладно, брат, уговорил, делаем наш милицейский дисконт ко дню пограничника: семьсот. И услышите: поздно, братва, рубль укрепляется, акции падают, дам я вам, пожалуй, триста. Ты, майор, ответишь грубо и невежливо. А через неделю снизойдешь: добро. Не, отвечу я тебе, двести пятьдесят. Пряма щазз. А завтра будет сто.

Майор всосал помидорную мякоть, помолчал, что-то про себя взвесил и внезапно сбил весомый ритм до неприличия быстрым вопросом:

– А зачем же ты вообще тогда платить согласен, если смелый? За что – двести пятьдесят?

– За ваш труд. И за мой покой. Кстати, хороший тост, ты не находишь? Чтобы другие вместо вас не пришли, не начали ныть. Придут – я к вам отправлю. Ты же сам знаешь, майор: в бизнесе лучше не жадничать. Я с судьбой не торгуюсь. Я от судьбы откупаюсь.

– Откупись за четыреста. – Майор уже почти просил.

– Не хнычь, не дам. Ну, за нас, за вас, за золотой запас.

Первый тайм Мелькисаров выиграл. Не нокаутом, так по очкам. Лейтенант сидел сумрачный, ссутуленный; рюмку брал с отставленным мизинчиком, пил через раз, глоточками. Майор, наоборот, выпивая, запрокидывал голову, тряс брылями. Он начал густо краснеть – краска медленно поднималась от загривка по щекам, захватывала надбровья, постепенно продвигалась к лысине; на лысине выступали капельки пота.

Майор убрал разработку в портфельчик, достал другую объемную папку. По стандартным пролинованным листам расползались протоколы допросов, заполненные в разное время, разными чернилами и почерками. Витиевато-четкие букочки (чернильная ручка, фиолетовый цвет) выдавали военного. Округлые и ученические (ручка шариковая, толстые буквы) – старательного мальчика из рабочих. Полуквадратные, с наклоном влево (разумеется, тончайший гелий) – садиста, который стал следователем, чтобы не стать маньяком. Но все дознаватели с одинаковой четкостью вели к одному и тому же: Мелькисаров С. А. в составе преступной группы и по умыслу содействовал отмыванию нелегально нажитых средств и нанес ущерб государству и третьим лицам в доказанном размере 120 млн. руб. Все протоколы были подписаны; доказательства (реальные и мнимые) подшиты, а графа «Уголовное дело №...» – пуста. согласишься заплатить – погасят, заартачишься – заполнят.

– Что ж так мало? – спросил Мелькисаров. – Могли бы и ярд приписать.

– За ярд – пожизненное. А это, извините, было бы жестоко, – неожиданно включился лейтенант и снова замолчал.

Греческие монологи сменились доминошными пасами. Четыреста – нет, двести пятьдесят. Триста девяносто – да двести пятьдесят же. Ладно, триста семьдесят – двести пятьдесят, сказано вам.

Тупик.

Бутылка закончилась; куда ж ты ее? ставь покойничка под стол, иди за новой.

7

В самый день легендарного путча они улетали в Женеву: Томский открывал совместный фонд и *запузырил* многодневную гулянку в самом центре кальвинистской аскезы.

Выехали рано, дорога была пустая; день обещал быть жарким, но охристый свет стелился уже по-осеннему плоско, как будто солнце светило не сверху вниз, а вдоль, от горизонта. Не доезжая кольцевой, они притормозили, скатились на обочину: навстречу им тянулась бесконечная колонна бронетранспортеров. Что там радио нам сообщает? Радио нам сообщало, что Горбачев не может исполнять обязанности президента, временно введено чрезвычайное положение, и просьба ко всем советским гражданам соблюдать порядок и спокойствие.

Беременная Жанна мелко задрожала, прижалась к нему, как ребенок: Степа, что теперь будет? мы сможем вернуться? а маму в случае чего забрать? Мелькисаров ничего ей не ответил, погладил по головке, нежно чмокнул в чистый ясный лоб и завел машину: опоздаем. В Шереметьево отвел в сторонку растерянного Томского, сказал: я остаюсь, а вы летите. Думаю, что к самому концу успею; кое-какие проблемы возникли, но думаю, что разрулю. Томский прикусил пшеничный ус, полуприкрыл свои голубые фельдфебельские глаза, покачал головой, и безнадежно сказал: «Расхлебывай, старик, и прилетай. За Жанну не бойсь». Как будто произнес последнее прости.

Мелькисаров свой билет зарегистрировал, довел жену до красной черты паспортного контроля и только тут объявил ей, что не летит. Мол, ничего иначе не получится, в случае чего женевские вопросы все равно придется регулировать в Москве. И маму готовить к отъезду. Но эмигрировать, конечно, не придется. Эта байда ненадолго, он чует низом живота.

– И не вздумай плакать, милая. Тебе сейчас нельзя, во-первых. И

вызовешь подозрение, во-вторых.

Посмотрел, как Жанна, внутренне сжавшись, но внешне распрямившись, с животом наперевес достойно проходит через линию границы. Развернулся – и поехал в город.

Он и сам не знал, зачем остался. Смысла – ровным счетом ноль. Но не было ни сил, ни желания сопротивляться первому порыву; нужно быть здесь и сейчас, стать частью веселого и злого народа; откажешься – проиграешь. Ставки приняты; ставок больше нет.

Люди фланировали по центру, заговаривали с солдатами, стекались к Белому дому; кто-то ныл под гитару, кто-то кипятил чай; пахло костром; добровольческие девушки раздавали ротапринтные листовки и специальный выпуск «Независимой газеты», отпечатанной на ксероксе. Было в этом что-то счастливое, бивачное, как на съемках кино про народную войну и дворянский мир Двенадцатого года. Будто бы именно здесь, в этой точке, находится сию секунду центр мира, и этот центр тяжело, со скрипом поворачивается вокруг своей оси.

У четвертого подъезда Степана Абгаровича окликнули; сквозь танковую колонну и заслоны защитников протирался маленький седой чиновник, из ближнего ельцинского круга; они пересекались по бизнесу – и в Москве, и на Урале. «Молодец! – сказал чиновник. – Правильный выбор – и вовремя; пойдём, друг». Он повел Мелькисарова в прохладное царство восставшей элиты, где гордо и мощно вышагивал аристократический режиссер Михалков; в углу раскуривал трубку и гнусаво выговаривал помощнице спикер Хасбулатов; вприпрыжку мчался музыкант Ростропович, смачно целуя встречных без разбора; посреди холла, глубоко задумавшись, стоял один из курчатовских, академик Прыжов – неторопливый седой человек, похожий на обедневшего аристократа; в коридоре за канцелярским столом молодая тетка строчила воззвание – и никто ничего не боялся. Атмосфера была вольная, почти веселая. Вдруг все как по команде сорвались с места и унеслись в коридор.

– Пойдем, пойдём, – потянул за собой чиновник, – я тебе Борис Николаича покажу.

Двери на балкон были распахнуты; на балконе стоял гигант и что-то энергично говорил; зычный голос срывался вниз, распространялся вширь, звучал невнятно, вдохновенно; повсюду, сколько мог охватить взгляд, были упрямые круглые головы, задранные вверх – как бесконечное поле созревшей редиски, разорвавшей сухую почву.

Вечер наступил быстро, незаметно. Можно было остаться в Белом доме на ночь, но зачем? С чиновником они условились попить чайку *после*

победы. «А так, заходи, заходи, будь с нами» – и Мелькисаров получил постоянный пропуск. Думал вернуться наутро; но внезапно начался жуткий ливень; на город спустился осенний холод; Степан Абгарович почувствовал резь в животе и металлический привкус на языке. То ли мочевого пузыря воспалился, то ли первый сигнал послал будущий простатит, но и вторую, и третью ночь демократической революции Мелькисаров просидел дома, бегая от радиоприемника к сортиру и обратно.

Люди стояли за свою свободу, власти медленно отползали, по пути пролив напрасную кровь. Страна величаво спала и плохо себе представляла, что там, в этой Москве происходит. Надо было думать о масштабном, а он никак не мог избавиться от мыслей про жжение в канале и боли в промежности; было почему-то стыдно и радостно, как подростку, подглядывшему за взрослыми в спальне. Впрочем, времени он даром не терял; на больших ватманских листах начертил кой-какую схемку; если белодомовские побеждают, а похоже на то, начнется новый перекрой жизни: деньги из республик побегут в Москву, их энергетическая масса выбьет все заслоны, как пробку из бутылки: кто не успел, тот опоздал.

Степан успел. Наступило двадцать первое число; путчисты позорно бежали; можно было улетать.

8

Москва захлебывалась в ледяном дожде; августовская Женева плавилась от жары. Рейс был ранний; до приема оставалось время; расцеловав пузатенькую Жанну, Мелькисаров поспешил на Плен-Пале. Он знал, что по субботам здесь большой блошинный рынок; как можно упустить роскошную возможность?

На драных столах под шатрами стояли богатырские утюги с отделением для угля, современная хозяйка не поднимет; были живописно разбросаны медные чаны, между ними – ступки из тяжелых сплавов; соседствовали картавые семисвечники, дворянские канделябры, массивные церковные паникадила, сегодняшнее евангельское чтение и глас осьмый; побитые часы эпохи Веймара и Третьего рейха – прямые стрелки, четкая цифирь; женские часики с ажурными циферблатами, следы послевоенного кокетства; по углам столов сидели одноглазые фарфоровые куклы со следами росписи на лицах; можно было увидеть кудрявую немецкую гармошку, крутануть шарманку и запустить механическую музыкальную

машину – с таинственными дырками на медном диске.

Продавцы вещичек не сердились, что покупатель ускользает; казалось, их единственная цель – стоять на свежем воздухе, среди себе подобных, и сонно наблюдать за ходом внешней жизни. Только букинисты были суетливы. Бродили взад-вперед, как собаки на привязи; то и дело поправляли книжки, нервно ощупывали переплеты. Здесь-то Мелькисарову и повезло. Так повезло, что болезненно заколотилось сердце. Рыжий книжник, лохматый, в оспинах, где-то раздобыл печатных досок – уже непригодных для копий, разошедшихся, насквозь прочерненных краской. И среди амуров и психей, будуарных дам и их непристойных любовников, монахов со вздернутым членом и монашек, раздвинувших ложесна, вдруг обнаружилось нечто. Мелкое, погрязшее в деталях, черточки какие-то, выемки, подьемы.

На доске, кругленько подъеденной жучками и по краям трухлявой, был вырезан чертеж незнакомой местности; вот и надписи, но не прочесть... Ба! это же и есть Женева. Вот соборная площадь, вот «лак Леман», а вот болото. Только все повернуто наоборот; север на юге, восток на Западе, право – слева, а слева – право; понятно, почему не читаются надписи. Типографское зеркало, расчет на печать.

– Сколько? – спросил Мелькисаров беззвучно, кивком головы.

– Там написано, – таким же кивком, не говоря ни слова, ответил рыжий.

– Несерьезно, давай настоящую цену, – молча покривился Мелькисаров.

– Ну... сбавь сам сколько хочешь, – только так и можно было истолковать сморщенные губы и неопределенный жест.

Написано было: 600. Мелькисаров протянул две бумажки по 200.

– Ладно, что с тобой поделаешь, бери.

Так, с доской, завернутой в «Журнал дё Женев», он и заявился на гулянку.

Томский снял второй этаж отеля, целиком; роскошь приема была в глаза. На столах стояли хрустальные бадьи с черной икрой, возлежали безразмерные осетры, похожие на мертвых крокодилов, стыдливо-маленькие местные рыбы – сан-пьер, озерная форель – жались к разлапистым раковинам икряного гребешка; наружу были выворочены неприличные подробности устриц. Все вокруг ими жадно хлюпали, пустые раковины нарастали на огромных блюдах, как черепа на картине Верещагина про мировую войну...

Официанты робко подносили *кавьяр и водка* этим странным русским,

так причудливо одетым: грубоватые мужчины в строжайших черных фраках, подвязанные шелковыми поясами, плотные женщины в ярких платьях – зеленых, алых, фиолетовых. В углу сидела девчонка в наикратчайшей юбке, нога на ногу, и самозабвенно пальцами растягивала жвачку. Кто-то взял с собой подружку; законные жены демонстративно брезговали ею, но ничего поделать не могли. Приходилось терпеть и смиряться.

Мелькисарова трепали по плечу, выспрашивали героические детали, которые он щедро привирал; хвалили за пацанскую смелость, но мысленно крутили пальцем у виска. А он с умилением наблюдал, как пузатая Жанна одно за другим уминает роскошные женевские пирожные, крохотные, кукольные; как же она тут боялась, пока его не было!

Пир завершился ночным фейерверком: ухали пушки, снаряд утробно выл и сверкающим сперматозоидом несся в небо; над озером вспыхивали мерцающие круги, синие, алые, жемчужные. Они расширились, заполняли небо, удваивались в воде, окружали мир безопасным огнем.

Под шумок Степан Абгарович поманил метрдотеля; тот, извиваясь, приблизился. Мелькисаров что-то шепнул, сунул радужную бумажку; метрдотель чмокнул губами, кивнул: сделаем. И не подвел. В самолете Жанна задремала; когда проснулась, Степы рядом не было, он перетирал какую-то тему с Томским. Зато на откидном столике стояло блюдо с кукольными пирожными, прикрытое салфеткой с надписью: «Оплачено». И резким росчерком Мелькисарова.

9

В прошлый свой заход он торопился. Схватил икру, помидоры и водку, сразу вернулся к себе. Теперь служители порядка обождут; им нужно поостыть и кое-что обдумать. Вторую бутылку он принесет минут через десять, а пока осмотрится, оценит ситуацию.

Холодильник не просто пуст; судя по всему, совершен гастрономический террор. Жанна вызвонила девочек? Обсудили ситуацию, поплакались, как следует поели и всем своим раскормленным колхозом отправились по магазинам? Правда, никто не курил, сигаретной нечистью не пахнет, эту смоляную гарь он различает за версту. Значит, отпадает Анна: очень жаль, и с этим нужно будет что-то делать. Бабонька она приятная, надежная, без нее не обойдешься, только дымит паровозом; и как

мужики ее терпят? Остаются Томская и Яна; милое дело – шопинг втроем. Прожорливые девушки, ничего не скажешь.

Синий салон безупречно чист; темно-золотыми аксельбантами перехвачены тяжелые, почти ночного цвета шторы; кресла мягкие, основательные – настоящий покой всегда неподвижен; по стенам развешаны эскизы Грабаря, где воздух поет, а жизнь крепка и не знает смерти; безмятежные наброски Пластова и густые портреты Машкова – все это покупки сравнительно недавние, по вкусу Жанны, впрочем, и ему по нраву; на полочке под абажуром артистично выложены тонкие очки, выставлено милое Тёмино фото и брошена толстая книга Людмилы Улицкой.

Спальню Мелькисаров оглядел оперативно. На тумбочке жены – счета за квартиры, химчистку, телефон и Тёмину учебу (этот счет расписан так детально, что от циферок рябит в глазах). Умница, Жанна, контролирует процесс, на обслугу не надеется; что там Ленин говорил про учет и контроль? Но того, что искал Степан Абгарович – не было.

Он выдернул из морозилки обжигающую литровку; от бутылки шел медленный пар. Мелькисаров постоял, перебрасывая бутылку из руки в руку, подумал; что-то вдруг сообразил, и сунул нос в гардеробную. В газетном ящике разрыл кипу газет, журналов, рекламных буклетов; не взяв ничего, поспешил к себе.

10

Девятнадцатого августа чартер вылетел из одной страны, двадцать третьего приземлился в другой. Белодомовский чиновник не забыл о встрече; денег и заказов он дать не мог, но жестко отводил угрозы и заранее предупреждал: на днях принимаем указ, приготовься. Степан Абгарович готовился – и часто поспевал к раздаче. Чтобы не ложиться под бандитов, подружился с союзом российских армян. Армянином он был никаким: папочка повел себя не по-армянски: исчез, растворился, следов не оставил; русская мама, Надежда Степановна Сиротинская, вырастила их сама. Но для бизнеса это неважно; для бизнеса важна *прописка*: с кем ты, под кем ты и кто за тобой.

Коллеги, отсидевшиеся за границей, завидовали: не человек, а счетная машинка! фантастическое чутье. Но чем больше становилось денег, тем уверенней мрачнел Мелькисаров. Времена подступали смутные, шла война

всех против всех; цена свободы оказалась непомерной... В декабре 92-го Мелькисарову позвонили; напомнили маршруты, по которым няня вывозит на прогулки теплого младенца, сладкого Тёмочку. Меры были приняты; больше никто не звонил; и хватит об этом, что ворошить прошлое. А поздним летом 93-го внезапно объявился Томский; лязгая зубами, еле выговорил: бегом на Дмитровку, бяда!

Прямо у ворот Генеральной прокуратуры стоял развороченный джип Циперовича. Взрывные устройства были прикреплены на крыше и под днищем; снизу от старика остался багровый обрубок мяса с ярко-белой берцовой костью навыворот; на затылке было углубление, обломанное по краям, как скорлупа на выеденном яйце. Томского трясло. Вчера Циперович попросил его о кредите; они забили стрелку; Томский опоздал на две минуты – и вот какое дело.

– Пойдем, Мелькисаров, напьемся.

– С горя, Томский, не пьют. Только с радости. Но все равно – пойдем.

Они отправились в Столешников, заказали чаю и водки, присели у огромного, по-западному чистого стекла. Такие тогда еще были в новинку; даже в хороших местах сохранялись советские окна, крохотные, как бойницы: выставить пулемет и отстреливаться до последнего патрона. К стеклу со стороны улицы приплюснулась фиолетовая морда бомжа, официант замахал на него руками, как на ворону: кыш, кыш! Бомж слинял; даже охрана не успела выскочить.

Ночью 3 октября 1993 года стало страшно не по-детски. Первый канал телевизора замерцал и погас; второй исчез – и вновь включился из резервной студии. Одиноким, отрешенным, припухшим Гайдар звал людей защитить демократию... Это что ж, конец? Мелькисаров вызвал охрану, врубил мигалку, помчался в Кремль. Несколько сот людей бродили возле Моссовета; навесные фонари качались на ветру, свет мотался по трассе, бликовал на домах.

В Кремле было безжизненно тихо; два-три человека промелькнули тенями в коридоре; на вопрос: где хозяин? – никто не ответил. Знакомый чиновник тосковал в своем кабинете, на ельцинском этаже. «Посиди со мной, – сказал чиновник, – я не знаю, что делать». Так они сидели до утра. Коньяк не брал. Часа в четыре позвонили; чиновник вдруг повеселел: американцам позволили ставить камеры и спутниковые передатчики на высотках вокруг Белого дома; наши решились стрелять: спасены!

– Ну, давай два тоста, по полной, до дна, не халтура. За Россию! И – за президента!

После этого ставки Мелькисарова взлетели до небесных высот: не

предал, свой. Томский намекал, что обсуждается вопрос, а не пустить ли Мелькисарова в нефтя; предлагал кредитоваться у него. При мысли о маленьких скважинах, из которых брызжет маслянистая черная дрянь, становилось сладко, как перед любовью. Уже пошли звонки от нефтегазовых знакомых; уже, прощупывая почву, звали пообедать люди из конторы – а можно ли доверять, а не кинет? Ускорялся денежный круговорот; в одном кабинете Мелькисарова встречали, принимали офисный портфельчик, туго набитый свежими купюрами, говорили, куда передвигаться дальше...

Но изо дня в день, как военные сводки, поступали грустные известия. В Омске бесследно исчез Габрилович – вместе со всей своей шагаловской коллекцией; в махачкалинском доме их бывшего цементного посредника Магомадова разорвался снаряд, выпущенный из подствольного гранатомета; приезжая в Москву, Магомадов здоровался теперь обеими руками сразу, сжимая ладонь собеседника холодными протезами. Вдоль старых кладбищ вытянулись новые аллеи; где рядком, как братские могилы, стояли одинаковые плиты – по темно-серому шлифованному мрамору гравирован рисунок, как негатив прощальной фотографии...

Зимой 94-го Мелькисарову позвонил олигарх Березовский. Подтягивайся к «Волговазу», будет разговор; Сильверста позовем, он умный бандит и серьезный; сколько можно гибнуть понапрасну; разрулим ситуацию. На входе Степан Абгарович столкнулся с Томским; они сели рядышком. Напротив развалился юный банкир Ходорковский, упитанный, усатый, похожий на веселого кота; чуть подалее притулился начинающий телемагнат Гусинский – от избытка нервной энергии он все время вертелся, как хулиган-первоклассник, с трудом привыкающий к школе: дернул бы за косичку, да некого; во втором ряду затесался их старый приятель Кацоев, этот напряженно делал вид, что никого не узнает.

Убежденно экая, по-ленински подавшись вперед, Березовский выносил вердикт: хватит крови! да уйдет насилие из крупного бизнеса! да будет в отношениях между своими – мир! Учредим третейский суд; несогласному – бойкот и разорение, но не покушение и не смерть. Нас разводят, как зяйчиков; стравливают, как собак; сколько можно! Солидный и спокойный Сильверст кивнул: согласен. Тут же всем раздали договор – короткий, четкий, без деталей; на обороте каждый поставил условный значок: без фамилии, но собственноручно. Зал зашумел, развеселился; Гусинский злорадно поставил крест и съязвил насчет еврейского конгресса; в ответ Усманов нарисовал шестиугольную звезду – и показал Гусинскому язык; Ходорковский, чуть покачивая головой, важно начертил квадратуру

круга. Томский сиял: перспективочка! Уморительно рассказывал, что старенькая мама стала каждый вечер заказывать машину и охрану; он робко спросил: а зачем? оказалось, мама занимает ночью очередь и утром покупает акции какой-то пирамиды, надеется разбогатеть: кто знает, как жизнь повернется?.. Один Кацоев воздержался. Без протеста или возражений. Просто брезгливо поморщился и молча в суматохе удалился.

А Мельксаров, только утром прилетевший из Петропавловска и готовый впасть в прострацию от недосыпа, вдруг почувствовал запах мерзлой могилы. Лица Березовского, Сильверста и компании отсвечивали чем-то болотным, синеватым, неживым... Он не был мистиком; он просто был человеком предчувствий. Что-то кольнуло, щелкнуло: не ходи, голову сломишь. И – не пошел. Подавил в себе мечту о нефтяном фонтанчике, списал в убытки все, что раздал по пути к отменившейся цели, продал крупные проекты, раздробил масштабные кампании, разверстался вширь и стал середняком. Отказался от охраны, перестал менять машины каждые полгода: скромнее, скромнее, нечего светиться.

Вскоре Сильверст погиб. Мчался ранним утром в Нижний, на совет директоров. Оставалось километров сорок; холодное крепкое солнце белело на синем фоне; Волга смиренно лежала подо льдом. На мосту внезапно потерял управление встречный КАМАЗ: многотонную платформу развернуло; бронированный «БМВ» носом протаранил арматуру, застрял в грузовике, двойным ударом они смели парапеты и рухнули на дно, раздробив ледяную толщу; водителя КАМАЗа не нашли.

Еще через месяц телевизор показал, как растерянный Березовский смотрит на свой разорванный «Мерседес», а вскоре началась Чеченская война.

11

Пока хозяин ходил за бутылкой, лейтенант, переменившийся в лице, отчитывал майора – и больше не выкал: старый ты дурак, пень трухлявый, ухвертка; держи удар, не канючь, и больше ни шагу назад. Не справишься – переведу на Петровку, лишу земли и корма, будешь на одну зарплату жить. Майор понуро слушал и готовился принять к исполнению: бу как штык, так точно, все понял, начальник.

Но Мельксаров принес не только водку; он принес нераспечатанную колоду и предложил простое решение: сыграть в преферанс по доллару,

граница – сорок взяток. Кто выигрывает, того и цена – плюс к ней записанная пуля. Майор обрадовался, потянулся к колоде; лейтенант отвел его руку и спокойно сказал: сдавать буду я, а ты посидишь и посмотришь.

– Вы согласны, Мелькисаров?

– Легко, – кивнул Степан Абгарович, – тогда на болвана в открытую.

И весело поглядел на майора. Лейтенант подавил встречную усмешку.

Они с лейтенантом раскрыли карты, быстро оценили взаимные шансы, молча начали метать. В итоге вистовал Мелькисаров; майор переводил взгляд с невероятно трезвого хозяина на еще более трезвого лейтенанта, наливал, закусывал, и норовил поговорить. Он спрашивал старлея: а мы играем в курочку или в котел? И слышал в ответ: пас. Он обращался к Мелькисарову: а схему эту вот, на планшете, кто нарисовал? И натыкался на глухое: ремиз. Изредка хозяин с лейтенантом, не сговариваясь, клали карты на стол рубашками вверх, чокались, закусывали последним помидором, порезанным на мелкие кусочки. И продолжали игру – холодно, зло. К тузу сам пять. К королю прикупа нет, осади!

Наконец все взятки вышли; игроки посчитали баланс, записали в гору, лейтенант протянул Мелькисарову руку: уважаю, отлично играешь, заслуженная пуля. Жаль, не серебряная. – Степан Абгарович деланно расхохотался.

– Будем считать, что все у нас обстаканилось?

– Будем считать.

Теперь можно было и выпить спокойно, без напряжения, и позволить себе слегка опьянеть. Бутылка на солнце оттаяла; на столе растекалась приятная лужица; разговор тек неторопливо о том о сем: а как у вас принято? да? у нас не так. Майор совершенно обмяк, по-детски размазал лужицу пальцем и спросил:

– Давно хочу спросить. Ваши бабы елду себе бреют?

– Смотря какие бабы, – хмыкнул хозяин.

– Ну нет, я не про девок, те за деньги – что хочешь. Я про баб, которые за так. Ну жена там или постоянная. Они – бреют?

– А кто тебе сказал, что они – за так? Они же состоянием распоряжаются. У нас и некоторые мужики уже начали брить.

Майора передернуло.

– Полный абзац. Нет, ну а бабы – бреют?

Мелькисаров понял, что майора заклинило, перестал отшучиваться.

– Бреют.

– А я свою никак не уговорю. – И вздохнул. – Давай-ка еще по одной.

Разговор был исчерпан. Пора закругляться.

Первые большие деньги Мелькисаров заработал в школе. И впервые обанкротился – тогда же. Пятый класс, вторая четверть; сухой, трескучий томский снег; игра в трясучку на коротких переменах. Холодная тяжесть монеток; никакие будущие миллионы не сравнятся с восторгом первого обладания. Двушки, пяточки (а потом и гривенники, и пятнашки) сдавали водящему; тот лихорадочно звенел и лязгал медяками, театрально взбрасывал руки вверх, опускал, пригибаясь, вниз, по-цыгански отводил влево, вправо, пока не раздавалось: стоп! Орел. Или: стоп! Решка.

Вода медленно сдвигает верхнюю ладонь, умело треплет нервы. Над его руками, лоб в лоб, висят игроки и свидетели, всем интересно, как там и что. Монетки давно согрелись, покрылись жадным потом, липнут. Три орла, одна решка; чтоб тебя! Сердце падает, но виду показать нельзя, удача не любит слабых. Играем дальше, ставь двадцарик! Счастливчик отказать не может, не имеет права первым выйти из игры, битва идет до последней денежки проигравшего. Двадцать плюс двадцать копеек... сорок плюс сорок: за месяц сэкономлено на завтраках...

Решка! Нет, орел. Звонок, перемена окончена: крах. Продулся вчистую, осталась дырка от бублика.

Поздним вечером Степа прокрался в коридор; на кухне мама, накинув серый пуховый платок, проверяла тетради. Спина согнута, плечи жалостно сжаты, поводит лопатками, как будто дует сквозняк. Но сейчас не до мамы, не до ее лопаток; завтра надо отыгаться. Карманы потертой шубы – из грубого полотна, даже царапаются изнутри; на дне скомканный носовой платок, должно быть, сопливый, фу; чуть не звякнули предательские ключи; а вот и медная мелочь, полная горсть. Степа взял не все, чтоб не попасться сразу; скользнул в кровать, отмахнулся от братца и тихо спрятал деньги в тапок, а тапочек задвинул под диван. Руки предательски пахли латунью, он долго оттирал их о простыню; в конце концов простыня сама запахла двушками и пяточками.

Утром он до школы не дошел. Засел в кинозале. Утренний сеанс, за десять копеек, потом дневной, пятнашка. Как только гасили свет, в зале раздавался перезвон. Он играл сам с собой, упрямо себя обыгрывал и жестоко себе проигрывал; неужели нет никакого секрета, тайного правила, физического закона удачи? Ничего не обнаружилось. Кроме очень удобных складок на ладони, в которые сами собой западали монеты; медленно сдвигая руку, можно было успеть прикинуть число орлов и решек и

развернуть зажатые ребром денежки в нужную сторону: вот он, залог победы. Монеток, правда, маловато; для хорошего рывка нужно было добавить еще.

В пятницу их класс был дежурным по школе. Степа попросился стоять у входных дверей. Первый урок. В рекреации тишина. Он нырнул в раздевалку, на четвереньках, по-обезьяньи ловко прошелся вдоль карманов. Пусто, пусто, пусто, звяк! Пять копеек на автобус, двушка для телефона-автомата, три копейки просто так завалялись. Дальше крадемся. Пусто! А вот уже звяк. И снова звяк. Скорее, скорее. Хватит. И вот он образцово стоит у входных дверей, поджилки дрожат, но видок что надо: пионерский галстук поглажен, косой пробор расчесан, юный ленинец на вверенном посту.

На перемене Степа отозвал воду, потребовал отыгрыша. Опытный жухало мог отказаться, правила позволяли, но зачем? добыча сама просилась в руки. Ухмыльнулся: давай, если денег не жалко.

– Только трясти буду я.

– Тряси, – было сказано вслух, а про себя добавлено: – лох.

На второй перемене в мужской туалет потянулся народ. На третьей наметилось столпотворение. На четвертой пробиться к унитазам было невозможно, толпа любопытных стояла на цыпочках. Монеты не уместалась в горсти, хотя игроки давно поменяли мелочь на полтинники. Вчерашний вода, белый от злости, отчаянно занимал у всех вокруг остатки денег, чтобы отыграть; последний раунд большой игры назначили на после уроков. И тут уж кто кого, без вариантов и без продолжения. Пять рублей на пять рублей. Победитель получает десять. Полгорода можно скупить.

Отзвенел звонок, уроки кончились; Степан входил в сортир, как суровый ковбой из фильма «Золото Маккены». В этом фильме красивая женщина купалась в водопаде совершенно голой; она была прекрасна, хотелось ее укусить и понюхать запах холодной кожи; они смотрели «Золото» по три-четыре раза, подкупая билетеров, потому что – детям до шестнадцати.

Степа знал, что выиграет. Знание делало его непобедимым; никто не сомневался: этот – сможет. Не только малышня, но даже старшекласники уважительно расступались. Лениво снял мышино-серый пиджачок, почти не глядя сунул подержать четвероклашке; тот благоговейно принял: ему позволили постоять совсем рядом, никто не посмеет теперь отпихнуть.

Бывший вода, бывший богач, бывший крутой, просто – *бывший* неуверенно отсчитал десять полтин, поставил столбиком на подоконник.

Степа рядом соорудил свой серебристый столбец. Решили трести символически, пятаками; шансы пятьдесят на пятьдесят, кому повезет, тот сгребет с подоконника все.

Орел! – сказал бывший. Орел-решка! – предъявил Степан.

Решка! – Нет, решка-орел!

Орел!

Решка.

Ууух! выдохнули наблюдатели. Десятка – его. Банкир Рокфеллер, заводчик Демидов, Скупой Рыцарь, Чичиков: Мелькисаров! В животе заурчало счастье. Сердце покрылось газированными пузырьками, стало сказочно легко на душе. Завтра он поедет на каток, возьмет на прокат настоящие спортивные гаги, олимпийски изогнется, левую руку за спину, правой красивый отмах, и станет нарезать за кругом круг, ловя восхищенные взгляды фигуристок в рейтузах с начесом, а потом пойдет в буфет и закажет два бутерброда с настоящей копченой колбасой, из-под прилавка, стоит дорого, запах умопомрачительный.

И тут же стало очень тяжело и невесело. Потому что в туалет вошел директор. А в учительской ждала мама. Куталась в единственный свой платок и тихо плакала.

Вечером в субботу он гулял во дворе, совершенно один. Дома с ним никто не разговаривал, вчерашние поклонники презирали, денег не было ни копейки, педсовет назначили на понедельник. Разгонялся по ледяной дорожке, вздымал клюшкой тяжелую резиновую шайбу, злобно вбивал ее в мусорный бак, и снова, и снова. Тупо и однообразно.

Из темноты появились четверо: бывший вода и его па–цаны.

Били долго и молча.

Двое держали, двое лупили. Под дых, в нос, в глаз, ниже пояса, в зубы. Кровь смешалась с густыми слюнями и крошками зубной эмали. К его мокрым губам они прижали жестяную банку; при минус двадцати кислое железо пристало намертво.

Воткнули головой в сугроб и ушли.

Урок был преподан хороший, не забудется. Сразу все – и сразу ничего. Соленые ошметки кожи на губах. У других, похоже, такого опыта не было; они кайфовали. По центральным улицам гарцевали кавалькады черных джипов, у дорогих французских ресторанов стояли вылизанные «Бентли», Москва превращалась в наркотический восточный город; сытый, самодовольный, ночной. Сорокалетние сверстники Мелькисарова поделили страну и расслабились; отрастили животы навывпуск; вокруг сновали стайки острозубых девок, шлейфами вихрились сонмы приживал,

допущенных к диванчикам вип-зоны. Из тени обычного зала злобно посверкивали взгляды молодых волчат: успешные, но не успевшие к большому переделу, состоятельные, но не до конца состоявшиеся, они обросли своими стайками, своими прилипалами. А за ними был и третий круг: безбедные. И четвертый: при деньгах. И пятый: просто обеспеченные; дым пожиже, изба пониже; Шахерезада со скидкой.

Летом 97-го в моду вошел плакат. Свежайшая кетовая икра, крупная, алая – надави зубом, вытечет клейкий сок. А по ней черной икрой, белужьей, выведено по-ученически округло: «Жизнь удалась». Плакат висел повсюду. Заходишь к Томскому – отдельный лифт, стеклянный бункер, три уровня защиты – плакат наклеен на стену комнаты отдыха. Спускаешься к девочкам-бухгалтерам в собственном офисе – кипы бумажек, электрический чайник, жирный столетник, рядом с фотографиями кошек – «Жизнь удалась». И в модном баре за спиной бармена. И в витрине книжного магазина на главной столичной улице. И даже у начальника ГАИ в приемной.

Жанка притащила плакат домой:

– Смотри, какая хохма!

Степан свернул плакат и легонько стукнул жену по башке:

– Чтоб я больше такого не видел. Нечего расслабляться.

И пошел к себе, считать доходность казначейских обязательств. Получалась странная картина. Впереди – никаких препятствий для роста, графики похожи на желоб бобслея, развернутый от земли к небу: лети без остановки, охая на поворотах, земного притяжения больше нет; здравствуй, прибыль; почва, прощай! Не вкладывать глупо, но и вкладывать невозможно. Нету пути назад, только вперед и вверх. Но что за следующим поворотом? В какой момент оборвется желоб, и разогнавшийся боб унесет тебя вникуда? Неизвестно. Но точно что улетит. На подоконнике выставлен приз, над унитазом идет трясучка, деньги размножаются делением, но вот-вот скрипнет дверь и в проеме возникнет директор. Здравствуйте, товарищи. Что тут у вас? Пройдемте-ка в мой кабинет.

Так что – стоп. Эту взятку он не возьмет и будет играть мизер.

К зиме все облигации были слиты, совместный банчок полуподарен-полупродан партнерам, у них же взят огромный рублевый кредит – и переведен в доллары. В августе девяносто восьмого грянул кризис, восемнадцатого числа позвонил Томский. Он был единственный из карликовых олигархов, кто все еще сидел в Москве: самолет не выпускали таможенники; их счета зависли в его банках. Томскому было грустно. А Мелькисарову весело: он со смехом погасил кредит, подешевевший в

четыре раза, стал скупать, как на магазинной распродаже, целые этажи в недостроенных зданиях, подхватывал птицефермы: на родных курей появился спрос...

Но. Все это у него уже было. В других масштабах, но – было. Он уже скупал, подгребал, жадничал. Разруливал, проскакивал, копил. Что впереди? еще полшага вверх, боковой обход, выигрыш, временная сдача, обскок противника, удар? Смертельная скука? Как разогретый парафин во время косметической операции, она растекается под кожей, терпко вяжет кровь, насылает тупость, неподвижность, пустоту. Потом отвердевает, стынет, начинается боль.

А еще он почуял соленый воздух. Как будто большая волна несется из сердцевины моря, а беспечный берег про это не знает. Откуда надвигается беда? Неясно. Когда обрушится? Пойди пойми. Но будет что-то нехорошее, неуютное. И Мелькисаров начал методично, неспешно продавать и дробить свои средние бизнесы, перебрасывая деньги на Нью-Йоркскую и Лондонскую биржи. Дома инвестировал в короткие проекты; быстро вошел, быстро вышел, быстро перевел. Вошел – вышел – перевел. И опять.

Но бизнес как подержанная вещь; продаешь – изволь почистить. Как только проносится слух о продаже, раздаются звонки и звоночки. Ало-ало. Есть темка, надо встретиться. Заводи их на меня, обсудим цену вопроса. Лейтент и майор были всего лишь посредники; реальные заказчики на связь не выходили.

13

Самолично распахнув входную дверь, хозяин как бы пьяно сказал майору:

– А знаешь, кто ведет баранов на убой?

– Не знаю, нет.

– Козел их ведет. Они за ним покорно тащатся, блеют... А он их – на скотобойню. Как ты думаешь, почему он у них в авторитете?

– Я не в теме.

– А я так думаю, рогами взял.

Майор задумался. Мелькисаров слегка подтолкнул его в спину: давай, давай, до встречи, – и почти трезво прошептал старлею на ухо:

– Утверждаете результат, товарищ начальник?

– В общем и целом.

Старлей даже не удивился тому, что его раскусили. Четкий парень, будет из него толк.

– Молодец, лейтенант. Телефончик оставь. Вдруг пригодится.

– Пишите, Степан Абгарович.

14

День, по существу, пропал. Часы показывали три; скоро наступят тяжелые январские сумерки; а ведь надо еще полежать, протрезветь. Мелькисаров посмотрел прищуренным взглядом на оранжевое, летнее семейство – Пастернак висел у него в кабинете, почти во всю стену. Прикрыл глаза, тут же открыл, а было уже шесть, темнота, головная боль. Теперь понятны чувства Гарика, когда он пьяно просыпался в Томске, между Репиным и Левитаном. Марш в спортзал, бороться за бессмысленное существование.

Перед выходом из дому Мелькисаров проверил почтовый ящик, вытащил письма; по склейке гаишного конверта провел длинным ногтем (специально отращивал на левом мизинце, шиковал). Распотрошил конверт, вытащил фотографию, сощурился – и разорвал в клочки.

Глава третья

1

У Грибоедова тусила молодежь. Длинные пальто и куртки угольного цвета, кожаные юбки до полу, волосы и брови как воронье крыло, глухие рюкзаки без надписей, уши троекратно окольцованы, ноздри в мелком пирсинге, как в полипах. Кто не знает, решит – сатанисты. А это несчастные готы, поклонники Средневековья; она встречает их тут каждый день, некоторых узнает и здоровается. Они, застенчиво погогатывая, отвечают. Жанна смотрит на них с умилением, потому что думает – про Тёму. Бестолковые мальчики в прыщах хорохорятся, жирнобокие девочки превращают уродство в стиль; даст Бог, найдут себе тут пару, сойдутся, прикипят, поженятся, отмоются, детишек заведут и будут счастливы, пока не станут несчастны, как стала несчастна она.

Зачем ей Степа? Зачем ей вообще – мужчина? Для секса, прости ее, грешную? Можно прожить и без секса; киношники-писатели навели тень на плетень, внушили, будто все вращается вокруг этого дела; глупость. Приятно, иногда необходимо, но не более того. Чтоб сделал ребеночка? Один ребеночек у нее уже есть, а другого не будет, поздно; так хочется еще хоть раз понынчиться с уютным комком человеческой плоти, потетешкаться, вжаться губами в сладкий живот и рыхлые складочки, поскрести шелудивую корочку на голове, ощутить опасное биение родничка, принюхаться к запаху прелой пшеницы на затылке и за ушами, обнять, согреть, упиться незаслуженным счастьем, – но придется обождать внуков. А для внуков Абгарыч не нужен. Для жизненного интереса? для общения? Ну да, когда-то было так; теперь иначе. Она его видит редко, а он ее, пожалуй, еще реже: запросто может быть рядом, а мыслями далеко. Низачем, низачем, низачем.

Но если низачем, то почему так больно? Привязанность? Срослась? Привычка? Почему ноги сами несут на улицу, заставляют брести кривыми чистопрудными дворами, мимо посольств и театриков, забегаловок и роскошных кафе, советских продуктовых, пахнущих лежалой рыбой, сияющих банковских офисов, и опять по той же траектории, и снова, снова, лишь бы не остаться дома, наедине с надоевшей – собой?

Года три назад она внезапно обнаружила, что разговаривает вслух. Не

распевает песни в душе, не декламирует любимые стихи, как декламировал их папа, геодезический полковник Рябокоть, разгоня ледяную воду жесткой губкой: «Любовь! – не вздохи – на – скамейке! – и не – прогулки – под луной!!!», а по-старушечьи бормочет, мелко подбирая губы и передразнивая собеседника: аах, выы вот тааак... вот вы кааакие... В тот момент она стояла перед зеркалом и привычно разминала кожу под глазами; вдруг как будто бы со стороны услышала свой собственный голос: нет, Жанна, нет, подумай хрошенько, и поймешь! Перепугалась, очнулась, увидела перед собой чужую тетку с перекошенным лицом: кривляется, как маленькая обезьянка, взгляд пустой, нездешний; сомнамбула... Поклялась, что больше никогда, никогда! а через несколько дней осознала, что резко выворачивает руль, и почти кричит – не о дороге, не об этой скотине на «Волге», а о том, что грустно, грустно, тоскааа! И кричит не себе, а Степану. Который снова неизвестно где – и без нее.

Вчера, как это бывает при высокой температуре, время и тянулось, и несло. Утро не кончалось, не кончалось и сразу обернулось вечером; казалось, только что достала фото из конверта, а вот уже сидит в кафе и плачется девчонкам. Как раз по вторникам у них лекторий при спортивном клубе; послушали профессора Петровича про современное искусство (он их любимец: текучий и уклончивый, не то что их прямолинейные мужья). Потом остались и попили кофе.

Девочки услышали про фотографию, охнули, засыпали советами. Яна призывала: затаиться! Ничего не знаю, ничего не происходит, Степочка, иди ко мне... Ну затаится она, оттянет неизбежное, а дальше? Однажды Степа заглянет на кухню, сумрачно, бездушно покивает на ее словесные наскоки и вдруг объявит: ну все, я пошел. В том смысле, что вообще – пошел. Спасибо за совместно прожитые годы. Таня Томская осторожно предлагала – в церковь. Но Степа – не Томский; что ему до батюшкиных поучений. Аня Коломиец твердо заявила: адвокат. И пожалуйста, без промедлений. Степан Абгарович мужчина умный, твердый; ничего на себя не записывал: лишняя подпись – лишний срок; дойдет до развода, получишь квартиру, одну из двух; и машину, тоже одну из двух; тысяч сто наличными – напополам. А все остальное – она подгребет.

– Ой, Абгарыч, милый, ты откуда взялся? Позанимался уже? А мы тут болтаем о женском. – Янка сидела лицом ко входу в клуб, первой заметила Степана, немедленно задвинула ноги поглубже под стул: при росте сто шестьдесят шесть сантиметров размер стопы у нее был сорок пятый, она жутко этого стеснялась.

– Да уж вижу. И хорошо, что не слышу.

Степан поставил спортивную сумку, оглядел подруг. Жанне очень не понравилось, как он посмотрел на Аню, и особенно – как та взглянула на него. Взаимно, испытующе, заинтересованно. Только без подмигивания. Или это помешательство от ревности, пора показаться врачу?

Ночью она заставила себя увлечься, приманила Степочку; он смешно старался и потел, она поддавалась нежно; он даже на двадцать минут уснул, нарушив все свои гадкие правила. Лежал беспечный, умилительно всхрапывал; вертикальные морщины на щеках разгладились, волосы у корней слегка взмокли, хотелось потрепать его, как любимого бестолкового пса. На секунду вспыхнула надежда: Степа заснул глубоко, до утра; хоть что-то в их устоявшейся жизни будет впервые, появится новая точка отсчета. Но нет, содрогнулся всем телом, судорожно вздохнул, рывком сел на кровати.

– Странный сон. Мы откуда-то летим с пересадкой: то ли Куба, то ли Австралия, может, Южная Африка. Садимся на какой-то остров, взлетная полоса – посреди бассейна, поднимается пар, как ранней зимой на реке, но при этом жуткая жара, все сизое; несколько человек плывут не пойми куда, мы тоже ныряем, а что дальше – не помню... Пойду я, Рябокоть, спокойной ночи.

Чмокнул в щечку, сунул ноги в мягкие туфли, натянул халат, погасил ночник, и был таков. Так что Янин рецепт не сработал. Тогда она задумалась об адвокате; ворочалась, засыпала, тут же просыпалась; утром не смогла избавиться от тягучих мыслей. Налипли и размазались, как жвачка по ворсистой ткани; не соскрести. Ну да, в семейной жизни Аня ничего не понимает. Все ее мужики – по одному лекалу; подкатывает мачо на «Феррари», весь из себя, и остров у него на Карибах, и тусы затевает ого-го: пентхауз затемнен, по углам обнаженные девушки с плашками живого огня, со всех сторон в прозрачных стенах – заметенная снегом Москва, сине-желтая, густая. Пускает пыль в глаза, сорит деньгами; через полгода – залег на диван; в одной руке Толстой, в другой Аксёнов; в чем же смысл жизни, любимая? В тебе, дорогой... Ну, иди, поработай, а я почитаю. Но если Аня все же угадала? И пипетка, сикильдьявка, кочевяшка начинает обкладывать справа, снизу, сверху, пеленать желанием, опутывать нежностью, пропитывать умилением, проникать во все поры, бычий цепень, глиста, паразитка, пиранья. И – совсем как та, единственная, с которой он нарушил, – хочет угнездиться еще глубже, влезть в его мысли и планы, перенаправить их изнутри, как будто он сам так решил. А где у нас тут, Степочка, финансы? А вот Тёмочкину сколько мы оставим? А этой – твоей – сколько? А мне ты дашь поуправлять немножко? Нет, ну правда-

правда немножко? дашь? дашь, скажи? сейчас, сейчас скажи! как же я тебя лю, ты хороший! И лет через пять, через семь, через десять, всем до конца овладев и все из него выев, спокойно и насмешливо подытожит: спасибо, Мелькисаров, за науку. Что-то я тебе оставила, не пропадешь. А мне пора. Засиделася я. Не скучай.

Нет. Не дождется. Будем звонить Соломону. Спасать и себя, и Степана. Забельский, Забельский; где его телефон?

Она стояла на углу Покровки и бульвара; раздраженно звякал трамвай, которому загородили путь бокастые тойоты; прохожие толклись вокруг нее, цепляли одеждой одежду, а Жанна не сдвигалась с места и упрямо искала в телефонной книге, на какую букву записала Соломона. На «З» – Забельский? Или все-таки «А» – адвокат? Не смогла припомнить, стала щелкать все подряд, по алфавиту, и уже дошла до буквы «Э», когда почувствовала мерзкий запах мокрого лежалого сукна и застоявшейся мочи; тут же проявился хриплый голос:

– Баришня, дай десять рублей на бухало, плз.

Она оторвала взгляд от экранчика; по-цирковому выгнувшись, из-за ее плеча выглядывал какой-то алконавт. Как старый змей, оплетающий дерево. Глаза разноцветные, пестренькие; пытается смотреть подобострастно.

– Не дам.

– А почему?

– Потому что.

– Что, на хлебушек не хватает? – подколол алконавт и распрямился.

Жанна отмахнулась, по случайности нажала кнопку со стрелкой, и сместилась на букву «Ю». Да конечно же! *ЮристЗабел*.

Как вовремя они с ним познакомились! В декабре, незадолго до Нового года. Степа со смехом представил: главный русский человек, Соломон Израилевич. Раньше брошенные жены шли в партбюро, проливали слезы; теперь к нему. Спаси, кормилец, защити. Забельский жеманно улыбнулся:

– Сегодня, говорят, большой церковный праздник, Нечаянная Радость. Что бы оно означало, вы не в курсе?

Жанна не знала; Таня рассказала про разбойника, который молился Богородице; молился, молился, а потом, не чаявши, раскаялся, все бросил, стал святым.

– А. Понятно. Значит, не про нас.

На прощание Забельский подарил тогда Жанне визитку со своим рисованным портретом: к вашим услугам, мадам! желаю, чтоб не пригодилась, но лучше вбейте сразу в телефон...

Соломон удивился не звонку, а шуму в трубке. О! вы – по улицам – пешком? и правильно! здоровый образ жизни. Стало слышно, как деловито щелкает компьютер. Забельский прошерстил календарь, нашел окошко: второго, в одиннадцать тридцать, у него на даче, сразу за Николиной горой, третий поворот направо.

2

Дороги были, к удивлению, свободны; Жанна приехала рано. Секретарь, молодой дородный мужчина с мягкими румяными щеками и певучим выговором проводил ее в кабинет, попросил немного подождать: хозяин на лыжной прогулке.

Массивный стол барочного стиля раздвигал комнату по диагонали. Для гостей имелся кожаный диванчик, приятно прошитый золотым шнуром; в углу стояло вальяжное кресло. Повсюду висели эстампы: кони, лошади, лошадки, жеребцы, пони, молодцеватые жокеи в круглых шапочках, прекрасные нагие наездники. Всю стену за столом занимал книжный шкаф в глухом английском стиле, искусно состаренный, но явно что недавний; корешки все больше тисненые померкшим золотом.

Безразмерное окно выходило на лесную сторону. День был солнечный, сухой, по-февральски ветреный; с огромных елей сдувало снег, он суетился в воздухе, искрил. Из оврага вынырнул Забельский, пузо перекатывалось, как водяной пузырь; за ним катил субтильный помощник, с бобровой шубой в руках; шуба перевешивала, помощник переваливался с лыжи на лыжу, пытаясь посильней оттолкнуться без палок и не отстать; за помощником неуклюже пробиралась сквозь толстый снег московская сторожевая.

В одиннадцать тридцать Забельский вошел в кабинет: только что из душа, свежий, в шелковом синем халате поверх пышной белой рубашки. Жанна ощутила нежный, обманчивый запах «нильской воды» от Hermes – и насторожилась, почти испугалась. Что за женский запах? в доме Соломона? а, так это же от самого... Церемонно поцеловал ручку, усадил на диванчик, сам светски расположился в кресле, стал расспрашивать о подробностях дела – с типичной интонацией сочувственно-равнодушного доктора: ну-с, на что жалуемся?

Жанна рассказала – на что. Тон чуть поменялся, стал посуше, без игривости.

– Фотографию, конечно же, не сохранили?

– Я растерялась.

Забельский сосредоточился, понимающе кивнул: не беда, все равно не улика. И вообще. Кто сказал, что речь идет об измене, причем об измене со взломом, с тайным умыслом? Почему такое подозрение?

Жанна объяснила – почему. Соломон окончательно переменялся; весь ушел в работу, как собака вся уходит в нюх, едва заслышав запах зверя. Клиента анкетировали; быстро, не давая расслабиться, опутывали сеткой вопросов; только что не допрашивали. Брачного контракта нет? Понятно; союз давнишний, советский; какие там были контракты. На нет и суда нет. На кого счета? Квартиры? А машины? Как же так; вот это надо выяснить. Данные об оффшорах. На кого записаны активы. Конкуренты Степана Абгаровича подъезжали? намекали на измену, предлагали помочь? Хорошо. Ребенку сколько лет? С кем останется в случае, если? Ясно. Теперь поговорим о личном. В чем ваш пикейный интерес? Максимально выгодный развод? Удержание? Короткий поводок?

– Не знаю.

– Напрасно; без этого – куда ж? Решите к следующему свиданию.

Забельский уже восседал за столом, вразлет писал шифферовской ручкой, сине-серебристой, как ночное небо в звездах; только что напоминал киношного доктора, и сразу превратился в настоящего врача, увлеченного историей болезни.

– Так. Вот вам телефон моего партнера, Ивана Ухтомского. Ударение на первом слоге, от слова «ух ты!». Ухтомский. Работаю только с ним; никаких других агентов-детективов, извините.

Свистящий росчерк на бумаге. Как будто выписал рецепт.

– Встречайтесь как можно скорее. Допустим, послезавтра, четвертого. Свои, отдельные деньги у вас имеются? Отлично; он недешев. Иван раскинет сеть, составит, так сказать, портфолио измены. Если дело дойдет до суда, без этого не обойтись. Если дойдет. Далее. Проверьте сами все, что сможете: в бумагах, файлах, книгах мужа. Копируйте, но осторожно, не рискуйте. Больше ни во что не мешайтесь. И никакой самодеятельности! Не вздумайте снимать его на фото или записывать на диктофон без нашего участия, ни-ни: Степан Абгарыч тот еще жук, поймает, сомнет игру. Ведите себя как вели; не знаю, какие там у вас отношения дома, но, прошу, мадам, без перемен: ссорились, значит ссорьтесь, миловались, значит милуйтесь, рисунок поведения не менять. Никого в процесс не посвящайте; если это условие будет нарушено – простите, я из партии выйду сразу и первоначальный взнос не верну.

Сбавил темп, откинулся на спинку стула, вернул сладко-хитрое выражение лица:

– Что ж; давайте обсудим главное: мои условия.

С делами было покончено. Забельский предложил выпить: двенадцать уже есть. Открыл одну из книжных створок: оказалось, это роскошная подделка, а за дверцей фальшивого шкафа – настоящий бар. Налил себе драгоценного виски, Жанне хорошего порто, с удовольствием плюхнулся в кресло: оно послушно продавилось и слегка вздохнуло; серебристым пробойником взрезал сигару, погрел ее жилистое тело спичкой, втянул огонь и выпустил кольцами дым. Запахло копченым, коньячным, древесным; то, как Забельский обхватывал сигару толстым пальцем в перстнях, почему-то выглядело не совсем прилично, Жанна даже смутилась.

Соломон самозабвенно философствовал. Семейный союз на сломе эпох – самое уязвимое, самое ломкое вещество. В сторону – мелочи: соблазны шальных денег, помутнение голодного разума; это не тот случай. *Дым вылетал клубами из ноздрей.* И все же. Все же. Люди начинают путь из общей точки, движутся по общей траектории. У него свой опыт, у нее свой, но опыты соотносимы, равномерны. *Дым распространялся вширь, прикрывал лицо собеседника прозрачной завесой.* И вдруг, на тебе, книга перемен. Его несет в одном направлении, ее в другом, он вовлечен в переделку жизни, она зациклена на быте и непоправимо отстает. Ему с ней неинтересно, ей с ним непонятно. Пять лет оба терпят; на шестой уже не знают, о чем бы им поговорить; через десять хочется тупую собеседницу убить, злобного хама – прирезать. Через пятнадцать прирезают. Иногда. Но чаще расстаются. *Ноздреватый пепел нарастал и не падал, в сердцевине сигары мерцал огонь.* А если он – не у дел, а она – в потоке? О! гораздо хуже. Мужская зависть, женская истерика. Она с недоумением смотрит на него, он на нее. И с этим я ходила-миловалась? И эту я ласкал, дрожа от страсти? Тут еще и возраст подступает, обычное дело, разные темпы старения, смерть либидо, утрата свежести, неутоленное желание; впрочем, это как раз поправимо, способ известен, отработан веками: не слишком нравственно, зато о-о-очень жизненно. Главное не попадаться. А того, что личность подменили по пути – ничем не поправишь, как не остановишь рост переродившейся клетки.

Но вот что интересно и, если вам угодно, утешительно. Брачные дела, в отличие от рака, хорошо лечить на поздних стадиях; чем больше метастаз, тем операбельней. Проскочили опасный рубеж, продержались, и может начаться новый процесс: как бы повторное знакомство, как бы

измененная форма прежнего союза. Ты совсем другая? Хооосподи, как интересно. Ты из чужого теста? Ну-ка попробуем. Забавный вкус. Давай дружить? Так что у вас еще легкий случай; глядишь, и устроим все наилучшим образом, помирим, успокоим. Но подготовиться надо: мало ли что. *Толстый пепел упал и распался.*

3

Вечером зашел Степан. Предупредил, что рано утром улетает на денек: проблемы в Питере. Быстро взглядывая, пробивая напролет, привычно выдул бадейку вечернего чаю. Красного до черноты, горячего, как доменная печь. Жанна и Тёма всегда подливали холодной, а Стёпа крупно глотал кипяток: как можно остужать божественный напиток?! Жанна суетливо бормотала; о чем ни попадя, без пауз, лишь бы треклятый Забельский больше не вставал перед глазами, не напоминал о сегодняшнем утре, о предстоящей слезке и доносе... Ты знаешь, Степа, прикупила милый шарфик, совершенно вроде бы ненужный, но такой летучий, в модную расплывчатую зелень, а в парфюмерном так пахнет, как будто ты в облаке счастья, а в вестибюле неприятная картина, на эскалаторах – красотки, при них уродливые мужички; все девушки строго смотрят вперед, все мужички – исподтишка – щупают глазами отражения чужих девиц в огромном зеркале на спуске...

Бормотала – и самой становилось отвратно; все это говорила не она, не Жанна, живая, настоящая, а какая-то придуманная женщина. Говорила на доступном для мужчины женском языке, про понятные ему женские темы. Лишь бы он не напрягся, не насторожился; и какая же чашка большая, никак не допьет... А потом шаталась по квартире. Все мерещилась та деваха: два соседних номера в «Балчуге» на Мойке; она валяется, он к ней заходит; объятия; недолгий дневной сон на общей постели, опять объятия – и так, между прочим, между главным, насмешки над ней, над Жанной: над старой обманутой дурой... Ночь снова превратилась в марево; утро было вязкое; к полудню терпение лопнуло; она наконец-то решилась. Степа нарушает все общие правила, а ей – нельзя?

Дверь в кабинет была заперта, ключ убран; Жанна знала код. Компьютер потребовал шифра; Жанна знала и шифр. Степа сообщил не так давно, на крайний случай: если он будет в отъезде, а что-нибудь потребуется срочно. С чего начать? С этих самых оффшоров? С

клиентуры? А может, лучше с брокеров? Но где, в каких компьютерных закоулках она должна их искать? А главное, ее решимость – гасла. Еще быстрее, чем нарастала только что. Наблюдать, подсматривать – противно. Но заползти в его дела и вскрыть потаенные файлы – физически страшно. Как проткнуть себе вену. Не коротко, резко надрезать, а именно с усилием проткнуть. Навела компьютерную стрелочку на цель, гладишь указательным пальцем клавишу «Enter», а кожа на сгибе локтя будто ощущает тяжесть кислого железа, пульсирует; надавишь – и брызнет горячим... Так и сидела, смотрела в экран, водила мышкой по рабочему столу. Пока глаза не углядели сами – «Ежедневник». Вот он, в уголке. И тут уж удержаться было невозможно; это не дела, а личное; на личное она имеет право.

Покряхтывая, загрузился долгий файл. Даты. Цифры. Снова цифры. Копии чьих-то писем, явно неженских. По-русски, по-английски. Записи... не любовные. Слишком давно он этот дневник ведет, много понаписал. Первые пометы девяностого – как только был куплен первый компьютер. Вначале короткие, почти шифрованные. *Звтрк Шумей.: Метроп., звтрк Скок.: Мскв, ланчев. Заостровц., Махиндр Модахар, обед Студъездайк, уж. Три пескаря, Смоленский – хаммер. цнтр. Просит денег Квл, иначе выдв. по округу Хкм, а Сухин. против.* С девяносто девятого – подробнее. Но давай, колесико, крутись; нам нужен сегодняшний день.

Когда там у них все началось? Полгода назад? Год? Месяца три?

«10 октября. День рождения Веника. Ген. – май. Юра К. в настоящей грузинской бурке, при нем девица с откляченным задом; рядом расфуфыренная мать. Кто? Новая моя Супруга и любимая Теща, прошу жаловать. (Громогласно.) Когда же Ты успел, Юрочка? Долго ли умеючи. Умеючи – долго. Дамочки шепчутся, мужики завидуют. В конце вечера выясняется: розыгрыш. Жена и Дочка сибирского Друга; Друг попросил развлечь в Москве. Развлек.

Запись как запись. Дальше, дальше... вот что-то очень длинное, сумбурное и яркое, про военных и чекистов; первые правила миром, потом пошли сплошные заговоры, мир попал в ловушку... Жанна начала читать и вспомнила Степины томские лекции: он уходил в свои знаменитые отступления: сам он их называл – *боковики*; она неслась за его мыслями, как на санках с горы: ровно, ровно, ухаб, трамплин, мамочка, как хорошо! Только очень давно это было.

Октябрь 17. *Историей когда-то правили Военные. По балансу верх оставался за Армией, политика происходила на поле боя. Экономика – примыкала. С обеих враждебных сторон. Выиграет твой вассал –*

поделится плодами победы. Одолеет враг – перейдешь на его сторону, что-нибудь да отщипнешь от пирога. Миром правила конкуренция силы, в противостоянии – навскидку – определялась цена преимущества.

Красиво Степа говорит. Внушительно – и быстро, без малейших пауз. Ему мешают лишние детали; он счищает их, как счищают кожуру. Взлет, спад, захватывает дух, на сердце легко, и ты на все готова, только позови. Он тебя приобнял, тебе не страшно нестись поверх истории, а там, под тобой, расстилается Время. Двигутся войска Наполеона; жадный Ротшильд несется в разлетке (обязательно в разлетке, хотя на чем он ездил? да неважно), подкупает писак-журналистов; на бивуаках бодро бьют барабаны, солдаты готовятся к смерти, а в Лондоне мальчишки уже выкрикивают новость: Наполеон победил! Битвы еще не было, но она уже завершилась. Потому что газетное слово сильнее реальных событий; оно управляет людьми.

Военные напугались: Торгаши обнаглели, Аристократы обособились, Интеллигенты задрали нос. В ответ Военные усилили Полицию. Тайную. Наступление по всем фронтам, ответная реакция противника: Третий Интернационал, террор как метод политического сопротивления. Неизбежное следствие: Спецслужбы стали еще нужнее. Тут же все заговорили про еврейский заговор: дело Дрейфуса, протоколы сионских мудрецов. И так далее, по нарастающей, без остановки.

У Жанны было яркое воображение. Она представляла красивых и сильных военных, которые были галантны, благородство в каждом жесте; теперь они в иракской дряни, терпят заранее запланированное поражение. Где, спрашивал Степа, теперь боевой генерал де Голль, с полей войны шагнувший в политику? Нет генерала де Голля, есть выходцы из ЦРУ и КГБ. Что дальше? И как должен вести себя бизнес?

*Мы поддержали НТР, оплатили выход в космос, запустили мобильную связь, Интернет, создали глобальный мир открытых рынков, разорвали границы национальных государств, породили космополитизм; Они усилили слежку. На тех, кто наблюдает за тобой, нацелены камеры **служб безопасности от безопасности**. Нет границы между объектом защиты и объектом наблюдения. Ловушка.*

Вывод. Надо закладываться на долгую жизнь под Ними. Мы должны научиться мыслить в Их категориях, чтобы переигрывать конкретно. Прибавочная стоимость и Они. Надо подумать.

Как же движутся мысли в этой дурной мужицкой башке? По каким просветам скользят, как цепляются друг за друга? Возникают одна за другой, топорщатся все сразу, как торчат игольные уши из швейного

набора? Что он переживает, когда пишет? Или не переживает ничего? Ощущает ли он задницей подушечку, подложенную на стул? Вспоминает хотя бы иногда, кто ему заботливо ее подарил? Где она, Жанна, в его мире? есть она там вообще? Или только – пока перед глазами, а выпала из поля зрения – и все равно что умерла?

Жанна пролистала еще несколько окон, увидела ночную запись от тридцатого января; этот день она теперь не забудет.

С утра Менты. Лейтенанта запомнить. Спорт, ужин. Бездарно. Зато где надо – зацепило.

Жанна резко развернулась на крутящемся стуле. Странная жизнь. Станный человек. Странная комната.

Черный кожаный диван, так приятно продавленный, правильно протертый по углам, пахнувший советской властью, праздниками в генеральском доме. (Папа дружил с начальником томского штаба, а Жанна – с генеральской дочкой; девочки играли в хозяйек, мамы обсуждали дела женсовета, а папы садились на кухне. Папа предлагал: давай теперь поговорим как коммунист с коммунистом! и они часа два разбирали по косточкам публикации в «Правде», политику американских интервентов и стратегические задачи наших войск; где теперь семейство генерала? всех разнесло.)

Старинный журнальный столик, уставленный прокуренными трубками, короткими, длинными, изогнутыми, прямыми: Степан дымил только здесь, только у себя, только наедине с собой. В одном ряду с трубками пятнистый армейский бинокль, мощный, кургузый, царапанный; Жанна забрала его у матери на память об отце, а Степан забрал его у Жанны для своих неведомых мужских нужд.

Над диваном обширная карта – *Ruthenia* – полупустая, стертая и дикая. Жутко старая и жутко дорогая. Сбоку от нее – поменьше, но еще дороже – аляповатый план земель Сибири; белые, охристые, желтые круги, муравьиные черные буковки бегут во все стороны. По левую руку четкий офисный стеллаж с разноцветными папками, расписанными по номерам (что там говорил Забельский про оффшоры?). Возле стеллажа, на коврике, велосипед; время от времени Степа крутит педали.

В самом углу, у окна, отсвечивали раздвижные прозрачные дверки; за первой четкая череда труб, увенчанных тяжелыми кранами перекрытия – как ровный ряд стволов со сложенными штыками; за второй коробочки предохранителей: случись пожар или наводнение, можно сразу принять меры. По другую руку низкий шкаф с любимыми книжками: Уоррен Баффет – «Письма акционерам», забавные бойкие шведы про бизнес в

стиле фанк, все это она уже проглядывала, читать невозможно, скучища. Над шкафиком, почти во всю оставшуюся стену, его любимый Пастернак: желтое лето, охристое солнце, золотые лица, славные времена, и они бы могли так, сердце щемит.

Она включила подсветку над сибирским планом с черными, отчетливыми буквами, взяла бинокль, подкрутила окуляры. Карта была у самых глаз, подсветка слегка мерцала, начался полет над раскрашенным прошлым. Из новой земли Галандец через самоедов земли Тверской, Югорску, Кол-мыгорску и Поморску, подрагивая в такт сердцебиению и поминутно попадая в расфокус, она добралась до центра мира, центра плана: белый круг, рассеченный венозными реками: *Великая Татария высокого холма, и всей внутренней Сибири, а в ней грады – славный град Тоболеск, Тюмень... Туринск...*

Значит, вот как он, устав от пересчетов, путешествует по картам и картинам, взгорьям и рекам и насыпям краски... А что он еще тут делает? Жанна перебралась на диван, уютно свернулась в калачик, принялась. В поры красного дерева, в трещины кожи впитались ароматы табака. Они проступали по очереди. Сначала отделялись легкие, летучие оттенки вишни, за ними тянулись сладковатые шлейфы ванили, тяжелый дух густого голландского курева, на самом дне держался горький осадок махорки: привычка горлодерить осталась у Степы с матросских времен.

Старая картина краской пахнуть давно уже не могла, а все равно припахивала: еле-еле. Велосипед разил металлом, машинным маслом. Небрежно брошенная спортивная майка – засохшим до корочки потом, чем-то родным, далеким, неприятным и желанным. Это все его запахи, которыми он не пожелал делиться с ней. Спрятал. Обособил. Отделил. Сам живет в них, сам для себя ими пахнет.

Не для нее.

Стало так жалко себя... Она ведь очень хорошая, без ложной скромности, у кого ни спроси; за что ей все это?

Нет, ломать себя и скачивать его секреты она не станет. А к детективу все же сходит. И посмотрим, как сложится дальше.

4

Ухтомский сидел на Соколе; двадцать первый этаж небоскреба; стены стеклянные, стол стеклянный, чашечки тоже стеклянные. Не офис, а

гигантский аквариум. И сам он в этих хрупких стенах, за прозрачным столом, на фоне белой Москвы, казался извивающейся рыбкой. Подплывет, замрет на несколько секунд, позволит собой полюбоваться, и мгновенно исчезнет, сверкнув чешуей.

Идя на встречу с детективом, Жанна представляла циничного дядю: рыжие волосы на коротких пальцах, кожа неровная, конопатая; он тяжело сопит, поправляет подтяжки в полоску, потом вызывает помощника, неопрятного, неразличимого, и пускает его по следу. А тут – высокий парень с неожиданным лицом: кожа тонкая, оливковая, нежная, черты мелковатые, облик моложавый, почти мальчуковый, а волосы совсем седые. Верхние зубы крупные и загнутые книзу; когда рот закрыт, вид суровый, чуть не мрачный, но только приоткроет – губа сама собой сползает вверх, и человек как будто бы смеется. Жизнерадостно и лучезарно. Даже если предельно серьезен. В правом ухе смешная сережка; стальное кольцо-многогранник на левом мизинце. Причем – поверх сустава, на фаланге, как маленькая гирька для довеса.

Он явно знает, что ему идет темнозеленая рубашка навыпуск, черные джинсики, синие бархатные ботинки; ишь какой. Кокетливый, забавный. Года на два, на три ее моложе. Приятный немосковский говорок, не сибирский, но и не южный; скорей всего, откуда-нибудь с Волги: он сглатывает гласные на выдохе, тут же это замечает, начинает по-столичному растягивать. Но речь невероятно четкая, дикция почти актерская, звуки отлетают от зубов. Нет, нет, хороший парень; молодец Забельский.

Парень скользил по кабинету; говорил – без умолку, однако же не тараторя; то про дела, то про жизнь, то опять про дела; расхваливал свою сумбурную профессию: что в ней, казалось бы, веселого, а все-таки она живая, настоящая; тебя как будто подняли над городом – повсюду крыши, крыши, все тяжелое, непроницаемое, и вдруг они начинают раскрываться – как раковины или табакерки, одна за другой; внутри загорается свет, там люди со своими судьбами, и в этих судьбах надо разобраться... Жанна отчетливо все это представляла; в детстве у нее был игрушечный домик, в нем горела электрическая лампочка, был щедро накрыт крохотный столик, заправлены постельки, шла своя, отдельная, кукольная жизнь...

Вдруг Ухтомский остановился, ровно посередине залы, и уморительно изобразил обманутого мужа: худое лицо внезапно обрюзгло, зеленоватые глаза помутнели, покрылись влагой, нижняя губа набухла и отвисла, взгляд блуждает по сторонам... Впрочем, он тут же смутился, посуровел, стал чересчур усердно рассказывать про технологию работы: подсьемки, отчеты, графики передвижений... Паренек, конечно, прокололся: не

сообразил, что мог ее обидеть; она ведь тоже – обманута. Ладно уж, она не обижается; ведь так приятно – долго-долго говорить с мужчиной, без пошлого подтекста, без малейшего желания понравиться; много лет она была лишена такой возможности. Давай, дружок, формулируй задачи; вари свой колумбийский кофе в хайтековской машинке. Между прочим, аромат не хуже, чем у Марьи Дмитриевны, хоть и без старинной медной кофемолки, медлительного разогрева и скоростного закипания.

Подав гостю крохотную чашку с черной гущей и легкой пузырьчатой пеной, хозяин кабинета похвастал видом. Сквозным, панорамным. Справа просторная строгинская пойма, позади погрязший в снегу причал Северного порта, темное свечение январского льда на Москва-реке, внизу индустриальная роскошь Ленинградки, на горизонте – крошечный кирпичный Кремль, обрызганный сусальными куполами...

Час пролетел; они еще не начали игру в вопросы и ответы; но когда Иван наконец-то присел напротив, Жанна поняла, что рассказывать ей больше не о чем: все что хотел он между делом выпросил. Вот настоящий мужской разговор: куда бы ни соскальзывала мысль, она все равно возвращается в нужную точку. Женщина спешит за своими словами; они скачут, как яркие резиновые мячики по наклонной дороге, разбегаются в разные стороны; в конце концов приходится остановиться и спросить: «О чем же мы все-таки говорили? Ведь была у нас какая-то тема?» А тут – боковыми путями – они добрались до четкой и заранее определенной цели; прекрасно!

– Жанна Ивановна, заказ очень выгодный. И с профессиональной точки зрения, простите за цинизм, интересный. Отказываться глупо. Но должен вас предупредить: вы можете разочароваться. Не в том смысле, что я не раскопаю детали; я – раскопаю. Однако ж иных деталей вам лучше бы не знать. Конечно, я надеюсь, что именно ваш случай – особый; мы поскребем близкого человека и не обнаружим гнили. Но не факт. Не факт. Вы не опасаетесь, что результат будет хуже, чем отсутствие результата?

– То есть?

– То есть вы хотите понять, что происходит на самом деле. Но кто знает, что такое – на самом деле? Ваш муж и впрямь решил перейти на чужую сторону? Допустим. А вдруг это случайность, ошибка, минутное помутнение, сбой, а все, что было в вашей жизни до сих пор, это и есть – на самом деле? Вы не боитесь, что случайное знание о случайном разрушит надежду? И раздавит вас и ваши отношения? Что все потом обустроится, а вы уже не сможете переступить через себя? Подумайте. Взвесьте. Есть право не знать. Как только я начну действовать, вы это право потеряете.

Разумеется, вы сможете остановить мою игру, всего лишь потеряв аванс – что такое аванс? пшик – свое новое знание вы не отмените. Станете строить догадки, мучаться. Еще раз прошу: оцените ситуацию, примите правильное решение.

– Я уже приняла, – обреченно ответила Жанна.

– Ваше право. – Гибкий мальчик вздохнул с облегчением и сожалением. – Составим план, прикинем смету.

Глава четвертая

1

Он меняется катастрофически. Всего три недели как слег, а глаза уже упали, очертились скулы. Дотянет ли до операции? Жанна все время рядом, гладит корявую руку, расчесывает космы, по одному распрямляет волоски, жесткие такие, длинные, упрямые, протирает пролежни пахучим облепиховым маслом, и на складках ее ладоней, на линиях жизни остается жирный оранжевый след; ночью она спит в его спальне, и никто теперь ее не прогонит. Последнее право женщины – быть рядом со своим мужчиной.

Он благодарен; изредка приходит в себя, тихо жмет пальцы; она почти счастлива. Счастлива сквозь слезы. А все равно счастлива. Они молчат. Что тратить силы, и зачем слова? вот, ногти надо постричь, загибаются уже, отвердевают, обычные ножницы не берут, только педикюрные кусачки. Звонят партнеры: а как, а что, а где, а на кого? Она всем неуклонно отвечает: не знаю, не до вас, не позову. И ведь действительно не знает: не нужны ей все эти реестры и Багамы, какая разница, куда пойдут активы и пассивы? Есть только он. Он болен. И она. Она пока здорова. А больше нету никого. Да, есть еще далекий непослушный сын. Но Тёмочкин взрослеет, он скоро обособится, затеет отдельную жизнь. А здесь... здесь предсмертный клубок, две судьбы переплелись напоследок, два тела больше никогда не сольются, но они неразрывны, дыхание в дыхание, боль в боль.

В гостях у кинопрокатчика Ицковича (год? полтора? или два назад?) их познакомили со смешным режиссером Котомцевым, Петром Петровичем. Рыхлый, беззаботно-бесформенный Петр Петрович рассказывал байки, хрипло веселил народ. Зажатые люди из бизнеса долго держали дистанцию, вежливо говорили «ха-ха», но в конце концов оттаяли, помолодели. Растянули эксклюзивные галстуки, сбросили авторские пиджаки, забрались на кресла с ногами, стали неприлично ржать. Не владельцы предприятий, а богема!

Лишь одна история Котомцева, что называется, не покатила. – Великий сценарист Дремухин видел сны. В этих снах он сочинял сюжеты. Гениальные, какие же еще? Но просыпался – и вспомнить ничего не мог. Только привкус райского яблока, утраченный аромат блаженства. Дремухин

мрачнел, злобно завтракал и уходил бродить по Москве – в любую погоду – без цели. Располневший, бородатый, в длинном пальто, похожем на солдатскую шинель... Гонорары ему платили редко, называли подвоилой, но заказы все равно давали: настоящий талант не проспичь. Наконец жена Дремухина придумала, как помочь мужу и упрочить семейный бюджет. Подарила карандашик с маленьким грифелем и очень удобный блокнот заграничного производства. Открываешь блокнот – загорается тонкий фонарик, пристроенный внутри корешка. Закрываешь – подсветка гаснет. Пробудился, записал и спи себе дальше.

Проходит ночь, другая, третья; Дремухин ну никак не успевает вовремя очнуться, поймать историю за хвост. И вот ему везет: он открывает глаза посреди широкоформатного сна, готов умереть от счастья, весь трепещет: такой сюжет! такой сюжет! победа. Набрасывает план – и валится на жесткую подушку. Спит полноценно, долго, до обеда; проснувшись, лениво шарит ногами по холодному полу, неспешно согревается в теплых тапках, заразительно потягивается, чешет мохнатое пузо, в полное свое удовольствие принимает душ; куда теперь торопиться! Свежий, довольный, садится за стол и зовет жену. Открывает блокнотик. А в блокнотике две безглагольные фразы: «Ночь. На дороге, обнявшись, двое».

Все вежливо дослушали, переглянулись: ну двое и двое, в чем цимес? А теперь до нее дошло: это и был самый лучший сценарий. Бог, если Он есть, открыл сценаристу глаза. Котомцев ничего не понял. И они тогда – не поняли. Потому что вот она, мечта. Ночь, утро, день, вечер – неважно. По дороге, обнявшись, идут двое. Или постель. Обнявшись, двое лежат. Или болезнь. Двое рядом, его рука – в ее руке. И чтобы так пролетела жизнь. А она пролетит, не замедлит...

...Господи, что же это она такое творит? Надо гнать опасное видение, что за глупости она насочиняла, что за мысли о болезни близкого; еще накликаешь беду. Слава Богу, Степочка жив и здоров, ничего с ним не случилось и не случится, тьфу-тьфу-тьфу, постучим по деревяшке, а она дура, дура, дура, что себе позволяет. Таня тоже права; надо завтра забежать в церковь, поставить свечку, замолить грехи.

Спокойной ночи, Жаннушка. Спокойной ночи, милая. Попробуй сжаться в комочек, укрыться одеялком, укуклиться и мирно уснуть. Монеткой провалиться за подкладку и тихонько лежать, чтоб не нашли. Целая ночь покоя впереди. А утром все равно проснешься, и вместо привычной радости пробуждения будет слой за слоем проявляться тоска. Как поверхность усталой кожи после смытого макияжа. Синяки, мешки и

мелкая-мелкая сетка морщин.

2

Водитель – профессия заднего вида. А сзади Василий похож на бульдога, это Жанна хорошо подметила. Гладкошерстый загривок, тугие хрящи на ушах, на шее массивные складки. Авдюшку ведет безупречно, но все время ворчит и бормочет. Потому что не велено слушать радио и включать телевизор, а просто так рулить неинтересно. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Половины слов не слышно, но Степан и не вникает. Сначала что-то про цыган, которых в Тарасовке стало как грязи, обнаглели совсем, наркота идет через них, воруют, прыгают всюду, как блохи, управы на них никакой; будет им обратка, народ возбудится, уже не удержишь. Потом, мелко хихикая, про жену, которая в выходные заподозрила неладное, чуть не прибила за блядки: она сильная и некультурная, деревенская, из Удмуртии взял, до сих пор деньги в лифчик прячет, кладет под кровать деревянный обструганный член, для плодородия, и говорит *ложжж*, *ложжить* и *ложжит*. Типичная дура.

– Вот я и спрашиваю, Степан Абгарыч, можно ли мужчине не иметь отдельную женщину для души? Чтобы там быт не заедал, чисто для радости? Нельзя. Каждый мужчина имеет право налево, это так природа устроила. Верно ведь?

И в зеркальце – зырк, зырк. Дескать, не надо меня выводить из игры. Не стоит шифроваться и таиться. Мы же ж все понимаем, мы же ж свои. Тем более что и так, без вас, уже обо всем догадались.

Посвятить его, что ли, в детали? Придется, наверное. А может, и нет; Мелькисаров еще не решил.

– Притормози. Запаркуй. Подожди.

Степан Абгарович с полузабытым наслаждением прошелся по арбатскому снежку. Хрум, хрум. Сначала брел по Денежному переулку, потом через Глазовский завернул в Могильцы, постоял у дома с барельефами. Длиннобородый Толстой, худосочный Гоголь, жизнерадостный Пушкин – в окружении ветхих наяд; из нарядов гипсовых красавиц выпростались сероватые груди, узловатые руки классиков лежат на приятных выпуклостях; выпуклости потрескались, облупились, а сбоку даже полуобвалились: колотая кучка аккуратно сметена к стене. Здесь до революции было веселое заведение, а теперь жилой дом. Барельефы

разрушатся, рейдеры закажут экспертизу, дом приговорят, снесут и построят новый, по тридцать тысяч долларов за метр. Без наяд на фасаде. Зато с наядами внутри.

Еще за угол, еще; вот оно.

Никакой таблички или знака; доступно только для своих. Звонок; булькающий домофон; второй этаж. У входа в сумеречный коридор встречала владелица, Ульяна Афанасьевна, дама лет пятидесяти, высокая, худая, с округлым и полуоткрытым ртом, похожая на миногу. Волосы, покрашенные в рыжину, собирались в девичью косичку; выражение лица у нее было игривое, глаза энергичные, темные.

– Извините, уважаемый Степан Абгарович, извините за темень, мы, поймите, свет не экономим: просто сводим на нет риск ненужной встречи. Мало ли. Пройдемте сразу ко мне, я займусь вашим делом лично; сам Соломон Израилич звонил.

Чем темней был коридор, тем кабинет казался светлее, просторнее. Окно выходило на заснеженный детский садик; старую раму обновили, от глухих стеклопакетов отказались, и непривычный уличный звук просачивался в помещение. Дети кричат, няньки ругаются; уютно. Мелькисаров похвалил: хорошо; Ульяна Афанасьевна гордо кивнула: знаем.

Всю стену занимали ряды безымянных папок, только номера на корешках. Агентство называлось «Алиби»; оно безупречно путало карты частному сыску, спасало репутации, сохраняло семьи, помогало врать во спасение. Вы нам всевидящую слежку? а мы вам длинный дымный шлейф; вы по следу, по следу? а мы хвостиком вильнем направо, свернем налево, попробуйте нас отыскать. Клиенток было больше, чем клиентов; провинциалов больше, чем столичных; но перебоя в заказах не случилось, за двенадцать с половиной лет – ни дня простоя.

Тюменские нефтяники и сахалинские промысловики передавали Ульяне кредитки, тратили денек-другой на постановочные съемки – и отправлялись восвояси. В заснеженный Шамони, или в пропахшую торфом и виски Шотландию, или в бело-голубой Оман; мало ли хороших мест на свете, словно бы специально предназначенных для двух симпатишных людей, один богатый, а другая – красивая. Тем временем сотрудники агентства обналачивали деньги в банкоматах, оплачивали покупки в бутиках, переключали звонки на московский номер, монтировали снимки на фотошопе. Вот клиент на входе в центральный офис, с коллегами в модном ресторане «Пушкинь», кушает пожарскую котлету, запивает русским квасом, десять евро граненый стакан; а вот прощальный кадр перед посадкой в «Домодедово»... По возвращении домой суровая

провинциальная жена проверяла распечатку счетов: 14 часов 35 минут, Москва, 20 часов 18 минут, опять же Москва, следующий день, 11 часов, все равно Москва; разглядывала фото, хвалила: семинар (совет директоров, отчет, заказ) удался на славу – и шла примерять столичные обновы. Муж скромно улыбался.

Содержанок вызывали в суд, повесткой, по мнимому разделу наследства – в родной Ростов, Саратов, Самару, Краснодар, где слишком много красивых девушек и слишком мало богатых мужчин; там, на родной земле навсегда пролетевшего детства можно было не стеснять себя приличиями, говорить громко, всласть, есть от пуза, романтично гулять по проспекту; отдохнув недельку в кругу любимых нищих мальчиков, легче было терпеть скучных скуповатых папиков в Москве.

Агентство умело все. Свести и развести, разыграть и прикрыть, создать параллельную версию жизни. Только против жадности и глупости оно было бессильно. Как помочь второму вице-президенту, отправленному на переговоры в Стокгольм и оплатившему корпоративной картой женские прокладки в ночном вокзальном магазине – ровно в четыре утра? Что делать с африканским загаром, если вы уезжали в Калугу? Только посочувствовать и распрощаться.

Система была отлажена; стандартный набор приемов – все равно что комплект разводных ключей: замеряем количество дюймов, выбираем насадку, три-четыре поворота – дело сделано, можно ехать дальше. Все отлично, четко, прибыльно; не слишком, правда, интересно. Но случай Мелькисарова – особый, это высший разряд, настоящее творчество. Степан Абгарыч излагал канву; Ульяна слушала, качала головой, глаза у нее загорались. Узнав про порванное фото из ГАИ, она вообще затрепетала; как девочка захлопала в ладошки: ух ты! Правда, ревность тут же взяла свое; по лицу пробежала тень. Ульяна завистливо, несколько даже с обидой спросила:

– Что же к нам пораньше не пришли? У вас повсюду собственные кадры? Забросили широкую сеть, уважаемый Степан Абгарович?

– Мир не без добрых людей.

– Да уж, вы могли бы стать мне конкурентом!

– Мог бы. Но не стану. Доверяю профессионалам.

Он улыбнулся примирительно, вольготно. Ульяна подавила минутное чувство досады, опять увлекла себя замыслом. Они долго разминали тему, рисовали эпизоды, докручивали фабулу; в конце концов набросали планчик, расписали иные детали, разметили даты, обговорили гонорар и накладные расходы. Составили контракт – с 7 февраля по 31 марта такого-

то года включительно. И разошлись, довольные друг другом. Скучать никому не придется. До встречи.

Он спустился по лестнице черного хода. На улице слегка похолодало. Полузимний вечер подступил вплотную; солнце светило из последних сил. Мелькисаров шагал весело, широко. Через пять минут подошел к машине.

Василий крепко спал. Степан Абгарович резко распахнул дверцу, шуганул шофера:

– Так тебя из машины выкинут. Рано или поздно. Сонная ты тетеря.

– Простите, хозяин, ждал, ждал – и вздремнул. А у вас как прошло, все удачно? – И опять многозначительно посмотрел в зеркальце: скажет, не скажет?

Нет, не сказал. Зато сказал другое.

– погоди, не трогайся, Василий. За тобой сейчас пристроится «Мазда», шестая, и потом еще какое-то время вплотную поедит; ты не реагируй, ежьай спокойно, так надо для дела.

– Охрана, что ли, Степан Абгарыч?

– Я же говорю: спокойно. Месячишко-другой потрется возле нас и навсегда исчезнет. Вот она, видишь?

– Угу.

3

Ухтомский назначил встречу в ресторане, на углу бульварного кольца и Сретенки. Ресторан был дорогой и невнятный. Повсюду пышные восточные ковры, легкая итальянская еда за весомые русские деньги, беззвучный экран, по которому двумя рядами с разной скоростью бежали биржевые сводки, серые цифры мешали зеленым, красные рябили в глазах. Равнодушные официанты заняты собой, а не гостями. Стоят у барной стойки, хихикают в голос, подзуживают бармена.

Иван оглянулся раздраженно, ничего не сказал, только зло заиграл желваками – и стал похож на недовольного начальника. Щелкнул пальцами, жестом подозвал менеджера, показал глазами на обслугу, молча поднял бровь; менеджер тенью скользнул к бару, и в зале установилась уважительная тишина. Ваня развел руками: дескать, с ними только так и можно. Что же, он умеет проявить настоящую силу.

Зал был пуст, кроме них – никого: неурочное время. И хорошо, что никого. Не хватало еще пересечься с кем-то из ее знакомых.

Иван не спеша докладывал; Жанна полурассеянно внимала.

Рассказ про девушку был выслушан, принят к сведению – и задвинут на задворки памяти. Потому что никаких сюрпризов не принес. Аня все тогда угадала, разложила по полочкам. Дарья Давлетьярова, полурусская-полутаджичка, в столице с двенадцати лет, родители рано умерли, воспитывал дядя; возрасту юного, только что исполнилось двадцать два; работала в бюро эскорт-услуг, два месяца назад уволилась, сейчас нигде не служит. Нетрудно догадаться почему; за чей, так сказать, счет перестала нуждаться.

Судя по всему, сначала все было не слишком серьезно. Оплаченный чистенький секс с врачебной гарантией безопасности. С этим Жанна давно смирилась, а что ей делать, все равно деваться некуда. Но девушка попалась умная; приручила и замкнула на себя. И затаилась. Грамотно. В таких делах нельзя спешить и поторапливать события. Пускай крючок дойдет по пищеводу до нутра, там и зацепим, вонзим заточенную сталь, потянем на берег. Медленно, по течению, без подсечек. Сачок заготовлен заранее, милости просим, дорогой С. А. М.

А теперь – наглядные материалы. На низком столике были разложены фотографии, отснятые позавчера на выезде, в Нижнем. Веселые картинки про любовь, фотокомикс на тему «адюльтер». Четырнадцатое февраля, день влюбленных. Степа с *этой* любятся нижегородским Кремлем. Игриво шутят возле памятника Чкалову: былинный авиатор натягивает летчицкие краги; на фоне речного простора детали сливаются, фигура кажется монолитной – вылитый чугунный Вахх с могучими причиндалами. Намек понятен. Сучка. Выходят, сытые и довольные, из ресторана «Царская Охота». Проскальзывают мимо ряженого швейцара в гостиницу «Вольтер». Мягкий свет, легкий вечер, заманчивый уют дорогого отеля... Там, глядишь, и постелька... Фотографии профессиональные, краски сочные, гламурные, репортаж из жизни звезд. А вот и Степина машинка, вмятина на месте, номер верный...

Но что-то не то, что-то не то. Как в классическом сложном пасьянсе, все поначалу совпадает, а потом до конца не сходится. Король приближается к даме, прикрывается джокером, но бьется тузом. Смотрим еще раз, внимательно. Кремль – да, набережная – да, вход, машина... Вот оно! Валет не на месте. Потому что Василий – в машине. Сквозь лобовое стекло не очень четко видно, но нет сомнений, это он. Откинул спинку, растянулся поудобней, и сопит. Но именно позавчера он заходил, заносил ей документы на осагу и брал деньги на замену масла. Сказал: хозяин поручил побегать, пока он в Нижнем – что-то там по бизнесам. Странное

существо Василий, летучее. То его нет на гаишном фото, хотя обязательно должен быть. То он вполне себе есть, хотя быть его на снимке не может.

– Иван, как все это понять?

Иван с неудовольствием послушал, переспросил уклончиво:

– Вы точно помните, Жанна Ивановна? Позавчера? На Валентинов день? Не тринадцатого, не пятнадцатого?

– Я, конечно же, обманутая женщина, но все-таки покамест не блондинка. Отдаю себе отчет в происходящем. По крайней мере, так мне кажется.

– Не сердитесь, что вы, я же ничего такого не имел в виду. – Когда он смущается, уши смешно елозят, как у провинившейся собаки, проколотый хрящик краснеет, он начинает нервно крутить на мизинце свой многогранник. – Я, честно сказать, не понимаю, что случилось. Не готов предложить ответ. Может, наш сотрудник напутал, отснял Василия в Москве, потом забыл, приложил к общей стопке – смотрите, Жанна Ивановна, по фото не понять, где именно стоит машина, в Нижнем на улице Ленина, в Москве на площади Маяковского или вообще на пляс д'Этуаль. Фона нету, крупный план. По любому, это безобразие, мы разберемся, завтра доложу, наложим штрафы, дадим вам бонус по оплате, никаких проблем.

– Есть проблема.

– Какая? – совсем смутился.

– Хватит называть меня Жанной Ивановной, подчеркивать разницу в возрасте.

Все мерзко, гадко, отвратительно. Жизнь переломилась надвое, пошла вразнос. Но слегка покочетничать можно. И понаблюдать за мужской реакцией. Это еще никому не вредило. Даже если на душе совсем уже кисло. Ребенка наказали, он сидит взаперти, плакать хочется, а еще бы лучше – умереть, чтобы все пришли на похороны и сами рыдали над гробом, а он бы следил сквозь сощуренные глаза и в душе наслаждался мщением; но умереть никак невозможно, поэтому наказанный просто дергает спящего кота за седой ус и ласково наблюдает, как тот недовольно кривится и трет морду лапой. Забавно.

– Обещаю вам, Жанна, больше не повторится. И никакого возраста у вас вообще нет. То есть... я хотел сказать...

Округлые зубы полезли вперед, губа откатилась вверх, выражение лица комичное, а глаза напряженные, бегают...

Все-таки он милый.

На следующий день Иван позвонил с утра.

– Мы могли бы встретиться после семи? Ненадолго, но не в офисе, и вообще не в помещении, мне кое-что не нравится, хотел бы с вами обсудить.

– Ладно, Иван. А где?

– Ну, чтобы не вызывать подозрений... и поближе... вы живете ведь на Чистопрудном? я не путаю? а на каток случайно не ходите?

– Ваня, дорогой, какой может быть каток в наши годы? Я там уже лет пять не была, с тех пор как сын подрос.

– Но коньки-то остались?

– Как ни странно.

– Тогда, может быть, измените привычкам?

– Молодой человек. Молодой человек. Вы меня приглашаете покататься? Пикантно. Что ж, оно мне даже приятно. Давайте тряхнем стариной. В семь, найдете меня на льду, идет?

– Спасибо вам, Жанна. Я буду вовремя. Как штык.

Спортивный костюм чересчур обтягивал ляжки и округлял мягкие части, все-таки полразмера она прибавила; ну может быть, не полразмера, а какую-нибудь четверть; и все же. Ботинки были жестковаты, обувная кожа быстро старится: кончики пальцев сжимались в щепотку, обязательно замерзнут. Но Жанне было все равно; однообразие жизни вдруг нарушилось, появилась нервная радость, завязался сюжет с непонятной развязкой. Впереди – не смутный вечер в одиночку, не привычный разговор с МарьДмитрьной, не кружок спортивной самодеятельности, а приятная встреча с приятным Иваном, невинное, святое приключение. И что там скрывать, небольшая, безопасная месть. Вы нам так, а мы вам эдак. Держитесь, Степочка Абгарович, мы тоже когда-то кружили головы, умеем-с.

Она пришла заранее: раскататься. Чтоб не ударить в грязь лицом. Кстати о лице; пусть порозовеет, оживится, а то совсем стало бледное, вялое.

Позавчера погоду шатало из тепла в мороз и обратно; вчера была почти весна, сегодня резко похолодало, с неба посыпался острый снег; освещенное пятно катка как будто запотело. В ярком тумане, как странные мерцающие тени, скользили юные фигуристки, пожилые дядечки осторожно несли свои животы, проносилась юркая молодежь. Жанна

неуверенно потопталась на месте, ногам было неудобно, остро; наконец она решилась, скребнула лезвием – и поехала. И сразу сбросила все: неприятности, слезку, возраст. Тело вспомнило полузабытую привычку, держалось все уверенней, вольготней; упразднились мысли, движение совершалось само собой. Сквозь тонкий снег, сквозь вязкий туман, по кругу, по кругу; не путайтесь под ногами. Девочка, осторожней, не налети; молодец, девочка, верткая. Чувак, куда несешься ты? а след его уже простыл.

Ей было сейчас тринадцать лет, не больше и не меньше; уже не девчонка, еще не подросток; позади беспрекословное послушание, впереди поколенческий бунт, а покамест сплошное блаженство – быть рассудительной, спокойной, послушной и при этом полностью свободной; мама с папой где-то близко, но все-таки не за ручку; ты под их защитой, но сама по себе. Таким был Тёмочка перед отъездом в далекий Веве: тринадцать лет, аккуратная челка, штаны как у папы, сплошные карманы, гордый, но пока не протестует, родителей не стесняется. Но Тёмочке, тому постоянно шесть. Упрямый и обиженный вопрос в глазах: ну почему?! Вырастет, возмужает, женится на какой-нибудь дуре, к которой Жанна заранее ревнует, и все равно останется шестилетним. Как на любимом потресканном фото: упитанный мальчик стоит в луговых цветах, вокруг огромная тимофеевка, гигантская ромашка, доисторический хвощ; в одной руке у мальчика машинка, в другой коробка с жуком. А Степану, тому всегда слегка за сорок. И когда они только встретились, было сорок, хотя по паспорту – меньше тридцати, и сейчас, когда отзвенел полтинник. Вечные трудности среднего возраста, помноженные на жесткий опыт и зрелый ум. Никогда не состарится и никогда не избавится от проблем; тяжело ему, бедному.

– Осторожно!

На полной скорости она влетела во что-то крепкое, мохнатое. Подняла глаза: Иван.

5

С Дашей ему повезло. Все понимает с полуслова, чувствует, когда не до нее. Спокойно уходит в себя, становится беззвучной и воздушной; великое дело Восток. Единственная Дашина слабость – обожает сидеть за рулем. Но слабость извинительная, даже умиляет.

Ведет она машину хорошо; сидит почти расслабленно: что напрягаться, если все под контролем; неуклонно смотрит на дорогу, не мигая. Как настоящая кочевница. Кочевница, впрочем, и есть. Или таджики были земледельцы? Кажется, что будет ехать ровно, по прямой; вдруг начитает тикать поворотник, Даша мягко отклоняет руль, на секунду дает ускорение, и они уже в крайнем ряду.

Славная, теплая девочка. Заслуживает многого. А получит мало. Здесь вам не кино; хеппи-энды случаются редко. Вряд ли она вырулит по жизни; в этом плотном ряду не осталось зазоров. Постоянные места при серьезных мужчинках давно уже заняты; если вдруг появляется вакансия, на хищника тут же бросается свора; Даша слишком нежная – порвут. Так и будет проситься в чужую машину: дяденька, дай порулить. Потом подсохнет, как сохнут восточные женщины, и за рулем окажутся другие. А там? а там – кто может знать, что будет *там*. Лучше радоваться свежим впечатлениям.

Последние пятнадцать лет он либо вел машину сам, либо равнодушно плюхался на заднее сиденье, за Василием; справа от шофера может сидеть кто угодно – охранник, порученец, временный партнер, но только не солидный человек. Увидят коллеги, покрутят пальцем у виска; демократ, эксцентрик, лучше не иметь с ним дела, выкинет фортель, потом разбирайся. Красавица – совсем другое дело. Ах, какая девушка у вас, Степан Абгарыч, примите поздравления... Как только появилась Даша, Мелькисаров получил роскошную возможность – пересесть; он глядел в окно и тихо радовался. Так лохматый пес, любимец хозяев, с важным видом смотрит из машины, притворяясь, что очень строг, а на самом деле все ему любопытно.

Из водительского кресла дорога кажется расчисленной, логичной. Постаревшая, обрюзгшая братва презрительно глядит сквозь тонированные стекла на весь этот лоховник. Белокурые подружки толстых дядек, доказывая что-то жизни и себе, злорадно вгоняют свои огромные «Кайенны» в едва заметные просветы на дороге, как вгоняют занозы под ногти врагу. Господа, которые по бизнесам, прячутся за спинами водителей, время от времени давая команды, как в старину подталкивали кучера хлыстом: голубчик, мчи по разделительной, будет полтина на водку. «Жигули» тотально выкуплены гражданами с юга; они буравят Москву во всех направлениях, ни одного не зная как следует; любимое их развлечение – внезапно дать по тормозам на ледяной дороге и, по-звериному взревев, крутануться на месте, чтобы на секунду замереть, выплюнуть черный дым из-под хвоста и усвистать в обратном направлении. Если не сшибутся с кем-нибудь в момент лихого разворота.

А дорога справа вовсе не такая. Вольная, рискованная, хаотичная. И смотришь ты не на машины, а на людей в машинах; дьявольская разница.

Маленькая девушка на огромном иксе-пятом еще покажет всем, кто тут главный; высоко сижу, далеко гляжу – напоминает крановщицу, зависшую в будке над стройкой; но это будет позже, а пока она так бойко, так увлеченно болтает, что ничего ей больше и не надо. Следит за дорогой, реагирует бурно, но в ухе – мобильная рогулька, и губы шевелятся, шевелятся. Сразу ясно – говорит с подружкой. С мужчиной так не поговоришь: самозабвенно, бесконечно, без разбору; о чем нам скажется, про то и скажем, вот. Небольшой затор на светофоре; девушка, не оставляя разговора, мешает рукой во вместительной сумочке, где все перепутано со всем: флакончик духов, салфетки, ключи, записнущка, жвачка, тампон, модная киношка на сидюке, на всякий случай запасной презерватив и серебряный валдайский колокольчик, как он только сюда мог попасть? Смотрит исподлобья в зеркальце заднего вида, поправляет мелкий изъязн; вот и рассосалось, можно ехать. Короче, мама не горюй! опустила по самые помидоры... а он мне, значит, бля... а я ему, такая...

За рулем бывалой «Волги» основательный майор в отставке – из разряда «еще по пивку?»; бухое лицо, изрытое оспинами. Ой, не хотелось бы дневалить в казарме, когда его дежурство. Волгарь намерен покурить – вслепую шарит возле ручника, уютно разминает пачку, ловко вытрясает сигарету в свой разверстый рот и шлепает губами, как дрессированный тюлень, поймавший рыбу; лезет за прикуривателем, на секунду отвлекается – и чуть не въезжает в ульянину «Мазду» с развязным потливым фотографом. Кровь ударяет военному в голову; он бьет кулаками по рулю, матерится, театрально трясет руками – объясняя каззлу, кто он такой, этот каззел...

А справа от «Мазды», в крайнем левом ряду – здравствуйте, не ждали! – виднеется драный универсал, – их в советские времена пикапами называли – «Жигули», голубая «четверка». За рулем, как полагается, чернявый. Его как следует не разглядишь: ближние машины то расступятся, то сомкнутся... И все равно сомнений нет и быть не может: чернявенький – тот самый; и невнятный напарник – за ним, в глубине.

Мелькисаров напрягся.

Четыре дня назад они опаздывали в Нижний. Вася, чертыхаясь, выруливал с тесной стоянки; фотограф поджидал их на бульваре. Голубой драндулет стоял за углом, шутовски выбиваясь из общего ряда. Справа седьмой «БМВ», слева «Хаммер» с короной из стальных прожекторов и блестящим стальным кенгурятником. А между ними жалкая четверка: как

шелудивая дворняжка среди медальных псов. Мелькисаров сказал: Василий! ты гляди... И мы на таких свое откатались, помнишь? трудно поверить, боже ты мой, как же время летит, другая эпоха. Василий ответил: ага. Ну ты, старый пень, куда прешь! вот молодец, так бы сразу.

На самом выезде из чистопрудного двора Мелькисаров оглянулся – так, на всякий случай; береженого бог бережет. Пикап, не смущаясь роскошным соседством, беззаботно выползал со стоянки, чтобы пристроиться за ними. (Надо будет поставить второй шлагбаум, прямо в арке.) Садовое кольцо кишело разномастной пробкой, нужно было пронырнуть сквозь плотный строй машин – в объезд; пока Василий совершал маневры, четверка вроде бы отстала; он про нее и думать забыл.

Но сегодня днем опять возникла на дороге. Резко свернула за «Маздой» в Грохольский, засвиристела тормозами, завиляла на лысой резине, еще бы чуть-чуть – и столкнулись. Мелькисаров оглянулся в ярости: кто еще тут лезет под колеса? Сразу опознал пикап блудливого голубенького цвета. Подивился совпадению: в Москве три миллиона машин, и надо же два дня подряд встречаться с недомерком? Пригляделся: за рулем какой-то баклажан: толстомясый мужичонка, прокопченный на суровом солнце. Но, кажется, не азиат. На заднем сиденье – похоже, такой же чернявый, но поди разбери. Василий тронул; фотограф поспешил за ними; пикап бултыхался сзади; ближе к выезду на кольцо безнадежно отстал, начал уменьшаться, превратился в точку, исчез.

И вот очередная встреча. Сомнений быть уже не может: слезка. Но кто послал за ними ржавую четверку? И, еще существенней, зачем? Мелькисаров чист как лобовое стекло после мойки. Боковыми путями давно уже не ходит, алюминия и нефти у него не было и нет, кокосом не торгует, дорогу никому не перебежал. Рисковый инвестор. Волк-одиночка. Разве что тогда, с Мусой... но все – на покойном Отари, прошло пятнадцать, если не шестнадцать лет. Нет причины, повода и мотива. Или это привет от давешнего лейтенанта? Могли Роман Петрович и тот майор с брылями попросить друзей: помозольте Мелькисарову глаза, потревожьте, посигнальте, а мы потом заглянем в гости, попробуем переиграть начальные условия? Могли. Друзья подослали людишек. Людишки пустились по следу. Но. Есть нестыковка. Почему они такие скромные, катаются на драндулете? Несolidно, хотя вероятно. Вероятно. А все-таки несolidно.

Дашкинс превратилась в собственную тень; ее не видно и не слышно – угадала перемену ветра. У мужчины проблемы. Мужчине лучше не мешать. Степан Абгарович ушел в себя. Прикидывал, кому звонить. Где там

телефончик лейтенанта?

– Роман Петрович, здравия желаю. Мелькисаров моя фамилия. Помнишь такого, лейтенант? И хорошо, что помнишь. Слушай, лейтенант, есть проблема. Мы с тобой договорились обо всем? договорились. На болвана сдали? Сдали. А кошмарить зачем?

Лейтенант удивился. Причем от души, непритворно. Заговорил суетливо и убедительно, дважды обращаясь к собеседнику, в начале фразы и в конце; так когда-то говорила мелькисаровская бабушка, старенькая мамина мама, сначала успокаивая внука, прибирая его к рукам, а потом закрепляя мораль повторным обращением: «Степа, почему же ты не слушаешься, Степа? Степочка, что же ты не завтракаешь, Степочка? Степан, ну ты же обещал мне, Степан».

– Степан Абгарович, все в силе, мы себя уважаем, не было приказа кошмарить, Степан Абагрович. Номер видите? Ага. Пробью через гаишников и доложусь.

Через несколько минут отзвонился, голос стал чуть поспокойнее:

– Номера не наши, не в угоне и не под бандюками. Кто реально владеет машиной – не знаю; думаю, концов уже не сыщешь. Девяносто первый год, развалюха. Кто-то по доверенности ездит. Вы в каком квадрате? Понял. Степан Абгарович, их сейчас остановят, проверят, я опять доложусь, Степан Абгарович.

Минут через десять они притормозили на светофоре. Светофор не спешил переключаться. Из будки – на другой стороне дороги – вразвалочку вышел гаишник. Степенно пробурил толпу машин, постучал жезлом по крыше четверки, показал злорадно: здравствуйте, гости столицы, пожалте на обочину, щазз разберемся. Остальным махнул полосатой своей палочкой: валяйте.

Прошло еще, наверное, с полчаса. Раздался звонок. Лейтенант был доволен собой; говорил вальяжно и на равных. Как если бы сидел напротив, развалясь; верхняя пуговка на тощей шее расстегнута, зеленый галстучек растянут. Тревога, Мелькисаров, оказалась ложной; за рулем четверки молдаваны, порученцы торговой конторы. С регистрацией полный порядок. В Москве не первый день. И не последний. Таких не берут в космонавты. На киллеров не тянут. Клянутся и божатся: ничего не знают, полная несознанка, все совпало. Скорей всего, не врут. Но даже если врут, что нам с того, Степан Абгарыч? После этой проверки они под колпаком; продолжать игру (*буде была*) бессмысленно; можно позабыть про них навеки, *говоря высокопарно*. Впрочем, бдительности лучше не терять; если есть опаска, то одни отслоились, а других приклеют запросто.

Но вот что касается наших дел. Все остается в силе? И ладненько. Звони, Абгарыч, если что. Поможем. Успехов тебе.

Лейтенант утешил. Но не успокоил. Хорошо. Допустим, это не заказ. Допустим. А что тогда это такое? Красивые и романтические встречи, три раза, как в сказке? Что-то плохо верится в такие совпадения.

Ответов на вопросы не было; пришлось последним усилием воли зажать свои оправданные страхи и заняться намеченным делом.

Он поменялся местами с Дашей, по кольцу доехал до Можайки, ловко пристроился за чьей-то спящей мигалкой. След в след, колесо в колесо они понеслись по Кутузовскому, вдоль серой тяжести, монументальной скуки. Быстро и качественно отработали сложную сессию в районе Мясницкой, снова добрались до Грохольского, быстренько отснялись на Рижской, в полуобнимку походили по выставке современного художественного бреда; у метро подхватили Василия, чтобы он сначала забросил Мелькисарова на Чистые (там еще пара снимков) и потом доставил Дашкинса до дому, в Солнцево.

Ехали весело, трепались ни о чем. А на проспекте Сахарова – нате. Все те же баклажаны из четверки. Ждут. Припарковались на обочине, мотор включен; должно быть, лопают багеты с вареной колбасой, пьют разжиженный кофе из термоса, смотрят неотрывно на дорогу. Увидели «Мазду», отставили *кофий с колбаской*, тронулись с места: ку-ку! Как будто бы и не было гаишного досмотра.

Значит, можем не тревожиться, Роман Петрович? Говорите, попрощались навсегда? Это мы с ними попрощались. А они с нами нет.

– Вася! Едем все вместе в Солнцево, давай на разворот.

– А как же на Чистые?

– Успеем.

То-то удивится фотограф Серега! не доехали до места, развернулись... а ему-то что делать? Он даже позвонить не может, ему телефон Мелькисарова знать – не по чину. Вся связь через Ульяну, как через спутник; накануне вечером она составляет график, утверждает маршрут, она Сереге чуть ли не путевой лист выдает; зверь-баба.

«Жигули», не стесняясь, пристроились сзади. Степан ощутил постыдный признак медвежьей болезни: внизу живота потянуло, в кишечнике заурчало; стыдоба. Дашкинс не слышит бульканья? Не слышит. Но явно чувствует: что-то не так. Тихую свою ручку мягко кладет ему на колено, мирно, без намеков, почти бесполо гладит: ты не бойся, я здесь, я с тобой, я верю: ты меня защитишь.

И то ли от этого жеста, то ли от чего другого, но воспаленная память

внезапно посылает подсказку. Перед глазами проносится неоформленный образ; Степан успеваает его ухватить, возвращает обратно, водворяет на место – и тело становится легким, живот отпускает. Ну конечно же, это Ульяна! *Господибожесымой*, как же он мог позабыть!

Впервые чернявый появился не там, не за углом, не в Потаповском. А возле офиса Ульяны на Арбате! Мелькисаров был доволен разговором; довольный человек по сторонам не смотрит, он весь внутри себя, проживает прошедшую встречу и завтрашнюю перспективу, улыбается, поднимает домиком брови, щурит глаза, бредет наобум. Какая разница, что вокруг; главное что внутри. А внутри разливалось блаженство, екало сердце, подкатывал смех: то-то будет у них эпилог!

Между тем на тротуаре урчал трухлявый автомобильчик; под выхлопной трубой автомобильчика на снегу расплзлось пятно; это черное пятно он тогда отметил краем глаза, и подкорка сама в себя записала: «жигуленок», «четверка», пикап! Записала и отправила запись поглубже; навряд ли она пригодится. А вот и пригодилась. Это чернявый стоял наготове в Могильцах, ожидая от Ульяны хозяйской отмашки, короткой команды: фас! Команда тут же поступила; жигуленка сняли с ручника, вдавили полудохлое сцепление, и потихоньку, полегоньку покатали вслед за *ней*. Не за ним, а именно за *ней*, за «Маздой»! Вот чего он вовремя не понял; вот почему потом попался на крючок.

Если все анализировать холодно, без эмоций, картина выходит ясная. Где и когда появлялся чернявый? Только вместе с фотографом. Какие выводы последуют? Такие. Ульяна женщина неглупая. И очень осторожная, иначе невозможно. Бизнес у нее доходный, но смутный и, в общем, чересчур опасный. Потому что фотограф всегда зависит от заказа. Есть заказ – хорошо; нет заказа – приходится лапу сосать. Зависимость всегда продажна. А клиент доверчив, беззащитен. Как прикормленный зверь. Ласково крутит хвостом, пачкает морду в чане с похлебкой, нюхает самку, ничего не стыдится; все свои, ну какие могут быть тайны.

Могут, могут!

Фотограф щелк-щелк-щелк, клиент позирует, отыгрывает сцену; откуда ни возьмись серьезные грустные люди: парень, есть просьба, давай-ка ты нам не откажешь? Вот видишь, герой фотосессии с бабой? на переговорах с клятыми врагами босса? поджигает косячок? сыплет белую дорожку из кокоса? Ты не сиди без дела, продолжай работу; тихонько так, незаметненько. А мы тебе вот *скоко много* денег дадим.

Фотограф соблазнится, отработает чужой сюжет под прикрытием Ульяниного замысла и навсегда исчезнет с ее горизонта. Клиента возьмут

за грудки; он тепленький, расслабленный, уверен: отоврался. Да не тут-то было. Позвонят, подъедут, постоят. Убедительно, без иллюзий. Придется уступить их внушительным доводам, повторно откупиться от правды. А кто ответит за иудин грех? Хозяйка заведения. Стало быть, ей надо страховаться, напряженно следить за следящим. Чтобы тот всегда был под прицелом. И прицел нельзя скрывать от мишени; ни-ни, пусть грозно торчит, как ствол автомата из-под партизанской дерюги. Фотограф должен осязать опасность, жить и помнить, что все под контролем. В отместку сам присмотрит за коллегой – и доложит, если что не так; наблюдатель тоже человек; социализм, как нас учили в школе, есть учет и контроль.

Если бы он, Мелькисаров, владел Ульяниной конторой, он бы так и обустроил дело. И чтобы не снижать рентабельность проекта, на роль *пригляывающих* взял бы не безумно дорогих профессионалов, а приезжую шушеру. Дешево и сердито. А поскольку он умен, Ульяна неглупа, постольку ход мысли у них должен быть примерно одинаковым. Значит, она так и поступила.

Расфокусированная жизнь настроилась, снова стала четкой. Как будто он сначала потерял очки, а потом нашел – они были в нагрудном кармане, а он искал футляр в боковом. Впрочем, лишнее усердие опасно; кто просил Ульяну выходить за рамки контракта? Почему не сказала, не предупредила? Что за самодеятельность? Или так ее задело фото из ГАИ? то, что обошелся без нее? И теперь она дразнит, ставит Мелькисарова на место? Что же, Ульяна Афанасьевна, вы нам так, а мы вам эдак. Кто кого?

– Василий, давай тормози! Это что у нас? Киевская? я давно на метро не ездил. Вырулишь на Дорогомиловскую, остановишься, Сереге посигналишь, он выйдет – устно дашь отбой. Потом доставишь гостью, машину подгонишь к дому, до утра свободен. Дашкинс, целую, до встречи!

Так Василия давно не унижали. Сначала отодвинули от шашней; *убздевушку* возим-привозим, официально, без поцелуев, *здрасьтедосвиданья*, а то по ней не видно, кто она такая и почем. Теперь и вовсе полная отставка. На метро. Дескать, лучше с простым народом, в духоте и вони, чем с тобой, Василий Владимирович. Узнают шоферюги, засмеют.

6

Никогда не каталась под ручку. И даже не ходила никогда.

Несовременно и смешно. Бобик Жучку взял под ручку. Так бабушки с дедушками ковыляют; он с палочкой, она с авоськой, жалкие такие, хочется погладить по головке. Но Иван, не спросясь, ухватил ее под локоть, поплотней прижал и покатился; пришлось подчиниться, принять его ритм и попасть в его такт. Свитер у Ивана был мохнатый, под горло; модный фиолет перетекал в мутно-белый, белый растворялся в синеве. Шапочка была тоже синяя, но не лыжная и не конькобежная, а полудомашняя, со смешными ушками; веревочки свисали низко, как еврейские пейсы.

– Что мне не нравится, Жанна, что мне решительно не нравится. Вам удобно так, на пару ехать? очень хорошо. Мой фотограф клянется-божится, что ничего не напутал и напутать не мог: он вообще снимал в Москве и Нижнем на разные камеры и в разные файлы сбрасывал снимки. Но то ли он действительно случайно не заметил, куда и какой положил отпечаток, а теперь виляет, чтобы не попасть на штраф, то ли нагло врет, а сам работает на два фронта.

По словам Ивана получалось, что нормальная логика сбита, как прицел на винтовке; надо бы отцентровать, но негде закрепить оружие, все приходится делать на весу. – Версия номер один. Мир перевернулся, и в ход событий вмешались темные силы. Охотно допускаем, но не принимаем в рассмотрение. – Версия номер два, она гораздо вероятней – и это, Жанна, мягко говоря; наш фотограф Серега лукавит, а сам давно уже переметнулся, решил обслужить врагов Степан Абгарыча; есть же у него враги?

– Не знаю.

– Не может не быть. Не может. Внимание, разворот; отлично.

Однако ж есть и третий вариант, и он, похоже, самый разумный, потому что прост до примитивности. А как нас учили, изо всех возможных объяснений выбирайте самое простое. Перекрученная фабула – враг динамичного действия, она его излишне тормозит.

– А где вас учили, Иван? И где вы таких литературных слов набрались, неужели в юридической академии?

Ваня на прямой вопрос не ответил и как-то поежился. Стал обводным маневром уходить от темы; дескать, какие бывают смешные люди, вот тот особенно, с картофельным носом, ну просто набалдашник!..

Они пошли на третий круг; из динамика душевно запел Джо Дассен.

– Кстати, Ваня – а можно мне вот так, по праву старшинства вас называть? – вы хорошо ведете, уверенно, по-мужски.

– Опять вы про возраст. Между прочим, я почти не младше, я практически ровесник; я-то знаю, я вашу анкету читал. Тем более годится: я просто Ваня, а вы просто Жанна, идет? Так вот, про третью версию.

Супруг ваш, Степан Абгарович, мужчина приметливый, осторожный. Заметит, что за ним следят, – берегись. Мог он отловить Серегу на месте законного, так сказать, преступления, напугать, переманить, перехватить?

– Мог. Степа – мог. Не сомневаюсь.

– Тогда он запросто мог перевернуть игру. Запустил ее от последнего хода к началу. И теперь издевается над нами, подкладывает карточки, загоняет в тупик. Может быть, попробуем использовать спецсредства, простите за такой жаргон, не литературный, и даже не очень-то юридический. Вы не мерзнете, Жанна?

Жанна не мерзла. Но мелкая дрожь пробежала по телу, от подмышек по бедрам к коленям. Что-то тут снова не так, что-то тут есть нехорошее, и кончиться может – дурно.

Иван легко притормозил, ласково развернул Жанну, посмотрел в глаза. Снег мельтешит, приходится часто смаргивать. Верить ему или нет?

– Есть такое устройство, милая Жанна, что-то вроде маячка. Крохотная пластинка, миллиметра три на три. Ее можно вклеить внутрь телефона, на стенку съемной крышки, никто никогда не заметит.

– И дальше что?!

– Не спешите сердиться, я прошу вас. Есть у вас лишний навигатор? и не надо, мы уже купили – вы его включите, и на нем вдруг появится карта. На карте возникнет жирная точка. Степан Абгарович за город, и точка туда же. Он в ресторан, и она тут как тут. Я принесу вам новые фотографии, вы посмотрите и сразу же определите: то или не то? Там или не там? Совпадает или расходится? Нижний или Москва? Жанна, прибор будет только у вас, не волнуйтесь. И вы можете отклеить маячок. Если захотите. В любой момент. Вы. Только вы. У меня такой возможности не будет.

Жанна не ответила ничего. Она с силой, зло оттолкнулась, поехала, и Ваня вынужден был поспешить за ней. Теперь она вела; она была сильнее и жестче, а он пристраивался сбоку, подчинялся ей и ждал ее решения.

– Не волнуйтесь? Не волнуйтесь, значит. Не волнуйтесь. Вы меня, Иван, за дурочку держите? Вы получите сигнал на другую штуковину с точно такой же картой, и станете следить за Степой. Для меня? А может быть, не для меня? Когда он уезжает? А может быть, и когда он дома? Вы валите на фотографа. А кто сказал, что я должна вам верить? Кто сказал, что это – не вы, не ваша контора, не ваш Соломон сочинили такое кино? Я слежу за девкой, вы следите за Степой, кто-то следит за вами. Он предает меня, я предаю его, вы предаете меня! Сумасшедший дом. Где вообще точка отсчета? Где твердая почва? Я запуталась, мне скользко, я вам не верю, я люблю своего мужа, я не буду в этом участвовать, я отзываю заказ,

забирайте свои авансы и пропадите вы все пропадом!

Жанна зацепилась коньком, завалилась на бок, стукнулась о лед. Иван рванул ее вверх, поставил на ноги, прежде чем она успела почувствовать мгновенный холодный удар. Но удар все-таки был, скула болит, а варежка у Ивана жесткая, из собачьей, что ли, шерсти? Оказывается, Иван умеет и с ней разговаривать резко.

– Ну разумеется, сумасшедший дом. Построен по вашему личному проекту. Из-за любимого, как вы говорите, мужа. Не хотите, не делайте ничего. Не можете мне верить – и не верьте. Считаете предателем – и считайте. Доказать я, конечно, ничего не могу. Но если случится беда, спрашивайте тогда с себя, Жанна Ивановна. Кашку вы заварили? вам ее и кушать. А твердая почва где? да хотя бы вот здесь, на льду. Правда, подо льдом вода. Но глубоко, промерзло все как следует, растает не скоро.

Молчание. Играет старая добрая музыка, похрипывает Тото Кутуньо. Лезвия коньков подрезают лед; слышны хруст и звон. Натужно смеются девчонки: мальчик один на всех. Желтый свет фонарей, зыбкий туман, смутные очертания домов; вечернее небо изнутри подсвечено Москвой. Некуда деваться. Ничего уже не отменишь. Если теперь отказаться, можно себя извести. Подозрения угнездились в сердце, сами собой не исчезнут; их нужно либо полностью развеять, либо уже до конца подтвердить.

– Хорошо же, Иван, я согласна. Давайте ваш треклятый маячок. Как его клеивать? Куда? Под крышку? А по-другому никак? Я же ногти ломаю.

7

Стеклянные двери с трудом поддались; в лицо ударил перегретый воздух; пахло затхлым уютom. Сколько он не ездил на подземке? Десять лет? Двенадцать? Все пятнадцать? В Париже и Риме в метро спускался, ездил по Нью-Йорку с неграми, вдыхая кукурузную отрыжку и запах пива в промокшем пакете, а в Москве давно отвык, позабыл уже, что и к чему.

Картонные проездные. Раньше таких не было, раньше были пяточки, потом жетоны. А теперь приложишь к турникету, проходи на зеленый свет; почти как магнитные карточки в охраняемом офисе. Суббота, вечер, а народу много. Большинство в спортивных костюмах, у кого за плечами лыжи, у кого сноуборды в футляре; несколько поддатых рыбаков с подледной снастью: на ногах безразмерные валенки, на плече кургузый

фанерный ящик, непременно защитного цвета, сбоку привинчен бур, вид допотопный, бурлачный, репинский. Видимо, только что подошла удобная электричка, все ринулись в метро.

Толпа энергично сдавила, пропитала запахом свежего перегара, грубого пота, приличного одеколona, увлекла за собой, весело толкнула на эскалатор. Степан уплывал куда-то вниз, в опасную глубину, озирался по сторонам. Светящиеся столбики сменяли друг друга; на подпоры кто-то наклеил рекламки:

Революция будет!

734!

Все – жесть!

Ждем в клубе Б-3!

За спиной притулилось семейство, перегруженное санками и лыжами; подобревший, обмякший папаша объяснялся с женой и дочкой:

– Девочки, какие ж вы хорошие, я должен вам сказать, девочки, что я вас очень люблю. Правда-правда. Но чтобы жизнь у вас была не мухоморская, мне надо много работать. Реально, много работать. И я работаю.

– Спасибо, папа. – Кажется, девчонка над ним смеется. Но не очень зло.

– И если у меня не всегда получается вам сделать все как хочется, то не потому, что я не хочу, а потому что не могу. Реально, не могу. Вы, девочки, не должны на меня обижаться.

– А мы не обижаемся. Только мама не девочка, а женщина...

– Э, милая, ты еще не поняла, как же многого ты еще не поняла, девочка моя, но ты обязательно поймешь. Можно я тебя поцелую?

– Ну ладно, поцелуй. Фу, какой ты мокрый. Хихи. Совсем как твой Джульбарс.

Набрался, назюзюкался; хорошо хоть не икает. Что толку от такого мужика? Скучная работа, вечерний выгул беспородного пса, тупое субботнее катание за город, водка из пластмассовых стаканчиков на обратном пути в электричке, детям выделены чипсы, разговоры про то, как правильно все было в пионерах. Бабы должныдохнуть с тоски, как мухи от холода. А они, заразы такие, недохнут. Скорей наоборот. Степан Абгарович чувствовал спиной: *девчонки* довольны, расслабились; им немного смешно, папашка набряк, стал разговорчивый и чуточку слюнявый; но ведь хороший наш папашка, любит и денег дает, день был отличный, и жить вообще-то неплохо. Завтра вот поспим подольше, в Макдональд пойдём.

Люди в вагоне сидели плотно, подвисали на перекладинах, шатались

по ходу движения. Таких людей он никогда не видел. Которые так выглядят, так пахнут. Котлетами с зеленым луком, поддельной «паломой пикассо», свежим лаком для ногтей, солярием, хорошим кремом, плохими ботинками, подледной рыбой, лыжной мазью; всем сразу, несовместимо.

Когда (двенадцать все-таки или уже пятнадцать?) он ездил в метро, забивался в троллейбусы, даже как-то раз электричкой добирался к Томскому на первую краснокирпичную дачу, пассажирские массы были другие. Во-первых, действительно, широкие, толстозадые. Сейчас – чем моложе, тем тоньше. Во-вторых, однородные, потертые, советские, и пахли чем угодно – сельдью, уксусом, «Агдамом», желудочным духом плохой колбасы, польской косметикой, дрянью какой-то, только не «Монбланом», пускай фальшивым; цельные были люди, без этой странной смеси французского с нижегородским, бомжовой дикости с парикмахерским лоском. А теперь их словно подменили. То ли вывели новую породу, то ли подправили старую.

Напротив – комичная тетка, рыжие космы накручены, залакированы; нырнула в белую искусственную шубу, нахохлилась: лохматая кукуруза торчит из сугроба. Девушки в коротеньких курточках; на улице холодно, а бока выползают. Бока загорелые, из солярия, но с неправильными пупырышками, простонародные. На груди у них, наверное, милые прыщички. А у девушек, которые ездят в затемненных машинах и состоят при грамотных мужиках, прыщиков не бывает. Даже, наверное, у Даши. Исключено. На целлулоиде прыщички не растут.

Кого он видел в эти годы, с кем соприкасался? В офисе – ровные фемины, размер к размеру, юбка не выше колена, бедра не шире стандарта, прическа хороша, аккуратна, и блеск волос как на рекламе; неотличимы друг от друга. Юноши со скучными глазами, плотный воротник, угол среза – сорок пять градусов, не больше и не меньше; широкий галстук, грамотно подобранный дезодорант. Ничего личного, только бизнес.

Друзья. А где они, эти друзья? Разве что Томский. И то лишь потому, что делить им нечего, прошлое не тяготит, расстались хорошо. А так? Сплошные контрагенты, резвое сияние улыбок, бодрый разговор, полседьмого устроит? Нормально. Хорошо посидели, до встречи. Которой не будет, потому что – зачем?

В ресторанах – жесткая селекция по возрасту, посетители не старше шестидесяти и не моложе двадцати; если появляется старик, то обычно подчеркнута мерзкий, отмороженный, похотливый, представляет знакомым очередную племянницу-полулетку, а с губы слюна бежит. Старух не бывает вовсе; а у подростков свои тусовки. На улице мелькают примерно такие же,

как здесь, но разве их разглядишь? Все на скорости, как в тумане; вышел из машины, нырнул в сияющий интерьер, по пути скользнул взглядом: это кто такой? а, современник, не задерживайся, братец, проходи.

– Граждане пассажиры, братья и сестры, простите, что я к вам обращаюсь! – заныла молодуха, вся смуглявенькая, плотно сбитая, губастая.

– Муж умер, дом сгорел, у ребенка операция! – гундосила она речитативом, как в церкви читают молитву, нараспев.

– Подайте кто сколько может, да пошлет вам Бог здоровья!

Протискиваясь сквозь вечернюю толпу, молодуха зло и прямо смотрела в глаза; не подавшим желала здоровья и счастья, будто насылала проклятье, колдовски крестилась – быстро, дробно.

– Степан Абгарович, вас-то как сюда занесло? Вы не выходите, кстати? – рявкнул ему кто-то в самое ухо.

А это кто такой? Быть не может. Арсакьев.

8

Жанна положила футляр с маячком на подушку, включила навигатор.

По экранчику растекся ядовитый свет, серо-голубой, как мокрый асфальт перед ночной витриной. Проявились, загустели цвета и оттенки: желтенькие трассы, темнозеленые дома. Развернулась подвижная карта, обозначился их район. Проступает их прямоугольник номер восемь... рисунок замер, чуть дрожит, точка прицела мигает. И в точке прицела – она. Жанна. Ее маячок на подушке. И будто нет вокруг ни стен, ни потолка, только страшное небо. Кто-то непонятный, безразмерный ее же глазами глядит на нее из космоса. Равнодушно, холодно, насквозь. Такое чувство, что сейчас нажмут гашетку. Как же неуютно жить. Господи, помилуй меня, грешную, как неуютно. И нету никого, кто защитит. Царапнуться бы щекой о неприятно-жесткий подбородок, спрятаться на груди, нырнуть под тяжелую руку. Где Степа сейчас? С кем он? О чем говорит? Был бы маячок у него в телефоне, она бы знала. И не мучалась догадками. А может, мучалась бы еще сильнее. Но пока что маячок у нее.

Всем хороша огромная квартира. Праздный простор, блаженное бродячее безделье, из уголка в уголок, с диванчика на диванчик. Окна откроешь: обступает внутренний покой двора, деревенская тишина столичного центра; где-то там, вдали, сыто урчат машины, гоношит

сигнализация; птичий щебет детей на площадке вызывает острый приступ зависти и вспышку восторга; ранним утром и вечером туго звонят колокола, и тонкий сквозняк змейкой ползет по твоим следам. Но как только нагрет тоска – пиши пропало. Мечешься по бесконечному пространству, ползешь сквозь анфиладу, возвращаешься по коридору, заглядываешь туда, сюда – нигде не сидится, и снова попадаешь в исходную точку. Как в игровом компьютерном кошмаре; за тобой гонится черный ужас, направо, налево, направо, налево: стоп, а здесь-то мы уже были? и дальше куда? Никуда. У вас осталось четыре жизни.

Три главных человека было в ее жизни. Мамичка, Тёма и Стёпа. Папичку она обожала, это он ее вылепил, обучил всему; она и до сих пор живет с оглядкой на него; и все-таки он навсегда остался там, в детстве, в юности: смотрит на нее издали, прикрывшись от света ладонью, и она оглядывается на него; он все меньше, меньше, уже на линии горизонта, скоро исчезнет. Папичку вытеснил Стёпа; он стал для нее самым умным, самым сильным. Когда родился Тёмочкин, Стёпы как бы стало – вдвое больше. Ей первым делом показали маленькую пипу: дескать, мальчик, мальчик! *votre fils!* а она смотрела снизу вверх на недовольную рожицу. Это был Мелькисаров, крохотный, смешной до невозможности... Но все-таки, совсем немного – это был и папичка, с его скептической улыбкой, дескать, знаем сами, как надо жить... А мама была – навсегда одна, ничто ее не удваивало, не продолжало, только Жанна. Они обе одинаково говорили от имени маленького Тёмы: я поел, мне чего-то спать не хочется, как я хорошо обкакался. Маме в Томске становилось плохо – Жанна просыпалась от ледяного укола: вставай! Когда же ей самой хотелось встречной ласки – телефон, как по заказу, в эту самую секунду содрогался длинными гудками. Межгород! Мамичка.

Мамину смерть она проморгала; как это могло случиться – непонятно, просто не вмещается в сознание. Это был 2003-й, октябрь. Только-только начались каникулы; она хотела повезти сыночка в Болонью, где древние красные башни, оттуда податься в Равенну, там золотисто-зеленые мозаики, и, может быть, в Римини, пройти вдоль берега, вдохнуть последнее осеннее тепло. Но Степа уперся: Байкал. Холодно, не холодно – неважно; перетерпим. Зато какая мощь и красота!

Красота началась по дороге в Листвянку. Дождь косо расшибался о стекло, отбивал чечетку на крыше джипа; трасса, как трамплин, взлетала вверх – и плавно оседала на спуске; сквозь водяное марево внизу мерцало чем-то красно-желтым; казалось: ты смотришь откуда-то сверху – на себя, свою машину, узкую бетонку и бесконечный березняк, переходящий в

ельник; вдруг по правую руку развернулось черное озеро, распаханное ливнем; вот это и был настоящий простор, а прежний пейзаж в одночасье скукожился, померк: словно бы бинокль перевернули. Тёмочка смотрел во все глаза, не отрываясь; Стёпа с интересом глядел на Тёму; а Жанна видела обоих и тихо радовалась: это было счастье.

На следующий день погода стихла. Тучи разорвало, пробилось холодное солнце. Они гуляли с Тёмой по осклизлой набережной, внюхивались в клейкий запах копченого омуля, осторожно брали губами с пластмассовой ложки оранжевую мелкую икру: пересолили! И с удовольствием поджидали Стёпу, который пробовал договориться о большой воде. Никто не соглашался покидать пределы бухты, риск; но жадность все же пересилила; они взошли на палубу баркаса, сели под навес – и тут же их заколотило, затрясло: мотор заработал громко, бурно, как движок на старом тракторе, мутно запахло соляжкой, и навстречу им двинулся ясный простор.

Оглядываться на берег совершенно не хотелось, только вперед, вперед – туда, где обрывается кромка далеких холмов и остаются только небо и вода. Баркас на повороте накренился, на палубу плеснулась короткая волна; Тема ринулся, успел зачерпнуть ладонью: ему рассказывали, что это море – пресное, он захотел немедленно проверить. Стёпа встал и мужественно загляделся вдаль; ему очень шло моряцкое выражение лица. Но минут через десять-пятнадцать он крикнул поддатому капитану: чуешь? Тот рявкнул: чую! разворот.

Перекинувшись через холмы, над озером распространилась сизая полоска, расплывчатая, волокнистая, как будто выпустили дым из курительной трубки. Жанна оглянулась: над берегом образовалась завеса, потемней и погуще. И справа, над железной дорогой, нависла неприятная синева... Пока баркас описывал дугу для разворота, разроненные тучи на страшной скорости помчались навстречу друг другу, к центру озера; яркий световой круг над Байкалом сужался, и чем он становился уже, тем казался ослепительней; вдруг раздался мгновенный ветер, в уши ударила боль; поднялись крутые волны, края у них были острые, как сколы... Минута-другая, и все бы...

Возбужденно отобедав ухой и омулем с картошкой и выпив за счастливое спасение, нечаянную радость, они вернулись в гостиницу. На пестром покрывале валялся телефон; на экранчике белела надпись: непринятых звонков – 34... Через два часа, обгоняя надвигающийся вечер, они уже неслись по омской трассе. Тёма дремал у нее на плече; Стёпа вцепился в руль и молчал; ей тоже не хотелось говорить; она обледенела,

замерла. И все пыталась осознать: ну как это, мамочки нет? как это – нет? почему?

Больше ей никто и никогда не звонил в ту самую секунду, когда становилось тоскливо. Звонила – только она сама.

По Москве уже ровно одиннадцать; в далеком Веве еще девять; Тёмочкин будет сердиться, ну и пусть, нету никаких сил терпеть.

– Да, срочно нужен; да, мадам, прошу прощения, мы знаем распорядок; хорошо.

Английский выучи как следует, ты, дура, а потом возникай.

– Тёмочка, сыночек, это мама.

– Слышу, не глухой. Что ты звонишь?

– Очень соскучилась, хотела услышать твой голосок.

– И ради этого нарушила порядок? Ты же знаешь, что здесь звонят по расписанию. Или в крайнем случае. Что за крайний случай, мама?

– Ну, Тёмочка, может маме стать нехорошо? когда ей нужна твоя поддержка?

– К папе сходи, он поддержит. Точно ничего специального не случилось? Тогда спокойной ночи.

– Как ты с матерью разговариваешь?

Гудки.

9

– А вы, Олег Олегович, как тут очутились?

Олег Олегович Арсакьев, по прозвищу Оле-Оле, был твердый и ясный старик. Маленький, ехидный. Говорил громко, торопливо, мысли бежали вперед, обгоняли нечеткую дикцию. Запутавшись, чертыхался, тряс розовыми щечками, поправлялся: эт-самое, я что хотел сказать. И продолжал клочковатую речь, опаздывая отвечать на встречные вопросы.

– Кого-кого, но только не вас, Мелькисаров. Я? мы что, мы люди вольные, пенсионеры, можно сказать, с утра до вечера ничего не делаем, а вы? Орлы! бдите, где еще кусочек тяпнуть. Еду вот, ненавижу пробки, нервы сдают – старик, что с меня взять? Отпустил водителя и еду. Могу себе, так сказать, позволить. Эт-самое, я что хотел сказать? Вы сейчас выходите? Заглянем в ювелирный, внучке закажу колечко: девка сессию сдала, горжусь.

Мелькисаров знал миллионеров, продолжавших ездить на метро и

даже не имевших собственных машин: хорошие хирурги, модные архитекторы, адвокаты второй руки. Их небольшие миллионы когда-то копились вручную; стопки конвертов росли в допотопных обтерханных сейфах, туго набивали их, как детские монетки набивают брюхо глиняной свиньи. Потом клиенты приезжали к Мелькисарову: ближе к ночи, дрожа от страха. Оставляли деньги под расписку, на доверии. Мелькисаров по своим каналам выводил наличку за рубеж. Но не в кичливый Лондон или всемирный Нью-Йорк, а на тихонькую цюрихскую биржу; был у него там человек – вечером писал непонятные книжки про Герцена, а днем хорошо торговал. Раз в год миллионеры из метро приезжали за своим процентом. Брали опять же наличными. Конверты снова попадали в сейфы, денежки складировались и копились. Через год их привозили Мелькисарову, он принимал на счет, писал бумажку от руки, и все повторялось с самого сначала: круговращение денег в природе.

Но Арсакьев – другое дело. Происходил он из военных инженеров, был образцовым технарем и настоящим доктором наук. Протестных писем против власти не подписывал, но никогда и не подгавкивал: долой! осуждамс! одобрямс! Жил наособицу, отдельно. Летом байдарка, костры и гитара, туманы-запахи тайги, комариная чесотка, смачный чернозем под ногтями и детские ссадины на костяшках. Зимой неподъемные горные лыжи, шерстяные шапочки, Домбай, Карпаты, Цахкадзор, красноватый загар, неисполнимая мечта об Альпах. Весной и осенью романы, разводы, выволочки в парткоме, женитьбы на женах друзей. Хорошая жизнь без печали и денег.

Кооперативы он проспал; когда очнулся, было поздно. Ни хорошей жизни, ни денег. Влюбчивые девушки исчезли за толстыми стеклами чужих мерседесов; друзья поскучнели; их жены оплыли, обрюзгли, надели просторные платья в цветочек и стали отвратительно ворчливы. Отврратительно! Можно было сдатьсь и помчаться по течению вникуда, как несутся бесхозные бревна на быстром алтайском сплаве. А можно было собраться в пружину – и дать нахальной жизни последний решительный бой.

Оле-Оле засел за книжки и журналы, почертил тут кое-что, поднял старые средмашевские связи, уболтал американцев, ввел в правление двух нужных евреев. И научился продавать коммерческие спутники под ключ: от чертежа до космодрома. Он обожал на загородном пати, когда уже как следует стемнеет, а гости разгуляются, развеселятся, отвести кого-нибудь малознакомого в сторонку, показать на сгущенное, мрачное небо: видите точку – ну эту, на два дюйма от Полярной? движется которая? мигает? моя!

Нет, вы прикиньте, прикиньте! Сами! с нуля! поднялись, из самой, понимаешь, дряни! Значит, могём! Ну полный, в общем-то, обалдемон.

И с такой же решительностью, в одночасье, он объявил, что уходит. Насовсем, навсегда. Надоело. Вилять, подлаживаться, суетиться. До свидания, спутники! здравствуй, свобода. Арсакьев наделил детей прижизненным наследством и стал с веселым удовольствием раздавать оставшиеся денежки способной инженерной молодежи.

Как следует они сошлись давно. Пересекались в общем курчатовском круге, обсуждали перспективы электронной почты, а весной девяносто второго совместно попали в Америку. Их поселили в крохотном клубном отеле, для немощных миллионеров, уставших от тягучей жизни. Заселяли ночью, очумелых; Мелькисаров проснулся к полудню, вышел, посмотрел по сторонам.

Со второго этажа, где были номера, бордовая мохнатая дорожка спускалась в ресторан; лестницу посередине пересекала непонятная перила. Медная, блескучая, весомая. Чуть ниже обычной, чуть толще. Мелькисаров стал гадать, зачем она? Сзади, из бархатной глубины коридора появились Арсакьев и великий начальник Чубайс. Начитанный Олег Олегыч учено разъяснял устройство кредитной карты; Чубайс не верил: да как же так? на месяц? деньги? без процентов? это полный бред.

– Что вы, эт-самое, тормозите, господин товарищ Мелькисаров? Не задерживайте очередь. Я вам, Чубайс, точно говорю: кредитовать бесплатный месяц – выгодно! Да что ж это такое, чесслово. Мелькисаров? кушать пора, столовку закроют, это вам Америка, тут все по расписанию. А, я понял! вас перила смущает? Я уже разобрался, молодежь! Проходите вперед, покажу.

Лицо Арсакьева изобразило полное старческое безмыслие, он заковылял по лестнице, как должен ковылять столетний владелец табачной компании; вдруг нарочито пошатнулся, обеими руками схватился за среднюю перилу и доблестно устоял.

– Поняли теперь? То-то. Вам думать об этом еще рано, а нам, старичкам, полезно. Шейка бедра – не жук чихал, сломаешь, пиши пропало. Но вперед, вперед, к раздаче; что вы за мистеры-твистеры, если на раздачу не спешите? Пива, впрочем, не нальют, и не надейтесь, тут слишком солидно; придется нам выпить винца. Калифорнийское, жидочек, но терпимо. И бесплатно! Пропустите старика вперед.

Теперь они стояли на станции «Площадь Революции», где бронзовые герои напряженно засели на корточках в арках. Потоки людей выливались то слева, то справа; кто-то из пассажиров хватался за нос скульптурной

собаки, кто-то за приклад ружья, колено санитарки и чеку гранаты. Скульптуры – потемневшие до черноты; натертые носы, приклады и колена блестят самоварным золотом; какой-то тайный культ, служение подземным богам.

– Что, впечатляет, Степан Абгарыч? То-то. Значит, вы давно метро не навещали, все в порядке, а то я уже грешным делом подумал, случилось что?

Говорить приходилось на крике и время от времени – замолкать, дожидаясь, когда проедет поезд; Арсакьеву на это не хватало терпения.

– Не навещал, Олег Олегович, решил развлечься.

– А, барские забавы, значит. Как Пушкин в красной рубахе на ярманку. Понюхать, так сказать, народной жизни на десерт. А я, знаете ли, как стал вольным благодетелем, могу решать, кому должен, кому не должен, какие правила блюду, какие нет. (*Раздраженная пауза.*) Такое, доложу вам, удовольствие! В метро вот позволяю себе съездить. Быстрее, веселее, когда не час пик. Вообще: никто не должен, никому не должен, благодать! Вот про жизнь рассказываю внукам, у меня уже трое внуков, знаете? (*Пауза.*) Эт-самое, я что хотел сказать, проводите меня до ювелира? Пересядем в сторону Театральной, и поедем? Все равно же катаетесь почему зря. А то я по-стариковски болтлив стал, в метро один недостаток, поговорить не с кем. (*Пауза.*) Надо нанять сопровождающего, чтоб такая была дорожная сиделка для словесного недержания, как полагаете? Нет кандидата на примете? Или водителя переучу в сопровождаителя. Ну как, пойдете?

– А почему бы и нет? мне тоже делать, вообще говоря, нечего.

– Что? – не расслышал Арсакьев.

– Пойдете, говорю!

– И хорошо. У вашей жены какой размер среднего пальца? а у моей внучки шестнадцать. Хорошая девчонка, я доволен.

Они перешли на «Театральную», нырнули в вагон, изумились. Вдоль стены напротив входа были убраны сиденья и под крышей, вдоль, протянуто музейное освещение, ровное, чистое; вместо бесполезных окон тут сияли внушительные копии акварелей. Слегка покачиваясь в такт движению, пассажиры изучали очень яркие подсолнухи, темноватый зимний лес, освещенный медицинским светом сине-белой луны; на богатом натюрморте красовались обильные черные розы, чайничек и чашка из набора гжели, разнообразные фрукты лежали и справа, и слева, и даже за хрустальной вазой, чтоб их было полноценно много; подсохший мандарин полуочищен, спираль из кожуры сползала по скатерти малинового бархата... Под картинами были привинчены большие таблички из меди;

фамилия художника, название...

Арсакьев покачал головой:

– Вот это маркетинг!

10

Завершающийся паубертат. Все хочется и ничего не может. Или может, но нельзя. Вот и бегают от себя по кругу; подозревает подвох, боится смерти, ненавидит жизнь. В последний свой приезд он так растревожил Жанну! Вытянулся, побледнел, кожу взрыхлили синеватые прыщи. Ни с кем не хотел общаться, ни со своими, ни с чужими. На вопросы отвечал односложно, да, нет, не знаю, может быть, нормально. За общим столом сидел сутулясь, сверкал глазами из-под челки, противно скреб по тарелке вилкой, зная, что маму коробит от этого звука; при первом удобном случае уходил к себе и утыкался в компьютер. Мальчик бродит по Интернету? извращается в порносайтах? изнуряется онанизмом?

Как-то Жанна не выдержала, и, почти презирая себя, решила подглядеть. Мягко, по-кошачьи, подкралась к Тёминой двери, встала на колено у замочной скважины, прищурилась. И пришла в окончательный ужас. Бедный ее сыночка сидел за столом и упорно счесывал белую перхоть на полированную черную поверхность. Ковырял под волосами, стряхивал ошметки кожи, снова ковырял.

Наковырявшись, смел перхоть на пол, засветил экран и стал остервенело строить новую цивилизацию. На подвижной зыбкой карте возникали города и страны, перемещались континенты, из темных шахт взлетали искрящие ракеты, полчища врагов пересекали родные границы, и при поднятии российского флага звучал иноземный гимн. Потом Тёма усыпил свою цивилизацию, нырнул в Инет и что-то быстро-быстро, мелко-мелко стал писать убегающим шрифтом.

Хорошо было прежним мамашкам; заказала двойные ключи от стола, незаметненько вынула тайный дневник, почитала, приняла превентивные меры; теперь не то. Не зная ника, бродить по Интернету все равно что просеивать песок на берегу – в надежде отыскать золотую сережку с остреньким камушком в сердцевине. Жанна все ходила кругами, поджидала: вот Тёмочкин отлучится, просмотрим список посещений; если дело плохо, папа должен будет с ним поговорить. Но Тёмочкин паролит вход.

Степа спокойно выслушал ее лепет, снисходительно потрепал по щеке: Рябокони, тут же локальная сеть, в чем проблема? Как только Тёмочкин снова заперся в комнате, они пошли к Степану в кабинет. Муж несколько минут поколдовал, ненадолго затих, что-то такое сам почитал и предъявил ей:

– Любуйся.

Никакого порно на экране не было. Окно компьютера усеяно обрывистыми текстами, узкими, как ленты телеграммы. Над каждым – вычурная мордочка и непонятное синее имя. Kozmatyј был похож на дикого гота, Patriot – на тевтона в рогатой каске, рыжая brunhilda поражала размером груди и надежностью широко расставленных ног, Kantonist подозрительно напоминал их Тёму, только волчьи уши подрисованы и глаза прикрыты черными очками.

Kozmatyј пугал, что Жыды и Чюрки скоро на голову сядут, назовут всех Фошыстами. Полный писэээц. Brunhilda крутила хвостом, намекала: у Жыдов и Чюрок такой обрез спицально зделан, штоб вы ни магли так долга, как они. Сабщити свои пылефоны, плиз. Patriot разоблачал Brunhildu, называл ее пилятью.

Письмо Kantonista написано было по-русски, но латинским шрифтом; читать невероятно трудно; прокручивая мышку, Жанна медленно распутывала мысли, и все боялась сбиться, не понять.

Kantonist писал про то, что напрасно тратятся силы; обличать Жыдов и Чюрок – пустое дело: *они – грибок; а что с грибка возьмешь? У него такая работа – размножаться. Пока не вытравят.* А дальше ее мальчик в черных очках и с нарисованными волчьими ушами уходил в такие дебри!.. Он с папиной крейсерской скоростью перескакивал через столетия, умножал годы на километры; по Тёмочкину выходило, что Русская земля возникла в тот год, когда Москва присоединила Ярославль. Высшая точка развития – Тёмочкин год рождения, 1991-й; Русский Солдат стоял тогда на Кушке, на Одере, в Кенигсберге, на острове Русском. Русский солдат на острове Русском! 539 лет почти непрерывного роста, сто девяносто шесть тысяч семьсот тридцать пять дней, плюс високосные, 25 на столетие, примерно 1 135. Минус переносы дат; около двухсот тысяч. Короче, все плюсуем, делим, умножаем; *ежедневный рост на 400 квадратных метров. Ежедневный!* А потом взяла и ссохлась Русская плоть.

Что же, спрашивается, делать? Ушастенький кантонист захлебывался от вдохновения, слова стрекотали, уносились вдаль; нужно разрастаться в Сети, откладывать в ней личинки, *мы обязаны унести с собой русский язык в эту новую землю без почвы.* И создать Россию без России. Поверх всего

мира. На меньшее он не соглашался.

К посланию Кантониста Тёмочкина были подвешены свежие комментарии.

Kozmatuj: многа букафф скока тибе старечог?

Brunhilda: ыыыы! кто такая спора? Знаю тока сперохету. ОО?

Patriot: ето не засланой ЖЫд? Больно Их хвалед. Имхо!

...Час от часу не легче; уж лучше б порнографией увлекся. По крайней мере, проще и понятней, без психоза и надрыва, излечимо. Степа попытался успокоить:

– Рябоконь, ты не дергайся так. Ну да, ну бредовые мысли; подумаешь тоже, он же подросток, жизнь большая, поправит. Перегорит. Ты лучше посмотри, что ему в ответ написали.

– Спасибо, видела.

– Ты дальше посмотри.

Скрипнуло мышинное колесико, на экран заползло письмо, опять латиницей по-русски. На картинке – синие девические глазки, и больше ничего. Имя – Johanna. *Послушай, Кантонист, не слушай никого, только слушай – Меня!!! что они могут понять?* Девочка пишет из Лондона; родители слупили денег и отправили куда побезопаснее. Все вокруг нее чужие; и русские хуже всех: *для них Россия – рашка, и кроме бабок от нее ничего не ждуют.* Как помещики от деревень – во времена Толстого. Но может быть, мы с тобой – не чужие? Подумай. И *подпись: Я.*

– Что ж, умилительно. Международная любовь.

– Или виртуальная маска. А под ней недобрый хакер.

После ужина Жанна решила все-таки поговорить с Тёмой. Долго и уклончиво бормотала про дружбу народов, про то, как в новом поколении распространяются националистические умонастроения, и это очень опасно...

– Что, засекли? залезли в блог? Молодцы, следаки! Ты не бойся, мамочка, этих уродов я расфрендил и навсегда забанил. Других найду, чтобы хоть полторы извилины было. А в общем, отследили и отследили, теперь по крайней мере знаете, что я по жизни думаю.

Тёма выпятил нижнюю губу, засопел. Жанна начала говорить; как ей казалось – убедительно. Про то, что Тёмочкин – сам инородец, папин папа армянин, а мамина мама на четверть еврейка; живет он в кантоне Веве, и доучиваться будет в Лозанне, и работать останется там же, и женится на какой-нибудь француженке, а может быть, и на берберке, и Жанна станет бабушкой маленьких полунегритят. Куда тебя понесло, Тёма?

– Я русский, мама. Русский, сибирский, фамилия – Рябоконь. Я давно

и навсегда определился. А где я буду жить, неважно. Я же не просил меня отправлять за границу.

– Так папа решил.

– Решил и решил. Закрыли тему. И больше не будем об этом.

Окончательно набычился, голову опустил, правую ногу выставил вперед. Со страшной, давящей силой рода в нем проступил отец; один в один, не отличишь, только на тридцать четыре года моложе.

11

Они зашли в салон какого-то *бронницкаго ювелира*. Олег Олегович сощурился, склонился над витриной, как старый часовщик над механизмом, стал нудно и неспешно выбирать: а это покажите, а вот это, а вот то. Продавщица не умела скрыть раздражения; скоро смену сдавать, а тут дедок с лохматым кренделем. Ничего не купят или возьмут стандартную брильяшку на двоих, а ты опять наводи порядок, и премии никакой. Шестнадцатый размер им подавай; небось, педофилы.

– Простите, господа. Через пять минут мы закрываем. Брать будем что, или как?

– Пожалуй, вот это.

– Тысячу сто по курсу.

И подумала про себя: мелочатся.

На возвратном пути, скользя по размокшему, распавшемуся снегу и пористому черному льду в белых окатышах реагента, Арсакьев говорил без умолку. О том, что давно бы уехал, надоел ему этот маразм, да поздно уже, целая жизнь прожита. Не хочется пафоса, но что-то ж надо делать: страну, извините за выражение, спасти. И как вовремя расстался с бизнесом: слава Богу, которого нет... А Мелькисаров молчал и дивился: и не тошно ему, и не скучно. За семьдесят, а живчик. Все вперед, вперед, не порывая с прошлым... Интересно, а разорвать паутину никогда ему не хотелось? Обрушить прежнее и посмотреть, что из этого выйдет? Послать, например, жене эсэмэс, ну вроде бы по ошибке: «Моя о чем-то догадалась. Сегодня, прости, не смогу. Давай завтра, ладно? Целую во все места». И еще рисуночек присоединить: голые пятки на голых пятках. А вдогонку позвонить: дорогая, я только что эсэмэску по ошибке отправил, ты ее, пожалуйста, сотри. Чтобы точно прочитала. Или написать воспоминания, все как было, без утайки, выпустить в единственном экземпляре, но как бы

настоящей книжкой, в переплете, с красивой картинкой, издательским лейблом, выходными данными, налоговой льготой и тиражом; запечатать в целлофан, отправить космическим генералам, с трогательной надписью: на долгую память об удачной совместной работе? Чтобы их удар хватил. А потом позвонить, объяснить, посмеяться. Но спрашивать Арсакьева об этом бесполезно; в лучшем случае не поймет, в худшем резко осадит: я не мальчик, чтоб шутки шутить, а Вы, Степан Абгарович, эт-самое, с жиру беситесь.

Возле метро они распрощались. Арсакьев опять нырнул в подземку, а Степан Абгарович раздумал. Хорошенького понемножку. Побывал в подвале современной жизни, в энергичном подземелье, осмотрел народные низы; будет с него. Вскинул руку на Садовом, тут же визгнула, тормозя, шестерка:

– Чистопрудный.

– А дорогу, слушай, покажешь?

– Что ж ты Чистопрудного не знаешь, дорогой?

И как они в этих «Жигулях» ездят? Коленки нужно подгибать к подбородку, под ногами раскисшая грязь, пахнет мокрой газетой и левым бензином, слегка тошнит.

Глава пятая

1

Жизнь, фотографии и маячок расходились все непоправимей.

Степан говорил ей: поеду в Суздаль. Без надобы; хочу развеяться на воле. Не пряча глаз, с веселой наглостью предупреждал: с коллегой. При этом маячок, мигая, полз в тот самый Ярославль, откуда началась, по Тёмочкину, Русь. А фотографии-то были – из Твери!

Заснеженная пристань; расковырянные желто-пегие особняки; чистенькая площадь; совершенно безлюдный музей: кто же в будни туда пойдет, кроме них? аляповатая рюмочная «Лондон»; при Степochке треклятая *коллега*, шерочка с машерочкой, ниточка с иголочкой, экскурсанты, чтоб им было пусто! Последний снимок чуть размазан, сделан с улицы, через стекло, сквозь густой снегопад. На переднем плане сверкают мохнатые хлопья, все в огненной белизне фотовспышки; в глубине расплывчатого кадра снег желтеет – густо, старомодно: на него ложится отсвет окон; а за окном, под уютной свисающей лампой, сидят эти двое... Она бы сказала: красиво, когда бы не было тошно. Между прочим, телевизор сообщал, что в этот день повсюду таяло и было не по-календарному тепло. Погодная аномалия. Пойми хоть что-нибудь.

Ваня выслушал, погрузился, вяловато предположил: быть может, Степан Абгарыч затеял какое-то новое дело, быстрые деньги, вход-выход, риск велик, отлучаться нельзя, а очень хочется; вот и нашел себе стряпчего, отдает ему свой телефон, чтобы тот оставался на связи – от имени и по поручению. А сам уезжает в Тверь. Ну, так бывает, что в Москве течет, а в Твери снегопад. Конечно, редко, но бывает.

Жанна слушала – и возмущалась. Ладно; хорошо; на снег глаза закрыли. Но что же стряпчий забыл в Ярославле? С телефоном Мелькисарова? шаткая версия, ломкая; Ваня и сам это понял.

– Впервые в жизни теряюсь в догадках. Пора профессию менять. То ли дело слишком сложное и все запуталось до невероятия. То ли все, напротив, слишком просто, до обидного: мы у Степан Абгаровича в полных дураках.

И скорчил рожицу: улыбка чуть кривая, съезжает на правую сторону, резкая складка бежит от носа к губам, нахальный блеск в глазах;

младенческие черты на секунду стерлись, седина соединилась с обликом, проступила могучая зрелость: ну Степа и Степа!

В последнее время Степочка и впрямь повеселел, куда-то улетучилась его привычная мрачность, все время пощучивает, разок попробовал ее пощекотать, даже двигаться стал по-другому. Не с носка на пятку, а с пятки на носок, будто бы слегка пружиня и вскидывая свое большое тело, как вскидывают мотоцикл на разгоне. Таким он был на лекциях в Томске, таким он был, затевая большие московские дела, таким он был, подбрасывая Тёмочку в майский воздух; таким он не был уже лет десять. Обычно заходил с утра (если заходил), грузно садился на стул: стул обреченно скрипел; МарьДмитрьна, как пожилая мышка, боком семенила в комнату прислуги: не любит Степа посторонних. А теперь он не заходит – забегает, садится на краешек стула, раскачивается, увлеченно говорит про банковские размещения и неминуемый кризис, даже удостаивает обсудить политику. Целует в щечку, мгновенно сграбастав, и уносится *по делам*. Знаем мы эти дела.

Пока она думала свою мутную мысль, Ваня тоже успел повеселеть и вернуть себе легкость. Безо всякой причины и повода, даже без малейших стадий перехода из одного состояния в другое. Так бывает на театре: эпизод отыгран, герои замерли в нелепых позах, механизированная сцена провернулась вокруг оси, изображая движение времени; на секунду площадка опустела, но вот уже персонажи снова выезжают к зрителю – были в тоске, а теперь смеются.

Он, кажется, придумал; он вроде бы понял, что делать; у него созрело предложение. Надо нанять еще одного человечка! Пускай последит за процессом. Так сказать, поснимает съемку. Все сразу станет на свои места, выяснится, в чем загвоздка. Это, конечно же, допрасходы, разрастание сметы; но ведь можно же договориться, выторговать скидочку? Например. Такое предложение. Если выяснится, что недосмотрел Ухтомский, пропустил чужой удар, не угадал развитие событий, то перерасход оплатит он. Если же на опережение сыграл Степан Абгарыч, то раскошелится Жанна Ивановна.

– Ваш, так сказать муж, вам и платить.

Щебечет, мелкий негодяй, подначивает, настроение пытается поднять. Ладно, поддадимся.

– За то, что обозвали Ивановной, требую скидку. Десять процентов.

– Не-а. Не будет скидки. Предлагаю компромисс: однократный штраф.

В виде ужина. Вечером в пятницу. Принимаете?

– Охотно. И знаете? я прихвачу ваш навигатор. Мне одной наблюдать

тоскливо, мысли всякие лезут в голову, я теряюсь. То ли я сошла с ума, то ли мне все это снится, а завтра проснусь и все станет на свои места, то ли вообще уже ничто и никуда не встанет, а будет болтаться в бессмысленной невесомости. Мне страшно, Ваня, можно я поплачусь, расклеюсь, ну совсем чуть-чуть, слегка, на полсекунды? Вот и все, я собралась, я сжалась, больше не буду. Давайте встретимся, давайте. Последим за ним и потоскуем: вместе тосковать приятней. Вечер пятницы удобен? И хорошо.

2

Утром в пятницу курьер доставил Жанне две молочно-бежевые папки. На первой синим карандашом крупно написано: № 1. На второй, помельче, красным: № 2.

Из папки первого фотографа.

01. 03. 11 часов 00 минут. Степочка и *та* на биеннале, в зале видеоарта. По экранам ползут бычьи цепни; два червяка сплелись в порыве страсти; красноватая горка червей похожа на говяжий тартар; девка прикрывает рот, жметя к плечу. А зрелище, между тем, тошнотворное.

Из фотоотчета второго.

01. 03. 13 часов 53 минуты. Степан в кафе, откинулся назад, руки за голову, рукава белой рубахи завернуты, что-то бодро объясняет – кому? правильно, Ане. Анечка, голубчик, ты-то как сюда попала? Развод, говоришь? Соломон? Расшатала плотную кладку, шмыгнула в щелку, проскочила между жерновами, охаживаешь мужа, из чужой застарелой измены пытаешься утянуть в свежую, свою; лепишь из размякшего текста сладкий рогалик? Не обмануло сердце. Ох, не обмануло.

Ни на каком биеннале он не был; ей ли не знать – у нее маячок. С одиннадцати неподвижно сидел где-то на Myasnitskaya; потом переместился на Solyanka – вот оно, кафе? В два часа ноль три минуты мигающая точка скользнула по Sadovaya, свернула вместе с линией дороги на Kurskaya, запрыгала резиновым мячиком в пробке на Тульской, вырвалась на волю и устремилась по Каширскому шоссе. За кольцевой автодорогой внезапно скакнула вправо, затряслась каким-то проселком, мелко задергалась в узких улицах промзоны, и встала на дыбы.

Ну вот что, дорогой. С нее довольно. Мужа потерять – полбеды. А лишиться разума – трагедия. Сегодня вечером она решительно объяснится с Иваном, отменит все эти дурацкие съемки, сдерет из телефона Степы

маячок и завтра же пойдет на прием к Соломону. Или послезавтра. Как только назначит. Чтобы сразу после консультации явиться к Степе и поставить в этом деле точку. Она теперь знает, в чем ее цель. Единственная цель – сохранить себя. Любой ценой. Разрыв так разрыв, уход так уход. Даша так Даша, Аня так Аня. Хватит сидеть взаперти, ждать новых непонятных фотографий, ходить кругами возле навигатора, твердить как молитву или как проклятие: не включай, не включай, не включай, не включай! И все включать, включать, включать. Тупо наблюдая за верткой линией движения, от которой она давно зависит, как захваченный заложник зависит от захватчика, сплетается с ним нервными окончаниями, испытывает род влечения. Или как Тёмочка не может оторваться от бело-серой сыпи собственной перхоти, презирает себя, подавляет приступ тошноты, а все равно продолжает скрести раздраженную кожу. Не будет больше фотографий. Отключается маячок. Что бы ее ни ждало. Потому что – достаточно. Она сумеет постоять за свои и Тёмочкины интересы. Забельский велел разобраться со счетами; она откладывала до последнего, а теперь – решится.

3

Наверное, со стороны она была похожа на закомплексованную девушку, пришедшую на первое свидание в дешевое кафе: ноги под стулом закручены, как детская резинка, левая рука обхватывает правое плечо, так что мешает двигать мышкой; и все равно, и неважно, и пусть будет так. Она раскопала, разгребла весь этот электронный мусор, просеяла ненужное, излишнее – и отыскала все, что надо; вот они, золотые крупинки, намытые в шлаке: файлы записей в реестрах, телефоны и мыло клиентов – без имен и фамилий, длинные цепочки цифр, нашпигованные бесконечными нолями: должно быть, номера счетов... Жанна будто бы играла в злобную игру: стрелочкой цепляла файл, вела его, не отпуская, по экрану; файл подрагивал, ему было страшно! ничего, пусть повисит, подергается! раз! и он проваливался внутрь раскрытой флешки. Ам! Вкусный был червячок. Ам! Еще один. И еще. И еще.

Закончив неприятную работу, она раскрутилась, разжалась. Освободила пленную флешку; хотела уже выключить компьютер – и тут заметила большую перемену. Дневник с рабочего стола исчез; на месте прежней пиктограммы ежедневника появился новый ярлычок.

Нестандартный, особенно крупный: на картинке – бархатный фотоальбом, узнаваемо-советский, пятидесятых годов, с актрисой Целиковской в сердцевине и золотой витиеватой надписью: «На память!». Вряд ли он так обнаглел, чтобы открыто хранить портреты *той*, но кто знает, кто знает; может, Соломон и прав. Посмотрим.

Она вошла в электронную папку как заглянула за шторку. И удивилась, и насторожилась. Это был и впрямь фотоальбом; но никакой посторонней девахи, только домашние снимки. Слайды сами всплывали и гасли, сменяя друг друга.

Степина мама, Надежда Степанна. Худая, строгая; все эти Степины складки и скулы крупной нарезки – явно от нее. Удивленный наклон головы, скромный пучок, недовоткнутая шпилька; умерла до рождения Тёмочки, внука понянчить не успела; перед смертью перестала говорить, только тихо мычала, и крупные слезы лились по щекам.

Дураковатый Степин брательник Федя, года на четыре постарше; живет в Минске, берет у них ежегодно пятнадцать тысяч, все вкладывает в польский ширпотреб, получает в результате восемь и страшно радуется, что сделал хороший бизнес: и сам!

Степин папа, сибирский армянин Абгар Суреныч. Массивный нос, недовыбритый подбородок, огромные глаза, просто прожигает взглядом. Где он? куда пропал? никто не знает. Как-то по-плохому они разошлись с Надеждой Степанной, все его фотографии она порвала и выбросила; упоминать о свекре в присутствии свекрови было не принято; эту маленькую фотку нашли случайно, после похорон, под лаковой обложкой удостоверения «Ветеран труда».

А вот и ее мамичка, любимая Степина теща, Инга Абрамовна: снимок сделан в Томске, возле монастыря, куда мамичка повадилась ходить на старости лет, из страха смерти.

Покойный папичка: в спортивном костюме, модная когда-то олимпийка с широкой белой полосой; строго сидит в своем любимом кресле.

Тёмочка в роддоме, маленький кургузый собачонок, душка моя. Тёмочка в ванночке, рот до ушей, мыльная пена на голове как фуражка. Тёмочка несется на снегокате; глаза огромные, почти как у деда, сверкают от счастья. Тёмочка с папой изучают мотоцикл. Тёмочка говорит: на мотоцикле надо ездить зимой, а летом попа слишком греется. Тёмочка с папой на яхте в Неаполе; Тёма за штурвалом; на заднем плане итальянский капитан в черно-золотом мундире, брюки белые, в зубах, как положено, кривая трубка: богатые туристы ждут антуража, они его получают. Тёмочка

плывет дистанцию в бассейне: правая рука занесена над водой, волна пенится, мордочка дико вывернута, отсвечивают водные очки.

А вот и она, Жанна. С Тёмой у входа в школу. Море цветов вокруг: Первое сентября. Мальчик пострижен коротковато, черный костюм сидит хорошо, белая рубашка оттеняет румянец...

Снова Жанна. В симпатичном колониальном костюмчике. Пробковый шлем и винтовка. Маленький солдат-завоеватель. Это они в Намибии, перед ночной поездкой в саванну, где из непроницаемой тьмы вдруг высветятся десятки желтых глаз; глаза, отделившиеся от тел, зажившие самостоятельной жизнью, будут надвигаться полукругом, медленно покачиваясь на невидимых нитях; все как в театре марионеток: сдернет кукловод с опасного места – спасешься, не захочет – тебе конец.

И снова Жанна. И снова. И снова. На горных лыжах в Сорочанах (будь проклят гаишный конверт!). В «Китайском летчике» на простонародных диких плясках. На шоу фейерверков в клубе «Водник»: вспышка выхватила из сумерек – молодое лицо, восторженное; вокруг всемирное сияние, огнепад, тонущий в глубине залива. В отеле на Сардинии, весной. Мужская часть кампании тогда купалась в непрогретом море, подставляя все еще крепкие, но уже начинающие оплывать тела ледяному северному ветру – местные смотрели изумленно и кутались в болониевые куртки. Жены принимали ванны с оливковым маслом, оттирались солью и молотым кофе, отмокали в бадейках с морской водой. Вечером собрались у бассейна; ветер стих, небо стало африканским, фиолетово-синим, густым; одна за другой вылуплялись огромные звезды; пахло ночными цветами; потрескивали сотни гигантских свечей, разрастались вселенские тени; начался маскарад для своих. Вот она в костюме Саламандры, огненной змейкой обвивает Томского, наряженного Ваххом. На заднем плане – безразмерный актер Депардье, отработавший вечер и радостно обнявший дорогую красотку.

А вот лучшая ее фотография. Любимая. Степа это знает. Она в простом и легком сарафанчике, задумавшись, на берегу залива. Подмосковный июльский вечер, долгожданная прохлада, плывет бессмысленный какой-то пароход, никому ничего не надо, покой, покой, покой...

4

Слайд-шоу окончено. Хотите перезапустить? Нет, не желаем. Хороший альбом, душевный. Но неживой, ненастоящий. Ничего лишнего,

случайного. Характерно. Нехарактерно. Важно. Неважно. Ее портреты – напоследок, как финальный аккорд. А в настоящем альбоме полно невнятных кадров. Друзья, подруги, партнеры, случайные знакомые, дети, родители, жены, тайные любовницы под видом сослуживиц на корпоративной вечеринке, а этот как сюда затесался? Кштть, пошел вон.

Ну зачем Степану, скажите вы на милость, ее папичка? Они друг другу сразу не понравились, с первой встречи. Папичка был спокойным, осторожным; Степа – бурным, без удержу. Он ворвался в ее жизнь вопреки домашним правилам. Должен был раздражить, оттолкнуть, но вот взял – и понравился. Влетел в лекционную, сверкнул глазами, выделил взглядом немногочисленных политеховских девушек, игриво поскреб трехдневную щетину и начал лихо читать сопромат. От сопромата делал пробросы в историю, философию, политэкономия; вместо академического перерыва устраивал лирические паузы: то расскажет о московских математиках, которые стихи научились обсчитывать, то вдруг завернет про связь между ценой на нефть и политикой – у него получалось, что все скоро екнется, он даже графики чертил; девочки млели, мальчишки решали кроссворды.

Жанна не влюбилась; она была не из таких. Но почему-то перед лекциями Мелькисарова настроение резко улучшалось, губы сами растягивались в улыбку, становилось легко, как только что проснувшейся девочке: впереди такой интересный день! А после лекций шла в библиотеку, читала все что находила: и про математиков, и про философию, и про нефть; ей не хватало кругозора, багажа, она это прекрасно понимала. Но, слава Богу, схватывала быстро и запоминала – навсегда. Сметливостью и памятью Бог не обидел.

Как-то зимним вечером она увидела Степан Абгарыча у входа в ресторан; швейцар лакейски поклонился важному товарищу в медвежьей шубе; в двери проскользнула норковая фифа – Мелькисаров незаметно прихлопнул ее по меховой попе, и Жанна покраснела от стыда. А дома завесила свою потертую дубленку за мамино пальто, сумрачно села на кухне и стала хлебать вечерний суп. Папа спросил: кто обидел? Ответом было уклончивое: а, так.

Спустя месяц она заглянула в комитет комсомола и попросила дать общественной работы. Например, перепечатывать бумажки на машинке. Секретарь комитета напрягся: кто же приходит к нам по доброй воле? в аспирантуру со второго курса готовишься, характеристику зарабатываешь? Но отказать не отказал; печатай, будешь стараться – летом возьмем в штаб стройотряда, не пыльно, и денег дадим заработать. У нее появился повод приходиться после занятий туда, где каждый вечер ошивался Мелькисаров.

Он пробежал мимо ее столика, царапал острым взглядом, запирался в секретарской с ребятами; что-то они там часами обсуждали. А она светилась отраженным светом; тюкала по клавишам, вспоминала взгляд и улыбалась.

Однажды секретарский кабинет оказался заперт; ключей не нашли, мелькисаровцы расселись в предбанничке, прямо на столах. И Жанна услышала, как спокойно, жестко, убедительно рассказывает Степан Абгарыч свой план какого-то *обхода с обналочкой*. На лекциях он заливался соловьем; здесь по-армейски четко раздавал команды. Ты перебрасываешь подряды на нас, – приказывал он толстому бухгалтеру Андрею, и бухгалтер Андрей уважительно кивал. Ты отсекаешь пятнашку за нал, – поворачивался он к комсorghу пятого курса Ивану; Иван записывал. Ты переводишь деньги почтой в Омск, ты снимаешь рублевую массу, ты раздаешь под расписку. Кончики ушей у Мелькисарова (он тогда еще коротко стригся) смешно шевелились. Она вдруг поняла, что гордится им, его силой, его умом – и в то же время умиляется звериным ушкам; покраснела, уткнулась в работу, склонилась над клавишами, чтобы волосы упали на щеки.

Как только совещание закончилось, Степан Абгарыч всех отпустил и подошел к Жанне.

– Что это с нами сегодня?

Она склонилась еще ниже.

– Слушай, ты читала, что Чехов написал про наших томских женщин?

Кто же в Томске этого не знал? Антон Павлович сетовал: женщины в Томске нехороши и жестки наощупь, а город вообще нетрезв.

– Рябоконь, гляди: я трезвый, ты хорошенькая. И видно, что не жесткая наощупь. Да подними ты свою синеву! Пойдем поужинать в приятное место?

Как же ей хотелось согласиться! Но его веселая наглость была такой откровенной, такой сальной, так ему на самом деле не шла, так его искажала! – и Жанна наотрез отказалась. Мелькисаров спорить не стал; но впервые с настоящим интересом поглядел на смоляную синеглазку.

Потом они переспали. Потом он ушел и она рыдала. Потом он вернулся, и она была счастлива. Потом он ей изменил. Потом она ему простила. Потом Степа пришел знакомиться, папичка его цеплял, а мама стыдливо вздыхала, и ночью, домывая посуду, сказала: завидую, мужик, но наплачешься. Потом Степан улетел в Москву, и папа в синих трениках ходил довольный по квартире, потирал руки и предлагал перекинуться в шахматишки. Потом пришла телеграмма в одно слово: «Прилетай», и

Жанна, отмахнувшись от родных, прилетела. А потом была жизнь.

Степан богател и работал, работал и богател; в свои проблемы не посвящал, она и не лезла. Просто взяла на себя все страхи на грани отчаяния. Без малейших слез, истерик и расспросов. А также переезды и обустройство сдвоенных квартир, обслугу, а в середине 90-х – охрану, редкие отпуска и частые сборы Степана в дорогу.

В начале 92-го родился Тёмочкин. В одиночной палате парижской клиники было тихо; сынок спал в прозрачной ванночке, похожей на посуду для микроволновки; черные волоски плотно облепляли вытянутый череп, придавали начальственный вид. Декабрьские мальчишки вообще трудные, ревучие, а Тёмочка еще и неправильно шел, сместил позвонок, заработал давление; его тут же начали мучить газы. Так что характер он показал сразу. Но Жанна сказала: никаких кормилиц. И никаких переездов в Европу. Сама; мой; дома.

Наезжая в Москву, мама пугала: дура, ты в Тёму ушла с головой, только ножки в воздухе болтаются, а Степан мужик о-го-го, за ним глаз да глаз, его надо опутывать, оплетать, всасывать, он же должен каждый день на тебя западать как в первый раз, и помни, дурочка: ночная кукушка дневную перекукует. Жанна снисходительно отвечала: мамочка, милая, девяносто второй год на дворе, в стране приватизация, они же сейчас на всю жизнь вперед собственность делят, у них потертый диванчик в приемной Чубайса, одно одеяло на всех, спят по очереди. Какие девицы? ты что? доползти б до собственной постели.

– А когда поделят, тогда что?

– Там увидим.

Там увидели.

Двенадцатого декабря они сидели у нее и весело справляли Тёмин годик. Взвыла громадная трубка мобилы; к трубе прилагался передатчик размерами с автомобильный аккумулятор. Степан непроницаемо прослушал чей-то гортанный монолог; подвел черту: Муса, я тебя понял, все обсуждаемо, но перезвони через два дня. Отключил трубу, неспешно допил вино и приказал:

– Рябоконь, собирайся.

Назавтра они с Тёмой и украинской нянькой – МарьДмитрьна еще не появилась в ее жизни – были в Женеве. Дул жуткий ветер; он взбивал озеро, взбалтывал и сплевывал на берег; потоки воды застывали на вечнозеленых пихтах, берег превращался в мертвое ледяное царство; ветер проскальзывал по узким улицам старого города, поднимался в гору, заверчивался вокруг собора и сползал вниз. Жанна все равно каждый день

выводила Тёмочку на детскую площадку, к игрушечным доверчивым коровам, потом катала на светящейся старинной карусели, укладывала сыночку спать и садилась у окна – молча бояться и ждать, когда им позволят вернуться. Перед сном чаевничала с нянькой, рассказывала ей сюжеты старых кинофильмов и новых только что прочитанных книг; нянька слушала, вздыхала и непременно спрашивала Жанну: а она чего? а он – убёг?

Если просыпалась от ужаса ночью и не могла опять заснуть, то зажигала свет, подходила к старинной конторке, вынимала из семейного альбома (всюду с собой возила) прошлогоднюю салфетку, разглаживала, тихо смотрела на Степину размашистую подпись: «Оплачено» – и немного успокаивалась.

Постепенно ветер стих, потеплело; на Рождество завертелась метель. Шестнадцатого, в их день, Степа позвонил, выслушал ее поздравительный щебет, поздравил сам и ошеломил радостью: все вопросы решил, можете спокойно приезжать. Сердце захлестнуло благодарностью; какой бы сделать ему подарок? Раздумывать было некогда; Жанна поехала в старый город и распахнула двери первой же попавшейся галереи.

Галерист был лысоватый и вертлявый итальянец, лет шестидесяти с лишком; ноздреватый нос, веселые черные глазки, под рубашкой старомодный шейный платок из бордового шелка в крупную крапину; чем-то он был похож на Степиного Гарика. Жанна заговорила по-английски; итальянец посмотрел ей в глаза и тут же перешел на русский. Неправильный, но красивый. Быстрый, певучий, протяжный. Есть у него кое-что, конечно же есть; пройдемте.

В комнате, похожей на советскую подсобку, среди позолоченных рам, небрежно подбитых холстов и бесконечного потресканного мрамора стоял натуральный комод, размером с хорошую ванну. Галерист нырнул в него, порылся – и достал саквояж, протертый по краям до желтых рыхлых вставок. Двадцатый век, фотограф – русский; приложены оригинальные записки; цена смехотворная, здесь это никому не нужно.

Вечером, убякав Тёму, Жанна расстегнула медный тяжелый замочек, вынула дневник в сафьянном переплете, самосшитые облезлые тетради и объемный футляр с отпечатками; начала разглядывать, читать – и сон ушел; усталость как рукой сняло.

На фотографиях была старинная усадьба. Как полагается, полузаброшенная. Герб на фронте осыпался; ступени выщерблены; по левую руку – строгий лев с широким носом, по правую – пустое основание, на котором вместо льва подремывает жирный сельский кот... Во втором

хранились фотографии картин; на всех были собачки. Особенно тронула картинка, на которой кобель рвал мохнатое кабанье ухо; клыки кабана загибались бивнями, он улыбался, как слоник из детской сказки. По верху картины надпись: *Боец Пылай в лихом деле*. Смешные картины, добрые, неумелые...

В замызганных тетрадях, кое-где уже оплывших, содержались подневные записи немца-управляющего: фотограф отыскал их в завалах, пометил: начало 19 века. Управляющий дотошно подсчитывал деньги, ужасался неизбежной катастрофе, описывал сценки из русской жизни. «Осип привез Филофею из города круглую шляпу перлового цвета. Тот не наладится, пошел фасонить к людской, шляпу на голове несет, как поднос, уронить боится; народ собрался, дивится эдакой невидали. А тут Наська рыжая случись, Ивана Рябова внучка, бойкая такая девчонка, огонь. „Давай, – говорит, – насцу“. Филофей сдуру снял шляпу и подает: „На“. Думал, она и прикоснуться заботится к такой диковине, а Наська хватъ ее под подол, ноги раскорячила, да и как сцыканет. Народ покатился»...

Жанна читала, представляла себе этот стареющий дом, ветшающую обстановку; ей становилось тоже грустно, но все-таки сладко, уютно; хорошо читать про чужие утраты в тепле, под рассеянным светом торшера...

Последняя запись в тетради была как бы пропитана слезами; суховатый, ворчливый немец вглядывался в будущее, ужасался, оплакивал имение – и с ним оплакивал себя. Так и видно было, что сидит он перед темным окошком, керосиновая лампа смутно отражается в стекле, а может быть, не лампа, а лучина; пахнет горелой щепой; близоруко нависая над бумагой, честный старик думает о близкой нищете, о дальней смерти и жестоко устроенной жизни. Не крал, радел о княжеских деньгах, и что его за это ожидает?

«С перепрыской дождя ноченька, непогодлива. Сон нейдет, что будешь делать: встал, думал, выпью рюмочку рейнского, сердце щемить перестанет, мысли горькие уйдут, да и сон придет. Как на грех попался на глаза журнал, что князь выписал, об извлечении доходов с имения без отягощения крестьян и вредных следствий; тут и лоскутки сна исчезли. Так ли хозяйствовать в журналах учат, как у нас дело идет? Ведь сквозь пальцы имение уходит. Люди куда? Куда мне на старости лет? Денег не нажито, об себе не радел. Это ли не вредные следствия! Горько будет, коли вновь вместо спокойной старости испытать придется лишения, бывшие в годах юношества».

Что с ним дальше приключилось, неизвестно; на обороте одной из

фотографий была проставлена дата. 4 июля 1914 года, пятница. Степе будет интересно.

5

Через три дня они ехали по Чистопрудному. Сухой снег ложился на резную ограду, его сдувало, уносило дальше; на расчищенном льду вращались фигуристы; как же она по всему этому соскучилась...

Но следующим вечером заявила Яна, вздорная ее подруга, интеллигентная жена кондитера Седого, и обрушила град новостей. Яна была в поликлинике, детской, там, за театром «Современник», прививки делать перед школой, сейчас требуют, и встретила Мосину няню – ну, Мося, четырехлетний сын Мусы, ну, слышала наверняка. Няня Галя чечена ненавидела, он Мосю учил курить, прикинь, в четыре-то года, жену гнобил, шепотом называла его черножопым, мечтала устроиться в русскую семью, да где ж их взять, русских, они еще без денег или уже с нянями, или евреи. Теперь Галя заплаканная, в черном чеченском платке, гладит толстого Мосю по головке, тихо причитает: какого человека потеряли! вся Чечня скорбит.

Муса шел с Ибрагимом, старшим сыном, лет двенадцати парень, грубый такой; шел вскоре после Нового года по Архангельскому переулку, к дому; возле церкви к ним приблизились двое. Муса только и успел сказать: сына дай отпущу, так ведь не дали, при сыне застрелили прямо в сердце, наразрыв, кошмар! Седой говорит, это люди Отари, что-то у них не так с чеченами вышло, стреляются все время. Но это ладно, это что. А ты знаешь, что наши с тобой мужики повадились к блядам? И не просто к блядам, а к совсем уже блядским блядам? Ее предупредила Анька, очередной бойфренд там генеральный менеджер, а клуб «Пеликан» они только что открыли, первый в Москве, и там два входа, один для всех, – сауна, бассейн и все такое, – другой для избранных, столики, диваны, комнатки, девочки и прозрачная стена, через которую сауну с бассейном видно во всех деталях. В сауне лохи думают, что это зеркало, что они парятся-милуются одни. А здесь глядят и веселятся. И Седой, и Мелькисаров, и Томский – все замечены. С этим надо что-то делать, а то еще заразимся.

Вечером, уложив Тёмочкина и задержав украинскую няню, Жанна зашла к Степану. Тот грипповал, полулежал на оттоманке у камина,

разглядывал подаренные Жанной старинные фотки. За стеклянной заслонкой плескалось пламя; потрескивали дрова; жар расходился по кругу.

– Что-то стряслось?

– Почти.

– Выкладывай.

И Жанна вдруг растерялась, разбилась вдребезги о его спокойствие, начала бормотать: Пеликан, Тёмочка, как же ты, как же мы, как же я, что будет...

Степан не спеша отложил книгу, прохрипел:

– Все сказала?

– Все.

– Тогда присядь. Собственно, вариантов у нас с тобой немного. Номер раз: ты ничего не говорила, я ничего не слышал, живем как жили. Номер два: ты спросила – я отвечаю. Но без экивоков. Ты уверена, что этого хочешь? Ты подготовилась к разговору со мной? Ты определила цель?

Разумеется, не определила. Разумеется, не готовилась. Но отступить было поздно.

– Определила. Говори.

– Подумай еще раз. Есть слова, которых лучше вслух не произносить. Потом не отменишь.

– Подумала.

– Что же; твое право. Хотела – бью наотмашь. Ты, Рябокоть, красивая и хорошая. Но, прямо скажем, не горячая. Мне тебя не хватает. И что теперь, затевать серьезный роман с неясными перспективами? Или восполнять недостающее? С одноразовыми девочками? Чистенькими, проверенными? Я лично Тёмочку терять не хочу, с тобой расставаться – тоже. А жить по-ангельски не могу. Так что... Или ты закроешь глаза на то, где я и с кем я. А я тебе гарантирую, что это все по договору найма, без душевных волнений. Или не закроешь, и тогда читай условия первого варианта.

Сердце провалилось в живот, кишки стали мелко пульсировать, тело превратилось в стекловату: бесформенное, ломкое, колючее.

– А я тебе зачем тогда, Степа?

Степан трубно высморкался.

– Да все затем же, для жизни. С тобой можно жить, во всех смыслах, надежно. В некоторых очень хорошо, в некоторых – неплохо, но недостаточно, надо бы докупить на стороне. Считай, что у нас будет не просто семья, а семья штрих, с прибавочной стоимостью. Или не будет ничего. Думай снова. Кстати, спасибо за подарок. Отличные карточки, и

запись интересная.

Степан вытянул ноги поближе к камину и с головой ушел в сафьянную тетрадь. Жанна заплакала. Она хотела утешения, доброты, любви, улыбки, тепла, уверений, клятв, даже наглого вранья, или пускай крика, топота, хамства, лишь бы сомнения развеялись; все забыть, все отбросить, жить дальше. А получила ледяной отпор, без намека на раскаяние; хуже того: нарвалась на оскорбление. Что на самом деле у них на уме? Превратиться бы в мужчину, на один денечек, испытать все изнутри, и опять – в женщины, понимая, как и что...

Выкрикнула сквозь слезы:

– Презервативы купи попрочнее, чтоб не порвались! – и выбежала из квартиры.

А дальше – дальше все пошло своим чередом. Тёмочкин рос; Жанна пеклась о доме; Степа работал. И вплоть до 16 января этого года держал слово, в серьезный отрыв не уходил. Один-единственный раз оступился, но собрал волю в кулак, порвал сторонние отношения, Жанне про все рассказал, повинулся; она простила. А про платные любовные мелочи старалась ничего не знать.

6

Аптекарь Колокольников скупал картины и скульптуры без разбору, страстно менял всё на всё: импрессионистов на Малевича, Глазунова на Родена, Герасимова на Фалька. Но для души ценил соцреализм. Не потому что модно, а потому что чисто и светло. Как в утренней постели у любимой мамы: прилепал босиком по дощатому полу, подполз под одеялко, ткнулся в мятый сонный бок, под голую пухлую руку: мама, согрей! Мама согревает, колышется мягкая мамина грудь, как воздушный резиновый шарик, залитый горячей водой.

Он начал собирать советских академиков во времена, когда их повсеместно презирали; оптом выкупил мастерские Налбандяна, Юона, Пименова – у жалких, но важных вдов; они когда-то были серьезными дамами и смутно помнили это славное время. В Измайловском парке десятками приобретал портреты суровых вождей и обильных телом женщин в цветастых платьях у окна; развешивал по всем своим квартирам и домам, украшал офис. Картин становилось все больше; ряды затемненных запасников разрастались с неостановимой силой;

Колокольников соединил приятное с полезным. Разместил коллекцию в аптеках и превратил увлечение – в бренд.

Сквозь пахучие полки с витаминами, седативными препаратами, противогриппозными вакцинами, лубрикантами для простого и анального секса, ампулами против облысения и памперсами для детей и взрослых, зубными щетками разных форм и оттенков, травяными сборами, анальгетиками, психотропными, жвачкой – просвечивали промытые дождями московские улицы и добрый улыбочивый Сталин; рядом с медицинскими манекенами, расчерченными наподобие туш в мясном отделе – почки, печень, филей – висели народные певицы с большими грудями и прокопченные трактористы с кринками молока, многофигурные батальные сцены, парадные изображения партийных съездов. Президиум сидел и дружно аплодировал; несколько человек почему-то стояли. Фалдами продленных пиджаков они прикрывали фигуры расстрелянных членов ЦК.

В прохладных аптеках играла советская музыка, звучали жизненные песни: все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо... мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастья ключи... потому что полюбила гармониста... в Вологде, где-где-где, в Вологде-где, в доооме, где резной палисаад. Народу нравилось, в аптеках Колокольникова от покупателей отбою не было.

Аптекарь позвонил ему сам; прежде они были незнакомы.

– Мелькисаров?

– Мелькисаров.

– Мелькисаров, это, епт, Колокольников. Мне сказали, у тебя Налбандян есть, хрущевский валет? А у меня наброски Репина для «Госсовета». Мне они ни нах не нужны. А тебе зачем мой Налбандян? Подъезжай, бль, сговоримся. Коллекцию покажу, дом посмотришь, пережрем. Ты завтра что делаешь?

– Завтра как-то не очень. Может, в понедельник?

– Не. В понедельник я нах ложусь в барокамеру. Каждый год ложусь, перед весной. А ты не ложишься? Зря. Очень полезно. Давай завтра, епрст, не тyani. Это в молодости главное подольше потянуть, в нашем возрасте важно кончить побыстрее!

Колокольников расхохотался. Заливисто, с бульканьем и сипом, как простуженный ребенок.

Степану стало любопытно.

Налбандяновский валет достался ему в довесок. Умер сын чекиста Колебякина; колебякинский внук продавал архив: ненужные письма,

справки, ордена и грамоты за подписью наркомов, но главное – роскошные карты ГУЛАГа. Пожелтевшая марля по линиям сгиба, блеклые краски фона, серо-голубые моря и строгие океаны, млечно-желтые горы, брезентовые равнины, четкая тушь неприступных границ, запах бесшумного кабинета. Колебякин-младший, рассыпчатый и рыхлый, с толстыми губами, похожими на клюквенное желе, перекатывался по квартире, доставал все новые и новые бумажки и никак не хотел понимать: Мелькисарову нужны только карты; ордена и справки он не возьмет. В конце концов смирился, но поставил ультиматум: или карты плюс покарбанный Налбандян, причем за серьезную цену, или вообще ничего.

На парадном поясном портрете, полтора на метр, радушно красовался молодой Леонид Ильич Брежнев. Важные брови вразлет, полуулыбка дамского любимца, заботливое выражение мясистого лица. Но на широкой и вольной груди, как перевернутая икона, смутно проступал закрашенный Хрущев. Висел вниз лысой головой, буравя глазками полупрозрачные ордена и разрывая остреньким носом брежневский пиджак. – Налбандян писал Хрущева для какой-то заграничной выставки советского искусства; накануне выставки Хрущева сняли, назначили Брежнева. Времени совсем не оставалось, новый холст готовить было некогда; живописец перевернул Никиту, закрепил полотно на мольберте и за ночь соорудил Ильича. Утром за работой заехал фельдъегерь; все, казалось, было тип-топ.

Но за время пути спешные краски просохли; раскрыв контейнер и сдув сухую стружку, дипломаты обнаружили валет. В ужасе вызвали соглядатая; стареющий полковник Колебякин сухим и скучным голосом отдал приказ – изъять провокацию, холст отодрать от подрамника, свернуть и опечатать в тесной чертежной трубе.

Перепугавшись насмерть, Налбандян отправился к начальству. Плакал, каялся: недоглядел, дурак, исправлюсь. Дело замяли; труба оказалась бесхозной – к делу приобщить невозможно за неимением дела; товарищ Налбандян принять ошибочную картину по акту отказался: не было ничего, не знаю, не помню и не подпишу, сожгите. Бережливый полковник Колебякин оставил двойной портрет себе. Хранил чертежный тубус в гардеробной, вместе со списанными служебными картами, памятными знаками и письмами боевых товарищей из областных управлений. Сын его, тоже полковник, распечатать футляр не решался – и даже подумывал выбросить на помойку; но в начале двухтысячных успокоился, поверил в полную стабильность и повесил холст в кабинете. Как есть, без реставрации. Потемневший, потресканный. А потом, как положено, умер, и картина переехала к Мелькисарову.

Дома Степан Абгарович первым делом разрезал огромную белую луковицу, самаркандский сладкий сорт; протер заплывшую поверхность; краски вдруг помолодели, засияли, от чего картина стала еще смешнее. Попорченная временем, она казалась знаком прошедшего прошлого, какое было – такое и было. А теперь посвежела, как будто вчера написали...

Колокольников лично встречал у входа на фабрику: веселый ежик из-под мягкой шляпы, голубые глаза навывкате, картофельный нос; пальто английское, сливочный беж, со спущенными крыльями и свисающим хлястиком; брюки полосатые, смутного коричневого цвета, туфли крокодиловой кожи с бордовыми вставками, пышный шелк желтого шарфа.

– Налбандяна привез? Епт, оспди, как хорош! Двух Репиных даю: сам определи, кто тут кто. А в шахматы сыграть не хочешь?

– Не играю.

– Как же ты тогда бизнес делаешь? Ладно. Пойдем, пойдем, посмотришь, как я живу.

Колокольников тянул за собой; говорил скорострельно, руки разлетались в стороны. Это Роден! – черные тела, слившиеся в поцелуе, украшали предбанник. Это Шилов Александр Максович! – задумчивый портрет жены аптекаря висел в кабинете, пропахшем лекарством; сорок четыре сеанса потратил художник, триста тысяч цена. Когда-то были большие деньги, а теперь бумажки для подтирки. Только жесткие, царапают. Это неизвестный автор! – на картине был изображен осенний спуск по Ленинским горам, все в желтом, красном цвете, охристом – красиво-хорошо, как в молодости, когда идешь по перелеску, вдыхаешь воздух, ищешь женщину.

– Ты от хламидий никогда не лечился? Как же ты ухитрился, епт? А я вчера ходил в сауну, побрызгал на стены ментоловым маслом, потом пальцы не смыл, потрогал головку, итьмать, до сих пор щипет.

А это вот портрет Фиделя Кастро, карандашный, в рамке. Подарил Илья Сергеич Глазунов. Пришел с девахой, покраснел, представил: мое последнее безумство, попросил денег. Денег Колокольников дал, он понимал проблемы. Но дальше, дальше! Идеальные закрытые цеха (датское, епт, производство): офицерски вылизанные, ни пылинки, как в домашней мастерской полковника Рябоконя; послушные девушки в белых халатах, всюду колбы, цветные реагенты, порошки:

– Красота! А ты молодец, не жиреешь, тебе полтинник, да? какой диетой пользуешься? Мы – по группам крови; у тебя какая группа, Абгарыч? Точно что не первая; вижу в тебе какую-то прожидь, у евреев обычно третья. Не еврей? армян? четвертая? Ну ладно. А мы, которые с

первой, славянской, нам ваша кура бесполезна, нам надо мяса или рыбы. Но мы еще мяса похаваем, погоди, давай досмотрим до конца.

Аптекарь неся гончей с этажа на этаж, из отсека в отсек, как по свежему следу. Здания соединялись переходами; с фабрики они перебежали в дом. Мимо проносились коридоры и приемные, жилые помещения и кабинеты; они нырнули в гардеробную, с шеренгами ботинок по пятнадцать тысяч пара, рядами рубашек всех тонов и оттенков, складами костюмов в полосочку и клеточку, елочкой и в рубчик, бесконечными галстуками; имелся отдел носовых платков, расшитых вензелями, и набор прозрачных ящичков, где были залежи брильянтовых, изумрудных, сапфировых запонок.

Вылетев из гардеробной, они угодили в массажную; испуганная массажистка месила густое женское тело, причвычное к наготe, незастенчивое, небрежно прикрытое снизу халатом. *А это – невестка!* Невестка не шелохнулась, только сказала: ага. *Тут сын с семьей живет! их гардеробную смотреть не будем? ладно. Тогда спортзал, рояль и дочку.*

Первый этаж аптекарского дома был как стеклянная матрешка. Внутри цеха, подсвеченного белыми прожекторами, были выстроены три прозрачных куба, вписанные один в другой.

В первом кубе, сто пятьдесят метров на сто пятьдесят, высотой как минимум десять, располагались тренажеры; на плечи и предплечья, на бицепсы и трицепсы, на икры, ляжки и лодыжки, на мышцы живота и позвоночник; стальные шведские лестницы ползли по толстому стеклу, в стенах странно отражались трапеции, кольца, канаты. – *Пока не пройду по разочку, не успокоюсь!*

Внутри спортзала помещался куб поменьше, метров сорок – сорок пять, четыре – высотой; на диванах сидели вежливые куклы, к педагогическому креслу боны примыкал крутящийся стеллаж с красивыми книжками, рядом с письменным столом из плексигласа стоял голубой светящийся глобус – в человеческий рост, с приставной никелированной лесенкой. В этом кубе обитала младшенькая. – *Училась в Англии! Поговори-ка с дядей по-английски! хау ду ю ду, ха-ха?* – Хорошая девочка, лет десяти, уже чуть-чуть смущаясь отца, все еще покорно пробормотала: «Пап, да ладно!».

– *А это, погляди, рояль!*

В сердцевину детской был встроены еще один куб, с отдельным раздвигающимся входом; тут прятался от внешнего мира беззащитный инструмент. Тоже весь прозрачный, обнаженный, окантованный белым золотом; внутренности механизма были как вывернутые кости на снимке,

черные и белые клавиши казались подвисящими в пустоте. – *Хрусталь! один такой у Элтона Джона, другой у меня. Сыграй! сказал, сыграй, тысячу дам.* – Девочка покорно села на холодный стул из белого оргалита и бегло наиграла ноктюрн. Зеленая пачка легла на подставку для нот.

Впереди их ждал туалет с Бердслеем; спальня с ореховым комодом, один в один Царское село, Екатерина Великая, но там строгали иностранцы, по заказу, а тут пилили простые русские люди, недорого, красиво-хорошо; недостроенная зала для приемов с античными портретами семейства Колокольниковых на плафонах: хозяин в виде Зевса, Громовержец, жена подобна Афродите, с настоящей пенной грудью, а не то чтобы из силикона, милые дети со стрелами Купидонов, пухленькие такие, со складочками, *без присыпок созреют по линии сгиба*; в центральном полукуполе сияла мощная пчела, черные полосы отливали базальтом, золотые – церковным куполом, сверкающие крылья были из брильянтовой крошки: символ истинного трудолюбия.

Они просвистели залу насквозь – и выпрыгнули в галерею.

7

Дневная встреча – разговор. Вечерняя встреча – свидание. Прелюдия к постели, флирт или платонический наигрыш – неважно. Не имеет ни малейшего значения. Поскольку значение имеет нечто другое. Что ж, Анечка и Степочка; вы нам привет, мы вам поклон. Иван не может догадаться, каким тут образом все закрутилось, где скрытый движок механизма; и она не сразу поняла. Вообще чуть было не сломалась под напором мерзких обстоятельств. Утром дала себе слово не открывать больше папки, не включать навигатор, разом обрубить концы и вырваться на волю. Но днем не сдержалась, открыла. Потому что внутри, как изжога, бродила желчная горечь догадки.

Тупо глядела на две фотографии, сличала, как следователь на допросе, устраивала им перекрестный допрос; что-то смущало, помимо накладки со временем. Как тогда, со Степиной машиной и Василием в Нижнем. И наконец-то сверкнуло: рубаха! Ну конечно, конечно: рубаха! На выставке у нас имелась толстовка; в кафе появилась сорочка, непомерный ворот, галстук не предусмотрен. Почему-то именно рубаха все ей до конца и разъяснила. Хотя никакой разумной связи между разными сорочками и ослепляющей догадкой – не было. Снимали в разное время, вот рубашки и

разные; первый фотограф подкуплен, второй его разоблачил; дважды два четыре, трижды три девять; а то они не знали, к чему дело идет. Однако же – какая разница, за счет чего и с помощью чего прочитан тайный смысл происходящего? Каким путем, по каким ступенькам ты поднимаешься к ответу на мучительный вопрос. Главное, что ты – дошла, доползла. Взглянула сверху, соединила рассыпчатые детали – и выстроила ясную картину.

Да, милый мой Ваня. Да. Ваш первый фотограф продан. Но никаким не конкурентам. И даже не Степану. Степа здесь решительно ни при чем. Он вообще не в курсе происходящего; или, как сам он говорит, не в курсах. Тут заметна чуткая женская хватка, видны хитросплетения нервных волокон; только баба и может распутать. Благодаря чему? Благодаря чему угодно. Хотя бы той же рубашке. Которая ничего не объясняет, и при этом разъясняет – все. Куда там мужику с его наивным разумом, прямолинейным, как стрелка на брюках.

Кто задумал поставить на снимки липовые даты и часы? кто осознанно и даже нагло путал карты, дразнил, раздражал, наводил на всяческие мысли и сомнения, расшатывал их очень хрупкий, ненадежный мир? вам все еще неясно? *божежмой*. Ну Анечка, ну девочка моя, ну мерзость. Чужой изменой решила прикрыть свою любовную игру; пускай, дескать, Жанночка ярится, напрягает Степочку, а мы ее, дурочку, дважды обжулим. От себя отведем подозрение, на Дашеньку перебросим; Жанночка будет сражаться с *этой* и подталкивать ситуацию к разводу, а мы подвергнем Степана Абгарыча полноценной тепловой обработке, размягчим до состояния плавленого воска, проложим желобок: стекай, мой милый!

И как быстро все сообразила, рассчитала! Тогда же, сразу, в кафе, у фитнеса. Навела подругу на мысль о разводе и слежке; сама же эту слежку отследила и результатами воспользовалась. Рассортировала съемки по датам, перетасовала в соответствии с собственным замыслом, расставила эпизоды в удобном для себя порядке, разгребла реальную Степину жизнь, подменила мнимой, а в реальную поднырнула – сама. Каким образом отследила, с кем сговорилась, что и кому заплатила – детали. А детали могут не сходиться, это знает каждый. Лишь бы целое не распадалось.

Оно бы и не распалось, если бы не случай. Откуда Ане было знать, что фотограф затасует снимок Васи в нижегородскую пачку? что Иван предложит подключить маячок? что, наконец, они наймут второго наблюдателя, и этот наблюдатель обнаружит – Аню, бесстыдно и подло прикрывающуюся Дашей? И как знать, может быть, никакой Даши уже и нет, а они наснимали на полжизни вперед, и, пропечатывая нужные даты,

тянут любовную канитель, чтобы Жанне не уйти от разрыва?

Что ж, Анна Романовна Коломиец; вы не просто задели человеческие чувства Жанны Ивановны Рябоконь; вы оскорбили в ней женское, тонкое. И ответ получите настоящий, женский. Не прямой, но предельно обидный.

Что там было на Степе? Белая рубашка? Очень хорошо. Это Жанна ему покупала, в пару: мужу красивую сорочку, себе приталенную блузку, с одним и тем же вензельком на острие воротничка. Расстегнута была? и мы поступим так же, распахнем ворот вплоть до ажурной линии белья. Черные волосы сверкают, глаза слегка подсинены; оттененные ярко-белым воротом, крупные сапфиры темным кольцом облегают шею, будут тускло светить в приглушенном зале. Брюки? нет, не годится; пускай шуршит холодный шелк тесной юбки, бросается в глаза красота нерасполневших ног; будут легкие туфли на каблучке, безо всяких шпилек; высокий подъем, небольшая стопа; сверху накинем белый кожаный плащ на кунице, с большими пуговицами розового золота; не девочка, а картинка.

Она сама себе нравится; уверена, обаятельна, молода; веселая энергия подпитывает кожу, иголочками колет изнутри; сердце бьется неровно и смело; жизнь продолжается; здравствуй, новый поворот судьбы!

8

Ну вот обмен и состоялся. Налбандян перешел Колокольникову, Мелькисаров получил свои наброски «Госсовета». И должен был сиять от счастья. Он жаждал Репина, предчувствовал его. Но теперь – не сиял, а равнодушно констатировал: мой. Кровь не играет, газировка выдохлась. Все здорово, по-репински мужиковато: густоватые мазки жесткой кисти, бугрящиеся слои краски, государственная мощь суровых лиц (ему достались некто Крамер и Волконский, из тех, сын декабриста, сибиряк)... А вот не греет.

Был бы он коллекционер, другое дело; еще одна пустота заполнена, еще один квадратик покрашен, продолжим-ка охоту, когда там следующий «Сотбис»? через месяц? Но ведь он самый обычный любитель, человек без большого азарта и страсти; он тоже играет в детскую игру воспоминаний – про маму, дом и теплую подмышку. Только без аптекарской дичи. Поскольку мама была другая и дом – другой. Так зачем ему холодная страсть собирателя? поймали бабочку, проткнули иголкой, скорей под стекло? уж лучше ничего, чем так.

Но Колокольников не унимался; поставив точку с Налбандяном, продолжал тянуть Степана за собой, показывать запасники. Со всех сторон бесконечных залов нависали герои в мундирах, начальники в пыльных серых пиджаках, их женщины с тяжелыми телами и темными розами в крупных графинах, сталинские соколы в кожаных шлемах, послушные мальчишки рядом с вислоухими мохнатыми собаками. Стрижки у мальчиков типовые, колокольниковские: на макушке соломенный ежик, затылок выбрит под ноль. Доярки с аппетитными складками на животе, маленькие Сталины, большие Маленковы, ночная переправа через Днепр, греческие жесты партизан перед расстрелом, прыщавые лица фашистов, пропитанные солнцем стройки, сияющие влагой весенние трассы, мудрая старость вождей и счастливая юность толпы.

Колокольников как будто заискрился; он сам себя включил на подзарядку и всасывал энергию картин, а Степан Абгарович скучнел от зала к залу.

Но вот они домчали до обменного фонда. Колокольников остыл и плюхнулся в кресло: *погляди тут, нах, можть и найдешь чего*, а Мелькисаров сделал стойку. Справа был поддельный Кандинский, в глубине мерцал настоящий Фальк, а левый угол безразмерного зала занимали пестрые ужасы Павла Филонова. Мелькисаров знал, что перед ним фальшак – и все равно ударило по глазам, зацепило, заиграло чем-то желтым, красным, огненным, кровавым, анатомическим, дьявольским, настоящим; писал хороший копиист.

– Купить не хочешь? Я бы сторговался, епт.

– Колокольников, не обижайся: весь Филонов висит по музеям, он при жизни ничего не продавал. Так что это – подделка. Хотя и грамотная.

– А из музея слямзить не могли? Да ладно, можть, и подделка, мне-то что. Я ж метелю все подряд, ты знаешь. Место есть, пускай висит, не жалко. Зато вон эта дырина – настоящая. Это я как техник говорю. Там сбоку рычажок, к розетке все подключено, полный прикол, ознакомься.

В тени стояло металлическое сооружение, чугунно-черное, в половину человеческого роста. Похожее то ли на ткацкий станок, то ли на поднятый капот «Ягуара», то ли на допотопный рентген, то ли на старинную пишущую машинку, увеличенную в двадцать раз. В центре – черно-белая пластина, прижатая железной рамкой: подсвеченный негатив филоновского «Пира Королей». Посреди всеобщего неба сидят обездвиженные люди; их мышечная ткань – без кожного покрова, видны нитяные сплетения жил, проступает трупный антураж космоса, внизу – печальные коровы, земная дойка, парное молоко. Мелькисаров вдавил тугую красную кнопку. Слева направо медленно поползла перекладина с фотоэлементами, похожая на

линейку рейсфедера. Огонечки замигали, рычажки стали сами собою вращаться, а из динамика потекли тягучие нездешние звуки.

– Синтезатор, бляха, довоенный. Называется СНХ-АНС. Почему называется так? а кто его в маму знает. Знаешь, в нашем детстве, ты какого года? опоздал – были пленки на костях, ну барыги писали пластинки на рентгеновских снимках? Только там нарезали спираль поверх картинки, а здесь она сама играет. Свет сначала проходит свободно, потом натывается на преграду, и опять свободно, клавиши сами собой нажимаются, и все это дело гудит. Черное не считывается вообще, серое и белое идет по степеням: чем фотка прозрачней, тем гуще звук. И как-то там преобразуется все это. Сам слышишь, шакалий вой какой-то, а не музыка. Но идея богатая.

Музыку вело куда-то в бок. Обычная, классическая – та стремится вверх и выше, уносится за облака, а потом осыпается вниз, как блески. Та музыка, что посложнее, двадцатого века, бродит вокруг да около, то отпрыгнет в сторону, то вернется на место. Но даже она – как бы это сказать? отцентрована, помнит про стержень, про фокус, про точку возврата. А эта музыка какая-то косоглазая, кривая, будто ветер сдувает ее влево, сносит подальше от центра. На ней сосредоточиться нельзя, она от тебя ускользает. Гудит протяжно – в сторону, отводит себя от слуха, как отводят глаза от смерти. Если бы Филонов сочинял, он бы сочинил такую же.

Пир королей отыграл сам себя. В могильной тишине запасника стало неуютно; они пошли назад. Боковым путем. По улице, ежась от холода. Степан подумал: а зачем? и получил ответ. На задниках жилого корпуса располагалось берендеево царство; пруд был обстроен бревенчатыми замками, избушками, ведьмовскими обителями и деревянной статуей бабы яги; статуя была вырезана из огромного корня, в ступу была вмонтирована настоящая мигалка. Они приблизились, сработал фотоэлемент, мигалка начинала вращаться и выть.

Но главная задумка Колокольникова была отложена напоследок, ждала перед воротами. Слева от резной двери в ограду был вделан рычаг.

– Нажми! – предложил Колокольников.

Мелькисаров нажал. Дверь начала неспешно отворяться, но вдруг остановилась – и захлопнулась. На дороге сама собой поднялась крышка люка, из образовавшейся дыры высунулся огромный деревянный палец, не меньше метра высотой; палец погрозил Мелькисарову и откуда-то из-под земли прозвучал утробный голос:

– Должок-с!

В незнакомое, непривычное место Жанна обычно входила застенчиво: благовоспитанная девочка из очень строгой военной семьи. Левое плечо слегка вперед, голова приспущена, смущенная полуулыбка. Только освоившись, привыкнув, расслаблялась, как будто получала команду «вольно». А в этот раз преобразилась; сама не понимала, что это с ней. Плечи расправлены, плавная грудь подчеркнута, в глазах великосветская насмешка. Посмотрела в зеркало, повертелась: у входа в ресторанный зал стоит высокомерная красавица, привыкшая сражать и властвовать.

Иван вскочил, едва не опрокинув стул, суетливо подбежал, проводил ее, усадил.

Он специально выбрал это место на Рублевке. Не потому, что роскошь и мода, а потому, что загород и райский антураж. Долго узнавал, какие есть возможности, советовался с шефом и наконец нашел. Столиков в центральном зале не было; только напитки и закуски, расставленные по небольшим соломенным буфетам, похожим на гигантский саквояж для пикника. Посетители сидели в закутках, обособленные друг от друга. Сквозь прозрачные внешние стены виден был сельский двор, призрачно подсвеченный и хорошо прогретый. Тут мирно паслись кучерявые овцы и козочки с ломкими ногами, бестолково бродили куры, в огромных клетках неустанно жевали дрожащие кролики, к жердям были привязаны два дружелюбных пони, черный и белый, за железной сеткой крупной вязки раздувался пестрый индюк, в отдельном загоне страус крутил лысоватой головой с отдельными торчащими волосиками, а в дальнем углу, на подстилке из плотной соломы развалилась безразмерная хавронья; ее усердно сосали смугленькие поросята.

Навозные запахи оставались снаружи, а в помещение – через динамик – поступал только вкусный очищенный звук; слышалось бляенье и хрюканье, клекотали и кудахтали птицы, где-то истерично вскрикивал фазан. Если не глядеть по сторонам, могло показаться, что ты внутри огромного светящегося шара, висишь на новогодней елке, смотришь на ожившие игрушки, полный восторг, но сердце замирает от страха: слишком хрупок стеклянный бьющийся мир.

Жанна засмотрелась на зверушек, расплылась в улыбке, стала еще красивее. Потом вдруг посерьезнела, велела официанту обождать, положила встык фотографии, жемчужно-розовым ногтем постучала по одной и по другой: рубашки! Жестко отчеркнула совпадающее время,

покорябав глянec. Вопрос: как это понимать? Ответ? он теперь, кажется, ясен; странно, что они не сразу поняли. Жанна говорила «мы», щадила Ванино самолюбие. Но излагала быстро, сбивчиво, нервно, почти верещала, как ревнивая обиженная женщина, а не как расчетливый клиент. Ваня слушал сумрачно, как ей показалось – рассеянно.

– Неожиданный поворот. Жанна, простите, я должен обдумать. Поговорим об этом завтра-послезавтра, хорошо? А сегодня мне обещан личный вечер, и не хочется разменивать его на дела.

Жанна мгновенно размякла, успокоилась и как-то подозрительно легко согласилась: и правда, зачем же распылать впустую короткое радостное время? Иван теперь никогда не узнает, что еще утром она собиралась продолжить тему – и тут же ее закруглить; репетируя этот их разговор, воображала, как расскажет ему про Аню и про Анин *перехват*, как с полным достоинством брошенной жены объявит, что все поняла до конца, и больше в слезке не нуждается. Потому что обман раскрыт, источник истинной угрозы установлен, пора переходить от обороны к нападению. Гордо так, немножко со слезой, но без истерики. Однако же едва достала фотографии, корябнула ногтем по глянцу – ее саму будто скребануло по нервам, и она с ужасом поняла, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, ни за какие коврижки не скажет Ивану: отбой.

Если *отбой*, то конец приключению; их первый сегодняшний вечер тут же станет последним. Никогда уже они не сядут друг напротив друга, глаза в глаза; и вообще увидятся только разок, в присутствии Забельского. А это так несправедливо. Чудовищное слово – никогда. Страшное, как смерть. А Иван сегодня такой нарядный, ухоженный, почти вальяжный; узкий пиджак цвета ночной вишни, розовато-серая рубашка с широко разошедшимся воротом (ворот как на снимке – у Степана), одеколон пахнет густо, но не грубо, горьким перетертым миндалем.

Нет. Вопреки обдуманному плану и заготовленным схемам она принимает другое решение. Спасительное для себя, не обидное для него и длящее общение – для них. Пускай Иван приносит ей отчеты, расспрашивает про маячок; она будет старательно во все вникать, как настоящая отличница, поддакивать и поддерживать тему; но сердце свое закроет. А сама пойдет к Забельскому, одна пойдет, без Вани, и обсудит линию своего судебного поведения.

Они решили дерзко смешать ресторанные карты, закуски взять с французского стола, круглые устерсы из Бретони, бургундские улитки, к ним беспечный «Дом Периньон». А на горячее – пусть принесут украинского борща с пампушками и киевских котлет, и полгграфинчика

замороженной водки. Да, после шампанского. Да, голова заболит. Но это будет завтра. А нынче гуляем. Тогда, в катастрофическое утро, она дала отбой диете – от безнадежной тоски; сегодня – от рискованной радости; минус на минус обязательно даст плюс, она потом опять похудеет, а распавшаяся жизнь возьмет вдруг и полностью восстановится.

Официант, приземистый, в очочках, пожал плечами, но безропотно принял кошмарный заказ. Только на просьбу подать еще и пармской ветчины с мелоном внушительно, но очень тихо возразил:

– Этот ваш заказ – специфический.

– Не поняли.

– Я говорю, что специфический ваш заказ.

– А что вы имеете в виду?

– Я то имею в виду, что лично я вам это брать не советую. – Тут он вовсе перешел на шепот.

Жанна попыталась отшутиться: «А вы уверены, что дыня и впрямь плоха?», но услышала гордый ответ:

– Если вам официант говорит, это что-нибудь да значит.

Ветчину они брать не стали. Уплетали закуски за обе щеки; Ваня передразнивал официанта; краем глаза она заметила: официант из угла наблюдает, и очень ему эта сцена не нравится. Вообще, еда – событие интимное; жующий человек всегда чуть-чуть смешон, как неумный кролик с жадными и жалкими глазами. И либо ты скрываешься за светским ритуалом, – спина прямая, разговор сухой, окаменелая улыбка, взгляды упираются друг в друга и держат равновесную дистанцию, – либо так доверяешь себя собеседнику, что дальше некуда, ты ешь при нем. И он доверяет тебе. И тоже ест. В постели человек еще смешнее; со стороны все эти странные трения, судорожные вздохи, комедийные стоны должны казаться дикими; но кому они нужны – со стороны? Двое так доверились друг другу, что согласились наплевать на мир; им не смешно, их тянет, как магнитом; им по одиночке тесно, а как только сольются – просторно... Но впрочем, что это она?

Родители Ивана были костромские, мама корректор, а папа печатник, работал в областной типографии, должность называлась метранпаж; смешно, как придворное звание. *Павел Иванович Ухтомский, метранпаж.* Папа выхватывал из ящичков длинные свинцовые палочки, похожие на толстые спички – вместо спичечной головки на конце была отдельная буква. Он быстро-быстро защелкивал буквы в тяжелую форму, справа налево, в зеркальном порядке. Ваню сажали сбоку, на верхней ступени стремянки; он часами сверху наблюдал, как форма зарастает литерами,

становится похожей на свинцового ежа. Мощная железная страница. Папа иногда дарил ему свежий оттиск: восемь страниц на огромном листе, в перепутанном странном порядке; если сразу провести пальцем по краю строки, протянется серый след, а через пять минут краска просохнет, и тут уже води не води, ничего не смажешь.

А дедушка Ухтомский был офицер, из железнодорожных войск. Строил до войны КВЖД, поэтому его и не сослали: куда уж дальше? дальше некуда. Потом сражался; снова строил – в Казахстане, на Урале и в Сибири; вышел в отставку, поселился у родителей жены и пошел вести начальную военную подготовку в школе. Обычная майорская судьба. Поведение при ядерной атаке, сборка и разборка автомата, строевая подготовка оглоедов, лукавая симпатия девчушек: ой, Иван Иваныч, а как вот эту штучку вставлять в автомат? но ведь пружинка выскакивает! какой вы ловкий, Иван Иваныч!

Жанна спросила, в каких гарнизонах служил его дедушка; Ваня перечислил что знал. Иван Иванович рассказывал ему про Верхотурьинск, он там жил среди уральских сопок; служил на Сахалине, посреди икры, и растолстел; когда перевели на остров Русский, пешком ходил по льду из Владивостока – ветер дул такой, что однажды он выронил чемодан, и чемодан, как шляпу, унесло... До Томска дед не добрался, но зато служил в Новокузнецке. Примерно там же, где впоследствии служил полковник Рябоконь; траектории их судеб прошли через одни и те же точки.

Нахлынули приятные воспоминания и тут же схлынули; Жанну слегка задело, что Иван опять ускользнул от вопроса, где учился, как начинал детективный бизнес, на чем процвел. Хвостиком вильнул, плавник перенацелил, стал расспрашивать про Томск, про их знакомство со Степаном; хитрован. Да, про начало бизнеса говорить никто не любит; нетрудно догадаться почему. Но здесь хотелось полного доверия; жаль, что не случилось.

Между закусками и первым нужно было провести демаркацию; папино любимое выражение. Они ненадолго умолкли, ожидая, пока официант переменит приборы; пауза чуть затянулась. И тут Иван открыл очередную карту.

– Пойдемте потанцуем, Жанна, вы не против?
– А где танцпол? Не на скотном дворе?
– Шутка принимается. И все равно, пойдемте, ладно?
– Как же я могу быть против? не танцевала со студенческих времен. А ведь это было настоящее девичье счастье: томно, в полумраке, с кавалером...

Они вынырнули из своего закутка, медленно прошли сквозь яркое пространство буфетной, интимным полутемным коридором проскользнули налево и вбок. В роскошное подполье вела широкая лестница, усеянная мелкими лампочками; служитель тяжело раздвинул двери, из подземного зала полыхнула музыка, сквозь сумрак проступили виляющие пары: мамочка моя, родные буги-вуги, юность, влюбленность, финал дискотеки. А вот уже и рок-н-ролл. Полет от тела и к телу, пролет между ногами, секундный закрут, обжигающее соприкосновение, выброс на сцепленных пальцах правой руки.

Ладони у Ивана узкие, сухие, сильные; ведет уверенно, но мягко, толчок не резкий, разворот вихреобразный, объятие мгновенное, бросает в жар. Боже ты мой, ни одной ошибки, ни единого случайного движения, сплошной полет, юла и бесшабашность. Так московский бизнес не танцует, давно уже разучился, а может, никогда и не умел; так все еще учат танцевать в провинции: заставляя напрочь забыть, отключить мозги, и только слушать, как мечется растерянное сердце, отставшее от биения вольного тела.

За рок-н-роллом последовал вальс; Ваня вновь переменился, стал чопорным джентльменом, раз-два-три, раз-два-три, полупоклон, прижатие, отход; холодная улыбка, теплый взгляд глаза в глаза; он просто мастер, настоящий артист. А танго? Он вышагивал на полусогнутых, от бедра, пружиня и держа осанку; его щека была так близко, что виден стал черный недобрый волосик на скуле... А брови-то у него не седые, черные... и борода, наверное, была бы такая же... красиво.

Но вот и дискотека девяностых; гром и грохот, прыжки и вращение попой, руки вверх, ритмичное пощелкивание пальцами, скоростная пульсация крови, надвигающееся состояние транса... Световые пятна мечутся, на долю мгновения гаснут, вспыхивают снова; лица мерцают то красным, то синим; трассируют; сплошная inferнальность. Ты еще здесь или уже по ту сторону жизни и смерти? неважно! энергия бьет через край.

И сразу, без паузы, медленный танец – для не умеющих танцевать, но желающих обжиматься. Немножко стыдно выступившего пота, неприличной влажности собственных рук; зато какой восторг от близости чужого тела, безопасно скрытого одеждой, но заставляющего чуть дрожать... Стоп-стоп-стоп, это что опять такое, Жанна? куда тебя понесло? Давно не флиртовала, только вежливо строила глазки на общих приемах; так можно и выйти за рамки приличной игры.

– Спасибо, Ваня, вы чудесный. Но, кажется, пора переходить к основным блюдам.

А вот с блюдами вышел облом. Тутошные устрицы были еще терпимы – пресноватые, без океанского аромата, но вроде бы свежие; что же до борща, то он решительно не удался, а котлеты оказались просто отвратительны. В тарелке плескалось алое нечто, со стружкой капусты и свеклы и скудным мазочком сметаны поверх негустого бульона. Пампушка отдавала сдобой. Куриная котлета похожа была на аккуратно свернутый голубец, где вместо кочанных листьев – куриная грудка, снятая тонким слоем. Стало обидно за настоящую водку рядом с поддельной закуской; тем не менее водку выпили, залакировали свекольным бульоном, заели ломтиком картошки, раздраженно позвали менеджера.

Менеджер покаянно изогнулся.

– Могу узнать имя-отчество господина, имя-отчество госпожи? Благодарю вас, сударь, спасибо, сударыня. Наш немецкий повар, он не понимает, что такое борщ и котлета по-киевски. Малохольный, знаете, народ. Признает одни только тертые супы, а как закажут что-нибудь настоящее, наше, получается жидкая водичка. Или мясная клецка.

– А поменять повара не пробовали? Или сделать сплошь немецкое меню?

– Ну что вы, господин Иван Павлович. Здесь публика солидная, патриотичная. Вот и крутимся как можем. Позвольте от имени заведения предложить вам во исчерпание, так сказать, конфликта, свежайший малиновый мусс под фирменным названием «Парфе»?

10

Интересный вопрос. Если передвижника сканировать, перевести в черно-белый формат, заверстать на типографский целлулоид и вмонтировать в авангардный синтезатор – что получится? Какой образует звук? Полная чушь или все-таки проявится странная мелодия пейзажа? А если – старинную карту работы какого-нибудь Корнея Бородавкина, или Еремея Владыкина, или Михайлы Башмакова, или морского гидрографа Петра Анжу? Вогнать в машину, закрепить боковыми плашками, запустить процесс перевода прозрачной картинки в тягучий звук. И послушать музыку древней Сибири, Китая, Северного моря? Фантастика. Перспектива. Куда там Репину и даже Левитану. Так что решение принято; он не уйдет отсюда, пока они с Колокольниковым вслепую, со взаимной опаской, как два рыбака, упустившие бредень, не нащупают ценовое дно.

Без этой игрушки Мелькисарову не жить, она будет ему мерещиться, сниться, бросать в холодную дрожь, как первое влечение в самом начале любви.

Они обедали во внутреннем дворе; без полых, как выразился Колокольников, под мощной газовой горелкой. Горелка астматически сипела, синее пламя вращалось по кругу, верхнее тепло волной прокатывалось от головы к ногам, холодный свежий воздух успевал коснуться тела и тут же согревался, не причинив особого вреда; сквозь жаркую окалину горелки пахло преющим снегом и мокрой сосной.

– Хорошо ты, Колокольников, устроился.

– А то. Природа. Да у тебя что ль дома за городом нет? ты разве бедный, Мелькисаров?

– Я снимаю. В Переделкине. У писателя. Но как-то не езжу. Чужое.

– Купи свое.

– Лишняя собственность – лишний срок.

– За что? – Колокольников всерьез удивился и почти расстроился. – Ты власти не грубил, по-серьезному не бился, времена сейчас хорошие, чистые времена, только дружи с кем надо и не жадничай. Помнишь, лет пятнадцать назад, на встречи ездили с Макаровым за поясом, то ли вернешься, то ли нет? а что сейчас? Какие беды? Благодать!

– Не знаю, Колокольников. Пахнет какой-то дрянью. Охотником из-за куста.

– Ты это брось. Пахнет ему. Називина закапай. Только, бль, не моего; я для народа делаю что подешевше. Купи настоящего, ноздри прочисть. Откуда запахи? И что за хрень? Я вот выйду утром, воздух понюхать, отхаркну, просморкаюсь, втяну ноздрями кислороду, сплошное амбре! И ты давай принюхайся: денежками пахнет, я от этого запаха сразу кончаю.

Нашел, вообще говоря, с кем откровенничать; потеря чувства собеседника – опасна. Мелькисаров сделал вид, что хохотнул, аккуратно увел разговор в сторону, свернул на любимые аптекарские диеты: хочешь размягчить клиента, поговори с ним о приятном. Вот кровь, казалось бы, а надо ж. Охотники – первая группа! Мяса давай, сексу, бодрости хоть отбавляй! *Вот на меня погляди.* А вторая? Земледельцы, рыба кровь; молочка им, сырку; можно и переспать, а можно и не переспать; вялые они, такая вот у них природа. Третья: в основном евреи. Мелькисаров не еврей, уже установили. Четвертая... да ладно. *Что там, говоришь, машинка? За сколько – за сколько? Не смеши.*

Еду подавала деревенская тетка, с небольшой головкой, маленьким телом и необъятным тазом, чем-то похожая на несущку, испуганно

выглянувшую из корзины. *И плачу недорого, и работу даю соседям.* Жареную стерлядь в сухарях, грибную икру из размоченных зонтиков, ушки соленых рыжиков, *пирожки мои дружки с рубленной молокой,* зеленым луком и картофелем запивали белым бургундским восемьдесят восьмого года. *Иноземного не ем, своеродного не пью.* Папским красным, девяносто третьего, сопроводили молочного поросенка с воткнутой в ноздрю петрушкой и разбухшей гречневой кашей под розовой кожей, самобытного цыпленка, только что с насеста, сельскую скребнину четырех сортов. К чаю был вишневый пирог песочного теста, ноздреватая быстрая сдоба, пышная шарлотка, вся в капельках яблочной влаги поверх дрожащего белка, домашние эклеры и черное пирожное картошка, память пионерского детства. С настоящей сахарной пудрой.

Доев картошку, Колокольников смачно, по-собачьи облизал чайную ложечку – с обеих сторон, довольно улыбнулся, откинулся на спинку, объявил:

– Ладно, хер с тобой, Мелькисаров, что на тебе наживаться. Хорошо посидели, хороший день, хороший разговор: бери. Процентиков десять накни – и получай. Люди мои запакуют, доставят завтра вечером, только скажи куда.

– Ты знаешь, Колокольников, пусть отвезут в Переделкино, на дачу; адресок я оставлю; и у меня будет повод проветриться.

11

Вот и наступил момент расплаты. Жанна для порядка потянулась к сумочке; последовал изумленно-недовольный жест кавалера; что вы, как можно. Иван вальяжно скользнул рукой во внутренний карман, смущенно пожал плечами, растерянно поднял брови. Похлопал по наружным, начал плебейски краснеть: от шеи к подбородку густо и ровно, на скулах и щеках рваными пятнами. Лоб заблестел, сквозь дезодорант запахло терпким потом. Мстительный официант стоял подчеркнуто-терпеливо; в отведенном взгляде и отсутствующей позе было что-то язвительное. Бумажника не оказалось и в задних карманах; под стол – не завалился.

Что же он так возится?

– Ваня, не ищите, я заплачу, потом вернете.

– Нет-нет-нет-нет.

Мельтеша, он поспешил в гардероб; официант отключил нижнюю губу,

как бы выражая Жанне сочувствие: дескать, разные бывают ухажеры, что ж, мы знаем-с, навидались, работа у нас такая. Ей стало страшно неудобно и даже стыдно. Не за себя, а за Ивана. За его пошлую суетливость, за мелочную растерянность, за то, что стал похож на плохого актера, забывшего роль и начавшего бекать и мекать. Почему не прогнал обслугу? Зачем позволил хаму молчаливо глумиться? Ведь умеет же ставить на место? Она видела, он же – демонстрировал!

– Вы-то что тут *расстоялись*? Ступайте, надо будет – позовут! – прикрикнула на официанта, и с ужасом поняла: *оно*.

Будущее чувство неспешно назревало в ней, смутно бродило, но до сих пор не прорывалось. Ей приятно было находиться рядом с Ваней, доверяться ему и его подначивать; не более того. Но в эту неприятную секунду – взяло и выплеснулось наружу; теперь уже обратно не загонишь. За чужим мужчиной наблюдаешь как угодно. Насмешливо, сочувственно, равнодушно. Но гадкое чувство собственного, личного провала может вызвать только свой, который должен быть лучше всех, а вот как неудачно вышло.

12

Как кошку тянет на место преступления, хотя ведь знает, паршивка: хозяйева пройдутся мокрой тряпкой по усатой морде, так Жанна, *позволив себе*, не смогла удержаться. Собственно, и не было ничего; что такого она себе *позволила*? почти пионерские танцы, невинная фривольность, никаких соприкосновений под столом, даже прощальный поцелуй – холодный, с оттенком неудобства. А все равно осталось ощущение измены, послевкусие предательства, чувство незаконного, непозволительного счастья. Особенно ее смутило появление ненужного свидетеля; стоило им, расставаясь, потянуться губами навстречу, как мимо, в темную глубину Потаповского прошмыгнула наглая советская машина, разбитый старый драндулет. И не застенчиво прошмыгнула, дескать, целуйтесь-целуйтесь, мы случайно, ничего не видели и вообще нам не до того. А проехала медленно, на малой скорости, с подлым любопытством.

Войдя в квартиру, Жанна долго отмокала в ванной, смывая налет чужого запаха; жевала жвачку, наливала из мелкой бутылочки корейский протрезвляющий отвар; бродила по спальне, заставляя себя напевать что-то бравурное; нарочито медленно пила чай. В конце концов ноги сами

понесли в Степину квартиру: поторчать на виду, помозолить глаза, виновато поцеловать противного мужа, попрощаться на предстоящую ночь, обезболить зудящую совесть.

На звук открытой двери он не вышел. Позвала – не откликнулся. А куртка, между тем, висит. И туфли стоят. Пробралась изгибистыми коридорами к кабинету; постучала, услышала самопоглощенное «ага», открыла дверь.

Степин кабинет превратился в фотомастерскую; выключен верхний свет, всюду слепящие фонари на штативах, серебрится зонтик отражателя; в центре световых лучей – желтое семейство Пастернака. Степан склонился над тонкой треногой, уткнулся в развернутый зеркальный окуляр.

– Что ты делаешь, Степочка?

– Тихо!

Комната как будто напряглась, озарилась белой вспышкой, и сразу чуть пригасла.

– Кажется, все путем.

– Да объясни же ты мне!

– погоди, не все сразу. Вот перегоню на фотоформу, обработаю, и приезжай в Переделкино, послушаем музыку сфер.

– Не поняла, но ладно, подожду. Я, Степочка, пришла сказать тебе спокойной ночи.

– А. Да. Я рад. Спокойной ночи. Ладно, давай, пока.

Глава шестая

1

Седьмое марта, завтра женский день. Степа говорит, что праздник пошлый, никогда ее не поздравляет, а ей этот праздник нравится. Папа в помятой, сонной и очень домашней пижаме выходит на кухню и вытаскивает из-за углового буфета букетик мимозы (ее в Сибирь передавали со стратегической авиацией; летчики распределяли по частям и гарнизонам). Про букетик они с мамичкой заранее все знают: кухня к утру продышалась мимозой насквозь и как будто даже пожелтела; но все равно это радость. А вечером собираются однополчане, солдатики тащат со склада провиант: квашеной капусты с клюквой и брусникой, соленых огурцов с чесночным духом, зеленых помидоров в мутной жиже, дымится рассыпчатая картошка, салат мимоза пахнет рыбой и луком; на черном подогретом хлебе розовеет и подтаивает сало. Возглашется первый тост за прекрасных дам, с троекратным – офицерским – протяжным гип-гип ура-ура, после пиршества тесные танцы в гостиной, крепкий военный смех. Бубунчик, можно погреться возле вашего крррэпкого супружеского тела? Ах, бубунчик, что вы за прррээльсть.

В Москве Восьмое марта празднуют седьмого. Завтра выходной; сослуживиц надо обласкать сегодня. Жанна встала рано-рано, вышла на бульвар; под ногами чавкает мокрая каша (обещают резкое похолодание, страшно подумать, что тогда начнется); но зато повсюду яркие пятна. Офисные мужичонки тащат вязанки букетов – блекло-желтые мимозы, скрипучие голландские тюльпаны, обреченные розы, которые не доживут до вечера. Почему-то мужчины всегда носят букеты бутонами вниз, как ружья штыками к земле.

Женщинам цветов еще не подарили; они бодро бредут в ожидании тостов, тортов, пьяного обжимания по углам и короткого приступа счастья, который их наклюкавшиеся кавалеры примут за случайный оргазм. Но вот мимо проскользнули две душевные дамы с букетами – белые хризантемы, сизые ирисы. Наверное, перед службой забегают к стареньким советским мамам, целуют в пожухлые припудренные щечки, щебечут, стирают красную помаду, мамы роняют крупные слезы; все очень трогательно, а он говорит – пошлый!

Утренний город перед праздником суетлив и медлителен. Суетлив, потому что надо прихватить подарки, разослать с курьерами открытки; медлителен, потому что машины изнывают в узкой пробке. Слева и справа, в обоих направлениях. Вытянулись друг за другом и мелко семяют, как старые разъевшиеся таксы, мальчик-девочка, мальчик-девочка, нос к хвосту. А за рулем – мальчики, девочки, девочки, мальчики; нервно звонят и курят, открывают затемненные окна, высовывают головы наружу: проскочим или застряли наглухо? попадем мы сегодня на службу, трам-тарарам, или нет?

Завидно. Ей тоже хочется опаздывать, расстегивать курточку в лифте, стягивать ее на бегу, влетать в огромный светлый зал, заставленный стандартной мебелью; скрючившись, переобуваться под столом; трудиться, трудиться, до мурашек в глазах, а потом вертеть хвостом перед коллегами, отваживать похотливых начальников, исподтишка наблюдать за чужими романами и обсуждать их на служебной кухне, за тяжелой бадьей препаршивого кофе. Зашиваться, не успевая к сроку; валяться в истерике, когда хлопотливый шеф, не понимающий, чего он хочет, снова заставляет переделать отличную работу, и высокомерно выговаривает: «Ах, вы полааагали...». Пижонские очки без оправы сдвинуты на мятый пористый нос; то ли молодящийся профессор, то ли стареющий топ-менеджер; смертельно боится жены и тещи, лебезит перед Главным и считает себя недопонятым гением.

2

По Маросейке было не проехать, до Якиманки доползали час, Ленинский был туго забит; сырой и серый снег отсекает обе крайние полосы, вязкая жижа ворочалась под колесами; машины продвигались тычками, десять метров – остановка, десять метров – остановка. О просторе, скорости, обгоне мечтать не приходилось. Голубой «жигуленок» дергался справа, отставая от «Мазды» всего на полкорпуса, но двигался уже из последних сил; бедняге совсем тяжело и тревожно: еще немного – и закипит, отстанет навсегда. Чернявый беспомощно выйдет, снимет крышечку – пар идет. Передавай привет Ульяне! не скучай.

Резные черные ворота отворились; в глубине, подальше от проспекта, желтела усадьба. Они вышли, поснимались с Дашей две минуты; фон прикольный: старинный быт, барский уют, романтика; зацепит – точно.

– Василий, отвезешь красавицу и возвращайся. Понадобисься – вызову.

Посреди раскисшей Москвы дышала легким холодом дворянская зима. На газонах белел вчерашний снежок; аллею вымели вручную, натуральными мётлами, на прикипевших остатках снега отпечатались продольные следы; боковые тропинки, как в детстве, были присыпаны темно-золотым песком. Никаких реагентов, прощай химия, до свидания, сутолока; близкий шум Ленинского проникал сюда неохотно. В гардеробе сидели теплые советские тетеньки в синих халатах, лестницы, как полагается, скрипели; огромный зал на втором этаже был битком набит.

С трудом приткнувшись, – сзади, за трибуной, – Мелькисаров огляделся. Бесконечный, уходящий в перспективу ряд столов, раскоряченной буквой П. Члены Президиума как хитрые апостолы на фреске Семирадского, в предвкушении тайной вечери, расселись по центру, лицами к залу; простые академики – за приставными столиками, в профиль; вокруг, на стульчиках, располагались доктора; стену подпирали аспиранты. В глухой угол забился Арсакьев; помахал издали рукой. Сбоку от стола президиума с неземным, отсутствующим видом присел похудевший Гайдар: общая припухлость, редкие волосики, обаяние гениального младенца. На широченный подоконник плюхнулся приватизатор Алик Кох; лицо неподвижное, глазки стальные; безглаголиво оглядывает толпу; всегда настороже, в полной боевой готовности: дать отпор, отбрить, осадить обидчика. Заметил, криво ухмыльнулся, как своему, хотя бы и отчасти, хотя бы и в прошлом. Бывший путинский помощник, востроносый господин Илларионов, листает блокнотик, готовится задать ехидные вопросы. А вот и адвокат Ходорковского Шмидт; благородная седина, гордая сутулость старого шестидесятника, честные глаза все понимающего еврея. С ним перешептываются пожилые гении и гуру: создатель сотовых сетей Зимин, экономический наставник Ясин; до чего же похожи, как постаревшие братья: насмешливые, крепкие, маленькие, юркие...

Начальство что-то обсуждало меж собой, публика смиренно слушала, скучала; наконец отечный вице-президент заговорил. Голос вялый, высокий, какой бывает у отъевшихся мужчин. Есть наука и традиция, а есть нестандартные случаи, но и они важны для понимания... Добро пожаловать на лекцию известнейшего шведского ученого господина Олафсона. Наушники розданы, русский перевод – вторая линия.

Двери распахнулись, пахнуло электрическим разрядом, в зал влетел короткий человек в черном пиджаке и темных джинсах. Начал говорить с

порога, не успев пробежать до трибуны – так много мыслей, так много мыслей, не утерпел, не донес до микрофона, выронил, но сейчас подберем. Голосок веселый, высокий, летучий, слышно будет отовсюду; выбрит налысо, блестящий бугристый затылок.

– Вот, господа, случилось то, чего не может быть: анфан террибль академической науки – в священном центре русского академизма! И это первая иллюстрация к тому, о чем я буду говорить. А буду я говорить о невозможном как об источнике возможностей.

Швед выскочил из-за трибуны, встал в середину междустоля, театрально развел руки в стороны, стал похож на статую святого-покровителя, взирающего на город с вершины холма, набрал побольше воздуха в легкие, и вдруг как будто поперхнулся. Тихо прозвенел школьный звонок, двери снова открылись, и по залу поплыли пожилые тетеньки. В тех же сатиновых халатах. Но с подколотыми кружевными воротничками и при белых чепцах.

На латунных подносах звякали серебряные подстаканники, ложечки стукались о края стаканов с густо-красным чаем. Не обращая внимания на докладчика, тетеньки обнесли членов президиума чаем, сахаром и маленькими печеньками, перед простыми академиками расставили стаканы и сахарницы – без печеньки; доктора завистливо смотрели на тех и на других. Швед изумленно помолчал, протер свой бугристый затылок, как протирают запотевшие очки, справился с растерянностью, и сквозь постукивание ложечек продолжил тараторить:

– Вот я и говорю. Неприемлемое приемлемо, стандартное нестандартно! Мир, который создавало человечество в борьбе с историей, был миром высокой средней нормы. Экономика нуждалась в гарантиях стабильности, политика подчинялась, нравы исправлялись, но! скажите мне, пожалуйста, друзья мои академики: я ли не швед?

Зал прошелестел нечто коллективное, похожее на равнодушное «кто бы сомневался».

– Значит, о какой машине я мечтаю? Разумеется, о «Вольво», верно? А какая семья меня привлекает? Конечно, шведская. О, вы покраснели. И разумеется, я типовой скандинавский социалист? А как же иначе: вы, я вижу, обрадовались и оживились. С коммунистическим приветом, но пасаран! Теперь коротенькая справка: у меня спортивный «Ягуар», я живу с одной и той же женщиной уже двадцать лет, брею подмышки, интимно подстригаю пах и ненавижу шведские налоги. А при этом сколько стоит моя лекция? Спросите лучше вашего бухгалтера, от жадности он разрыдается в голос. А я поинтересуюсь у него, сколько зарабатываете вы.

Публика зашуршала. Президент академии испуганно замахал руками: ни в коем случае.

– Теперь посмотрите сюда.

На экране вспыхнули слайды. Рыжий подросток, с телескопическими линзами очков, перекошенный от смущения. Крашеная блондинка в бальном платье, с брильянтовой диадемой на груди; в чертах ее прячется что-то мужское, самцовое: а, ну все понятно, трансвестит. Здоровенный плейбой, на гоночном мотоцикле – за спиной мерцает «Bank of New-York». Стареющий мальчик на пляже, впалая грудь, безволосые руки, потертые плавки, кондовые очки.

– Кто они такие? А? Вот первый, прыщавый урод. Девочки обходят стороной, увиваются за крепкими парнями, туповатыми, веселыми, крутыми. Кто может знать, что из него получится Билл Гейтс? Теперь постаревшие девочки, брошенные мужьями или же наоборот, стыдливо покупающие им виагру, кусают локти, щиплют себя за слишком мягкие места: как мы могли проморгать? А так и могли. Потому что вели себя как типовые инвесторы. Вкладывали в привычное. А куш, как водится, сорвала та, которая взяла ненужное сегодня никому. Вот второй... вторая... второе. В школе презирали... полубабу, а он... она... оно... создал с нуля крупнейшую страховую компанию. Теперь внимание, плейбой на мотоцикле. Был отвергнут однокурсниками, изысканными знатоками: слишком брутальный, ловкий и неглубокий – в этой среде ценят неловкость. А он стал главным музейным переговорщиком мира. Между прочим, всюду таскает за собой любимый мотоцикл. В собственном самолете. А последний, последний! это и есть плейбой, вовсе не ученый дядя. Теперь девушки любят таких. Времена переменялись! Смотрите, смотрите, чтоб ничего не пропустить!

Лысый швед вскочил на стол президиума. Подстаканники вздрогнули. Академики подались в сторону. Лектор перепрыгнул за президиум, прополз на коленях к усилительной колонке, приподнял ее (раздался густой электрический гул), вытащил купюру в пятьдесят евро, прыжком возвратился на место.

– Ага! Я надыбал денег – а почему? потому что искал, где никому не приходило в голову. А вы там не искали – и остались без них. Вот так теперь и будет устроен мир, так будет устроен бизнес, так будем устроены все мы. От тебя ждут эксцентрики – стань сухарем. Ты академик? будь героем. Все мчатся на Манхеттен? Беги на Восток. Все на Востоке? Окажись на Западе. Бери в штат тех, кто не лезет ни в какие рамки – результат не замедлит сказаться.

– А как же нравственность? Как же, простите за стандартное выражение, Бог? Где заповеди? – поднялся с приставного места невысокий человечек в сером пиджачке, бородка клинышком. Лицо его было странно знакомо; ладно, вспомним потом, не сейчас.

– Отличный вопрос, просто прекрасный, прекрасный, прекрасный, супер! – Швед счастливо хлопал в ладоши, смеялся, энергично протирал затылок. – Я тут выступал среди наших протестантских конгрегатов, или не знаю точно, как там они называются, я не по этой части. Один милый священник воскликнул: какой ужасный мир вы нам изобразили! В нем же не осталось места церкви! Почему? – возразил другой, кстати, был очень похож на вас, уважаемый господин вопрошатель. Только с такой беленькой штучкой в воротничке. Почему? – говорит. Наоборот. Это и есть наш рынок, все это наши клиенты, будем работать с ними и делать свой духовный бизнес. Остроумно!

Феерический швед продолжал балаболить. Как заправский фокусник, достал из кармана старинный будильник, завел со страшным скрипом, потрезвонил, пробуждая мысли; отобрал стакан с академическим чаем у престарелого академика и нагло допил; уязвленный академик покинул лекцию.

Вопросы. Возражения. Недоумения. Концерт окончен. Занавес. Аплодисменты. Снова встал первоначальный академик, произнес благодарственный спич, подытожил:

– Что же, как писал великий русский поэт Лексанлексаныч Блок, «И невозможное возможно». – Тихий смех в зале. – Поблагодарим нашего уважаемого коллегу за интересные мысли, которыми он щедро поделился, и попросим посторонних удалиться, у нас остались некоторые внутренние вопросы.

3

После радостного утра – тягучий день. Если бы не этот ненавистный Ванин экранчик, она бы вообще закисло. А так – немного почитает, чуть-чуть посмотрит; сделает важный звонок и снова посмотрит; распорядится по хозяйству и опять поглядит. И неважно, что экранчик долго-долго показывал одно и то же: Ленинский, семнадцать. Главное не слезка, а присутствие. Это уже не игра в детектив; это жизненная необходимость, инсулин, валидол и наркотик: наблюдать, как точка по имени Степа

выкатывается из пределов их двора, опасно сияющим шариком ртути прокатывается по бульварам, пробирается в центр обходными путями, где-то замирает на час, на два, на три, снова уходит в отрыв. На своей обновленной авдюшке; нету больше вмятины; исчезла: неужто ради *этой* расстарался? Дурачок.

Без экранчика Жанна отделена и обособлена, равнодушно сдвинута на обочину Степиной жизни; с экранчиком – как будто бы причастна. Непонятно только – к чему. Иногда ей кажется, что она рядом со Степой, в машине; иногда – что он вообще исчез, окончательно перестал быть теплым, живым, превратился в электронную точку, мерцающий значок на серо-голубой панели. А она, Жанна, смотрит на эту подвижную точку не сама; сквозь Жанну и как бы вместо нее за экраном наблюдает Ваня, сличает показания, считает ходы. Он смотрит ее глазами, она думает его мыслями, и продолжать эту тему страшно, сладко и невозможно.

Жанна смотрела, отключалась; крутилась по квартире, как волчок; нигде не сидится, ничто не спасает. Она обезводела, обессилела, не находила себе места. И ноги сами понесли ее в церковь. Обещала же поставить свечку?

Не то чтобы она раньше здесь никогда не бывала; храма русской женщине не миновать. Крестины, свячение пахучих куличиков, масляных яичек и творожных пасок (поздняя Пасха в этом году; «Христос Воскресе» запоют не скоро)... То надо предков помянуть, как подобает, то соседскую бабушку отпеть. Но потребности самой зайти и помолиться Жанна не испытывала никогда, даже если было очень грустно. Церковь – это что-то пышное, красивое, суровое, из древности, но чуть-чуть чужое и далекое. Она наполнит густым гулом дьяконских голосов, певучим бормотанием батюшек, сверкнет тяжелым золотом окладов, снопом искр из кадила, обдаст духовитой историей – и ладно, вроде ты уже и русский, и в России, и среди своих. А чего еще от церкви ждать? А тут она настолько запуталась, так беспросветно отчаялась, что захотелось вдруг зайти и поискать надежду.

4

Толпа ученых медленно стекла по господской лестнице, выплеснулась на приусадебный двор. На морозном солнышке блаженно курил сигарилку Арсакьев; за время лекции похолодало.

– Не прикурите? и правильно, баловство, и вредно, а лекция-то странная. Швед прохвост, молодец, на слабо берет: вот тебе *фанк*, вложи миллиард! повезет, скажу: предугадал, а разоришься: что ж, мы обычные люди, а есть Провидение. Гений; что говорить. Но вокруг-то, вокруг! Что за свинные рылы? неужели я полжизни был таким же? Какой полжизни, больше! бог ты мой! *чертьегознаетчто*. Точно курить не хотите?

– Не сейчас, Олег Олегыч. Не на ходу. Пообедаю, в кресле развалюсь и задымлю.

– Простите, я вторгнусь в вашу беседу. Степан Абгарович, не узнаете? – Это был интеллигент с бородкой.

– Лицо знакомое, и даже очень, но кто и как зовут – не помню. Извините. – Степан Абгарович напрягся; наверное, сейчас попросит денег.

– Томск, восемьдесят третий, вы меня из комсомола исключали.

Так. Вот оно что. Понятно. В сентябре восемьдесят третьего года *контора* накрыла полусекту аспирантов и студентов Политеха. Странные были ребята, много попортили крови. Пили бы водку с шампанским, целовались, делали аборты, ну хотя бы просто, чисто по-человечески, верили в православного бога и читали утвержденные молитвы; нет же; помешались на дурацкой мистике. Сначала подались в буддизм, устремились в астрал; это еще куда ни шло: все тогда интересовались индийским. Затем решили стать посвоеродней. Создали томское братство в честь старца Федора Кузьмича, объявили его царственным гуру. Сочинили самодельную службу, бубнили по ночам нараспев, раздражали соседей: *Радуйся, старче Феодоре, царский венец презревай, многая премудрости веры познавай*. Или что-то в этом роде. Полная чушь.

На исходе лета, когда комар уже не буйствовал, клещ ослабевал, а дожди еще не начинались, уезжали с палатками за город, копали в окрестностях, на заброшенных заимках, под фундаментами сгнивших часовен – искали останки кумира. За вечерним чаем у костра вели монархические разговоры; осуждали революцию и ждали исполнения пророчеств святого Серафима. Что Россия, дескать, возродится, хотя и не будет богатой, коммунисты уйдут восвояси, а там, глядишь, опять появится русский царь. Откуда возьмется? а Бог даст.

Устроили им русского царя. Кто-то стукнул – то ли городские соседи, то ли деревенские пьяницы. Гэбэшники подкатили на уазике к раскопу. Повязали, доставили в управление. На допросах девчонки стояли твердо, только глазками сверкали из-под черных платочков; вьюноши – те размякли. Кто-то дал признательные показания: антисоветский центр, отделение Сибири, возвращение Романовых на трон... В общем, бред;

контора потирала руки. В ректорате случилась паника; от Мелькисарова требовали мер, а он тянул резину. Во-первых, не хотел мараться. Во-вторых и в-главных, генсек Андропов исчез с экранов. Как только наши сбили корейский лайнер, так сразу и пропал. Значит, основательно болеет; если же вождь нехорош, то готовься к полной замене власти; новая метла по-новому будет мести: зачем же бежать впереди паровоза?

Он угадал. Сухощавый Андропов умер; на трон, задыхаясь, забрался одутловатый легочник Черненко. Установки поменялись; гэбэшники струхнули: группа из пятнадцати человек, крупная подпольная организация, как могли проморгать? По головке не поглядят, звездочки снимут с погон. Решили все спустить на тормозах: членов секты исключить из комсомола, аспирантов временно отчислить, пускай послужат в армии. Прочистят мозги и вернуться. Дело свести к самовольным раскопкам. А главное, потише, потише. Не раструбить на всю страну.

Этим *потише* Степан и воспользовался. Девчонок просто отпустили в академку, под предлогом женских проблем; парней он уговорил повиниться, вlepил строгача и сохранил на кафедрах. Только один дурак уперся, решил пойти до конца. Бородки клинышком у него тогда не было. И седина не пробивалась. Но взгляд был такой же, искоса. Голова чуть повернута вбок, бровь приподнята, сектантский глаз горит...

– Что я слышу? Что я слышу? С этого места, пожалуйста, поподробнее. Степан Абгарыч, вы что же, из этих будете, из борцов со светлым-прогрессивным? Не знал, не знааал... – Арсакьев возбудился. – Расскажите-ка нам про господина Мелькисарова. Кстати. Я Арсакьев. Олег Олегович, технарь, бизнесмен, благодетель. А ваше имя-отчество, коллега?

– Недовражин Константин Михалыч, бывший сопроматчик, а теперь художник-грантополучатель. Вы не подумайте, Олег Олегович, Степан Абгарыч меня попытался спасти; я сам предпочел исключиться. И, в общем-то, потом не пожалел. В армию не взяли по здоровью, поступил в универ, на вечерний, получил другой диплом, всю жизнь хотел историей искусства заниматься, потом перестройка, то да се. Остался сам собой и очень даже этим доволен. Вот, в Москве уже столько лет, был женат, сейчас один живу – между городом и деревней.

Наверное, он думал, что сейчас его спросят, почему один – и между; Арсакьева зацепило другое.

– А за что исключили, не тайна?

– За Веру, Царя и Отечество. – Недовражин кратко, сухо рассказал, в чем было дело.

Арсакьев скривил губу.

– Ну знаете, скажу вам откровенно, и я бы вас погнал. Мы таких всегда гнобили. Цари, понимаете, батюшки какие-то, развели мистические сопли, черт возьми, куда ни плюнь, всюду поп! Я как только чую поповский запах, обхожу за версту.

– Так ведь и я некоторым образом беспоповец. – Недовражин искоса взглянул на Арсакьева.

– Но и бог ваш мне тоже не нужен.

– Главное, чтоб вы Ему были нужны.

Слово за слово, они сцепились.

Недовражин набычился, напрягся, по-толстовски заткнул руки за пояс, голову опустил, зыркает исподлобья; Арсакьев заложил правую руку за лацкан, ногу выставил вперед, гневно затряс щеками. Как псы на прогулке, один дряхлый, другой помоложе, но тоже не слишком бодрый; стоят друг напротив друга, лапы раскорячены, шерсть дыбом, утробно рычат, но не спешат рвануться в бой.

Вот, кажется, и развлечение на сегодня.

– Стоп-стоп-стоп, господа! Бог с ним, с этим вашим Богом; у меня хорошая идея. С вами, Константин Михалыч, мы столько лет не виделись, вам, Олег Олегович, на службу не идти, а мне нужно срочно на дачу, туда завезли такую штуку... вам как бывшим инженерам будет интересно. Поедем в Переделкино? Я вам кое-что покажу, пообедаем, поужинаем, заночуем.

Оба неожиданно легко согласились. Набились в машину Мелькисарова; джип Арсакьева поехал следом. Тяжело, как танк, прикрывающий мотопехоту. Ехали осторожно, почти трусливо: жижа начала смерзаться в гололед.

5

– Достойная кормежка, по-советски.

Водитель Арсакьева, Анатолий, надежный, поджарый, но с очень толстыми губами, налегал на салат оливье; вкусно пахло яблоком, жареной курой и густым обильным майонезом. А Василий отдавал должное селедке под холодную картошечку; сам себе он сельдь не позволял, только на выходные: нехорошо дышать на барина селедочным духом. Но тут совсем другое дело.

Степан Абгарыч позвонил, заказал еды в писательском ресторане.

Через полчаса официанты, похожие на рисованных аистов с детишками в клювах, притащили в блестящих судках и коробках: и кислые щи, и салатик, и разный рыбец, и язычок внарезочку, и настоящий серый груздь. Кушайте, сказал Степан Абгарович, что мы, то и вы. Даже разрешил немного выпить: все остаются до утра, сегодня можно. Они с Анатолием прикинули, пусть один будет трезвый, мало ли; бросили монетку; Василию не повезло, ему вообще редко везет. Везучий Анатолий выпил, закусил, и продолжил.

– Мой тоже советское любит. Старая гвардия. Как вернется от французов или япошек, сразу просит: Толя, колбасы! Я в холодильничек, туда-сюда, розовенькой начекрыжу, сделаю бутербродцы, вместе сидим, пьем чай, разговариваем. Ему на юбилей подарили картину: докторская на батоне. С нарезкой, за тринадцать копеек, помнишь?

– Как не помнить. Умели делать хлеб. Не то что сейчас. Разучились.

– А потому что хачики пекут. Говорю тебе откровенно; с моим о таком лучше и не заикаться, выгонит в два счета и выходного пособия не даст. Очень принципиальный человек.

Чугунные батареи шпарили, окна были наглухо забиты, запотели. Анатолий снял рубашку и остался в майке, ярко-белой, чистой и не очень плотной: на груди и на спине ткань прокалывали жесткие волосы, отчего Анатолий был немного похож на ежика; Василий тоже скинул лишнее.

Анатолий спросил сквозь закуску: что за «жигулятина» мешалась под ногами на Ленинском? Приходилось осторожничать. Зацепишь колесом – и не отлепишь. И это на моем, на *англикесе*, а как ты на своем *гитлере* по льду едешь – вообще не понимаю. Сколько хороших парней из-за этих *гитлеров* побилось. Потом, хорошо, свернула. Но такая назойливая, как собачонка: тяфтяфтяф, тяфтяфтяф. Заметил? Василий – заметил. И рассказал, что знал. И про четверку, и про молдаван, и про то, что с недавних пор имеется «Мазда», новая, но картер уже поврежден; фотограф Серега нормальный мужик, но упрямый. Абгарыч говорит: ты объясни, как будешь ставить кадр, что там получится? А Серега – в обидки, играет желваками: «Оператор – не оратор». Мол, лезете в чужое дело. А если ему что-то посоветовать – вообще держись. Надуется, как мышь на крупу, раздует ноздри оружейного калибра, и процедит сквозь зубы: сделаю по-вашему, но вы запомните, какое было мое мнение. Потом поймете. Может быть.

Жара нарастала. Приоткрыли дверь; в коридоре тоже было душно; не помогло. Сняли штаны, остались в трусах и носках.

Зачем хозяину «Мазда» с Серегой? Наверное, решил отсняться для

потомства. Ткскть дембельский альбом. А зачем четверка? Кто их, господ, разберет. У каждого свои тараканы. Эти молдаваны странные такие, чессло. Сначала устроили гонки на льду, а с утра, как ни в чем ни бывало, подходит мужик из четверки. Нет ли, мол, каких ходов в ГАИ, справка техосмотра позарез нужна, а с регистрацией *проблемы*.

– Помог?

– Помог, а чего ж не помочь? Они нормально заплатили. И дали телефон жестянщика, из черных. Дешево! Считай, в два раза. Или даже в три. А качество – во. Поговорили о том, о сем, и досвидос.

– А хозяин что?

– А что хозяин? Он тут ни при чем. Он же мне не говорит, зачем они нужны. Ты пей, Анатолий, не стесняйся. Я как-нибудь потом оттянусь.

– Ну, давай. Опрокидонт Иваныч в вашу честь. – Анатолий деликатно выпил, набрал столовую ложку салата – полноценно, как следует, с горкой; смачно скушал.

И начал стягивать носки.

6

В соседней комнате, щедро обшитой вагонкой – без экономии, внахлест, за круглым уютным столом сидели их господа. Над столом нависали роскошные кисти вишневого абажура; абажур отражался в темнеющих окнах, и казалось, он светит сразу в комнате – и с улицы.

Тут было чуть-чуть посвежее: открывалась скрипучая форточка – с трудом, отколупывая плотную краску; тонкий холод сочился сквозь жар; иной раз в комнату вметало свежий, сдобный снег: не долетев до пола, хлопья таяли. Пили-ели то же самое, что *люди*: под водку – оливье, селедку, белорыбицу, плоские, разлапистые грузди. Арсакьев смотрел с недоумением: как может Мелькисаров жить в такой норе? поздние семидесятые! и ничего не перестроил? А Недовражин оценил добротную верность устоям; все крепко, основательно и просто – литераторский дух сохранен.

По пути на дачу продолжался клочковатый, бестолковый разговор. Арсакьев порицал долгополых; проезжая мимо белой церквушки на кладбищенском взгорье, презрительно тыкал пальцем в массивный купеческий колокол, как бы застрявший в крохотном проеме колокольни: вот! вот! вот! На боковом стекле остались отпечатки. Подарок вашей

церкви от братвы! тоже мне, колокол! голос толстый, как русская баба, а сам, гляди, блестящий, самоварный; не колокол, а дутая голда. Недовражин попытался перебить, прорваться сквозь поток сердитой булькающей речи; сделать этого ему не удалось; Арсакьев говорил, говорил; Недовражин через равные промежутки времени стоически и монотонно повторял: Олег Олегович!.. Олег Олегович, послушайте!.. Уважаемый Олег Олегович!.. Но тщетно. Старика задело за живое, он токовал. Пока внезапно не умолк, как будто захлебнувшись собственным гневом. Раздраженно уставился в окно.

Они катились вниз, вдоль кладбища, по направлению к мосту через мелкую речку; пейзаж был черно-белый, без оттенков; от сухого малоснежного мороза слегка побаливала голова.

Недовражин захватил инициативу. И заполнил салон своим неуступчивым голосом; интонация у него была странная, ровная, без подъемов и спадов, на одной-единственной ноте, речь сливалась в жужжащий поток, как чтение мантры в буддийском храме. Начиная волноваться, он словно бы вытягивал слова; произносил: закрылося, началось, сказалось. Недовражин объяснял, что церковь церковью, а вера верой. Что Бог не идея, а личность. Как только, хотя бы разочек в жизни, *получилось* ощутить – Он здесь, например, увидеть дымный след на лесной дороге, когда рассветает, и никогда уже не сможешь оторвать свой взгляд, не успокоишься, пока не отыщешь, ну где же Он. Как любовь, когда вдруг открываются глаза, и женщина сияет, и ты без нее не можешь, и только твоя, твоя, твоя...

Недовражин! Недовражин! Недовражин! – теперь Олег Олегович не мог проскользнуть сквозь клейкий поток недовражинской речи; не выдержав – распирало! – набрал побольше воздуха в свои небольшие легкие, и на крике направил богоборческий стих поперек богословских восторгов: *На Страшный суд разборки ради, эпоху выкрикнув мою, Бог молча вместе с нами сядет на подсудимую скамью!*

Они заговорили параллельно. Бог милостив – а дети гибнут – но райское чувство быть рядом – мировые катастрофы, рак и смерть – дьявол – дьявола нет, есть ужас неизбежного конца... Но едва Василий мягко сбавил скорость и медленно въехал в проем деревянных ворот, как спор замер сам собою. Слишком тяжело темнели старые ели; вокруг было тихо, до звона в ушах; вчерашний снег, схваченный быстрым морозом, податливо крошился под ногами. Железная лопата воткнута в сугроб. Желтый разлапистый веник лежит у порога...

Благодарь.

Оглядевшись, они устроились на первом этаже; на второй

Мелькисаров почему-то не позвал; сели вечерять. Поначалу вели себя светски, до приторности прилично: передайте, пожалуйста, перец, вам освежить бокал? здоровье хозяина, ну давайте, Мелькисаров, что уж. А швед-то, швед... Но постепенно, как сырые дрова в камине, разговор их снова стал дымить и припахивать гарью; весело и нагло разгорелся; жарко, беспощадно запылал.

Арсакьев неумолимо наступал, а Недовражин стоял на своем, не сдвигаясь.

– Ну бабки, ну тетки, ну мужички с их лобзиками и выжиганием по дереву, – тряся своими обаятельными щечками, кричал один, – ну еще туда-сюда, куда ни шло, а вы-то, эт-самое, образованный человек и даже бывший инженер, вас-то как потянуло на ладан? зачем книжки читали, наукой, понимаете, занимались? И на что вам сдался этот Бог? От попов вы отказались, понял, хорошо, похвально; Бог – зачем?

– Не зачем, Олег Олегович, а почему. Потому что только Он – и есть. Лучше вы скажите, как вам живется без Него? Вы старенький уже, а не боитесь. Ставили большие цели, детей растили... почему же в петлю не полезли? Все кончится и рухнет вникуда... От вашего прогресса кошки на душе скребут, вся жизнь – сплошное ожидание смерти, мечешься в темноте, не знаешь, как выскочить к свету, только деньги, деньги, деньги, деньги, сплошная тоска.

Услышав слово «деньги», Арсакьев задохнулся; да что интеллигенты понимают в деньгах? даже ударение правильно поставить не умеют, кичатся бесполезным знанием, а говорят – деньгами, деньгах; у денег своя философия и своя, эт-самое, мистика: деньги как ревнивые девушки, если вы их не любите, они вас тоже не полюбят. Иждивенцы! все убеждены, что мир им должен, кто-то обязан кормить, обслуживать потребности, добывать, а их дело – презирать добытчика. – Приятели Арсакьева затеяли нехилую премию, для общественной пользы; звучали красивые речи, академики шаркали ножками, вежливо благодарили; на торжественном фуршете, по тем временам вообще роскошном, да и по нынешним тоже ничего, к нему подошел профессор, лучший друг лауреата. В подпитии, веселый и размякший. Седоватая бородка, вроде недовражинской, розовые скулы, невымытые волосики и ужасные вставные зубы, запах тухлой кошки изо рта. Но упрямый и прилипчивый: от него отодвигаешься на полшага, он тут же опять придвигается. И плотно так дышит. Хорошо хоть не крутит пуговицу. «Удивительное дело, – говорил профессор, – вы, так сказать, бизнесмен, почти, можно сказать, банкир, а в общем-то культурный человек, вот парадокс». Хотел похвалить. У Арсакьева случился криз.

Недовражин отмахнулся от сюжета; дураков везде хватает. Но деньги, деньги – дело другое; об них, пожалуй что, поговорим. О том, например, как люди живут в городках – и чем меньше городок, тем ужасней; умные люди, между прочим, как вы изволили заметить, образованные. Когда вас, Олег Олегович, последний раз кормили серой сарделькой и скользкими рожками, а вы при этом угорали от стыда, что объедаете детишек? Не помните? понятно; ваше золотое гетто высоко, стоит на сваях, не дотянешься. А Недовражин недавно побывал под Вологдой, в заштатном городишке, у старого друга-музейщика; тот после работы затащил к себе, а Недовражину, полному, постыдному идиоту, и в голову не пришло прикупить чего-нибудь, хоть колбаски.

Поднимаются они по сколотой лестнице, краска съедена грибком, нависает, вот-вот обвалится. Жена встречает напряженно; стыдится того, как живут. Обтерханные обойчики, с темными сальными пятнами, помоечный стол, клееный буфет образца шестидесятых, на полу проплешины. Из соседней комнаты, беззащитно улыбаясь, выходят прекрасные дети, девочка в зеленом байковом халате, лет восьми, и пятилетний мальчик, золотушный, как в классическом романе девятнадцатого века про жизнь бедноты.

Зовут поужинать на кухню; на столе кастрюля со слипшимися макаронами и эти самые раздутые сардельки, даже он забыл, что такие когда-то были, без малейших признаков мяса. Приятель – он как небожитель, ничего не замечает, на быт ему решительно плевать; он радуется встрече, рассказывает про свои раскопки, наливает дешевого пива; а быстро постаревшая жена свела свои когда-то красивые плечи, упрямо молчит; дети едят жадно, быстро, и в полном восторге от печенья, которое положено к жиденькому чаю.

– Проникновенная история. Вы, эт-самое, Константин Михалыч, отлично выжимаете слезу. В политике не пробовали силы? Но конкурсов, конкурсов-то – для ваших, для музейных, уйма! Ваш приятель на них чего ж не подает? Гранты, гранты есть?

При упоминании грантов Недовражин поежился, но промолчал.

– Или подает, но выиграть не может? Тогда, быть может, все не так и страшно, а? не повсеместно? Деток жалко, да, но детки вырастут и сами заработают, а если он про них не думает, витает в облаках, то кто же виноват?

– Хорошенькая философия, нечего сказать. В духе нашего гнилого времени.

– А давешнее было не гнилое?

– Так я и говорю: что желтый дьявол, что красный – нам все равно!

Недовражин перестал возражать отдельными тезисами; на всякий довод Арсакьева приводил пример из личной жизни. Как было сказано, он, Недовражин, три дня в неделю проводит в Москве, насыщается идеями, сверяет, так сказать, часы; и возвращается в деревню. Так вот. В наследство от тещи ему досталась квартирка, дряхлая, шумная, душная, окна выходят на Волоколамку, зато своя и сравнительно близко от центра. Двадцать пять минут на метро, и ты уже в Ленинке. Сорок – в Академии наук. Тридцать – в Пушкинском. Но не в этом дело. По ту сторону проспекта, ровно напротив балкона – череда высотных зданий; при советской власти на здания вешали лозунги, а по серьезным праздникам зажигали окна, в особом порядке, чтобы получалась электрическая надпись. Теперь на крышу водрузили гигантские буквы. Раньше светилось: «Партия – наш рулевой». Сейчас горит: «Возьми от жизни все». Мы до земли обетованной не добрались; остановились у подножия Синая, разбили палатки, поставили тельца и пляшем. Были рабами, рабами остались. Сменили господина, вот и все.

Арсакьев авторитетно возразил: да нету никакого дьявола; ни красного, ни желтого, ни серобурмалинового; уж я-то знаю. А что же есть? Есть труд и доверие к жизни. Вот вы про нищего музейщика – а я о знакомом полкане. Его в перестройку турнули из армии; боевые товарищи пошли с плакатами Союза офицеров, даешь, долой и проклинамс, а он подумал, подумал и пошел в другую сторону. Набрал знакомых прапоров, их обширных жен усадил за швейные машинки; купил задешево отличный парашютный шелк, все равно пойдет на половые тряпки – и стал шить комбинашки. Отличные, кстати. Сексуальные, как говорится. По западным лекалам. Молодые бабы в девяностом – девяносто первом партиями купали; им до смерти надоело носить потертые хлопчатые рубашки и чесучовые штаны; полкан их, считай, осчастливил. И они его, скажем так, в полете не оставили. Полкан сиял, как медный самовар. А ведь мог до серых сарделек дойти. Вполне себе мог.

Широкий абажур накрывал своим вишневым светом почти весь стол; за пределами стола чернела тень. Арсакьев сидел в тени, но размахивал руками под лампой; они казались отделенными от тела, как руки кукольника, задрапированного в черное; иногда он резко подавался вперед, и в зону освещения попадали нос и губы. Недовражин был на свету; он слегка наклонился и подпер щеку. И все грустнее, без порыва, возражал; скорей с недоумением, чем зло: ну почему, ну почему же все так глупо вышло? Задумано-то было по-другому! Ведь он историк, а не военный и не

швея; его учили не трусы строчить, а развивать науку. Ну да, у Арсакьева есть козыри, и сильные, против правды не попрешь; с научными прорывами беда, согласен. Но кто тут виноват, я спрашиваю вас, кто виноват? Сначала цензура, потом выживание. Ученики – кто в бизнесе, кто за границей. Самый способный ученик Недовражина, Филипп Цветков, второй Эйдельман, работает в банке, занимается этим, пиаром, можно сказать, купается в нечистотах.

– Но послушай, Недовражин! Ты брезгуешь, ты зажимаешь нос. А он эту грязь, из которой история сделана, руками пощупал. Вам нужно, чтобы событие умерло, тогда вы можете его изучать. А пока оно живет, пока от него пахнет потом, кровью, иногда говном, вы его брезгливо обходите: фи, как можно-с!

Мелькисаров помалкивал, слушал вполуха; он понимал, что в этой схватке никто не победит и никто – не проиграет. И терпеливо ждал, когда словесный поток подернется слоем остывающего пепла и можно будет опробовать музыкальную силу СНХ/АНС.

7

Храм, витиеватый и старинный, но по счастью не суровый, не холодный, обслуживали иностранцы. То ли греки, то ли болгары. Жанна в точности не знала, что значит надпись на табличке – Антиохийское подворье. Но много раз на Пасху, перед освящением яиц, и куличей, и пасок наблюдала, как за храмом бродит жизнерадостный поповский начальник, похожий на великана-волшебника из первой серии кино про Гарри Потера. С черно-седой бородой, непокорными волосами и утробным голосом. Он гулял по тесному дворику, как хороший пловец плавает в двадцатиметровом бассейне – туда-обратно, туда-обратно, а иногда по бесконечному кругу. Время от времени великан останавливался, доставал из кармана рясы булку, приманивал голубей и зычно разговаривал с ними на каком-то южном языке. Иногда звонил мобильный; голуби на всякий случай вспархивали на скат колокольни. Архиерей доставал трубку, шумно сдувал с нее крошки и голосисто отвечал на звонок: «Христос анести!».

Сегодня двор был решительно пуст; сырой, похолодавший воздух потянулся за Жанной внутрь теплого храма, качнул огоньки свечей на массивных подсвечниках и в огромных лампадах мутного стекла – синих, зеленых, бордовых. В храме было прохладно и гулко. Две незаметные

тетеньки протирали стекла обширных икон, соскребали специальными щеточками маслянистые натеки воска. Третья возилась с ковром: подтягивала его за один конец, за другой, никак не получалось разложить ровно. За свечным ящиком сидела молодая крепкая женщина в платочке, читала толстую старую книгу. Должно быть, писание. Вялый мужчина с длинными волосами благочестиво шатался без дела.

Батюшек в храме не было; Жанна пришла между службами. Она подняла глаза; сквозь проемы, чуть пониже купола, падал медленный свет; несколько косых лучей стекались в общий поток; поток струился вниз и невесомо замирал у царских врат.

В полной, почти непроницаемой тишине раздалось движение, на приступочку перед вратами поднялось три женщины и четверо мужчин; один из них казался крупнее во всех отношениях, и внешне и внутренне, как будто бы он ясно сознавал свое право руководить остальными, а они это право за ним заранее признавали. Крупный выстроил всех в кружок, развернул на пюпитре тетрадочку, внушительно прокашлялся, театрально протер очки и стукнул металлической палочкой о камертон. Поводил камертоном возле уха, как модная покупательница водит надушенным краем кисти перед носом, чтобы настроиться на запах; привзмахнул полноватой рукой, прогудел что-то вроде «ти-та-та», и хор приступил к репетиции.

Не все слова Жанна хорошо различала, да и хор то и дело сбивался; дирижер своим утробным рыком обрывал голоса, заставлял начинать сначала; иногда разряжал атмосферу шуткой, прямо поперек молитвы, они улыбались и продолжали вдохновенно петь. Этот рык и эти шутки чуть-чуть смущали Жанну, но со своим уставом в чужой монастырь не лезь, а в целом было очень хорошо, даже захотелось плакать. Мужской серьезный голос сурово тянул за собой женские – вверх, под купол, к небу; они летели за ним, не всегда попевали, таяли в световом столбике, снова вспыхивали.

Одна из теток, очищавших свечные потёки, тоже заслушалась; оперлась локтем о подсвечник, застыла античным изваянием.

Зазвонил телефон; не смущаясь молитвенным пением, продавщица книжек и свечей (ну как же, как же тут все правильно называть?) позвала:

– Семеныч! Тут насчет отпевания, подойди.

Хор продолжал репетицию. Пели про благочестивого разбойника, которому (или который?) приносят жертву вечернюю.

Из подсобки вышел веселый мужчина с очень красным лицом и широкими щеками.

– Слушаю. Ваш покойник? Ну покойница, теперь уже без разницы. Во

сколько на кладбище? Не на кладбище? А куда же? В кре-ма-то-рий? Э, милая моя, нету такого православного обычая, в крематорий. Ну не знаю, как быть. Твоя покойница, тебе решать. Да. Нет. Ну, имеешь право, имеешь право. Если батюшка прикажет – сделаем. В церкви, мать моя, как в армии, приказы не обсуждают. Хор какой оплачивать будешь – малый или великий? Певцов, говорю, тебе заказывать или старушек наших созовем? Что? Громче, говорю, громче, не слышу!

Хористы взяли какую-то уж совсем запредельную ноту, молитва наполнила храм до краев; широкощекий навалился на трубку, зажал другое ухо ладонью, а все равно никак не мог разобрать, что ему говорят.

Захотелось поскорее отсюда уйти, пока на сердце осталось хоть что-то от начального подъема, как легкое золотое напыление на серебре.

8

Они переместились на второй этаж, в бильярдную; Мелькисаров медленно, неспешно, разминал гостей, выжигал из них посторонние мысли, психологически готовил к чуду своей музыкальной шкатулки – так он про себя называл теперь комнату, где разместился синтезатор.

В бильярдной тоже сохранился прежний антураж, сановная писательская радость. При входе – клетчатый стол с безразмерными шахматами; в дальнем углу ломберный столик с маленькими креслами, для долгого ночного покера; посередине, под излишне яркой лампой, гордо стоял темнозеленый бильярд с шарами из слоновой кости, похожий на футбольное поле, каким его снимают с вертолета на трансляциях футбольных матчей.

Арсакьев с Недовражиным, не переставая мирно переругиваться, затеяли партию в шахматы; Степан Абагрович, убежденный картежник, наблюдал с непониманием. Недовражин привычно лягнул бизнесменов за то, что сначала легли под бандитов, а потом сладострастно отдались чекистам; Арсакьев смолчал, а Мелькисаров неожиданно сорвался. А помнит Недовражин девяносто первый год, когда закладывалось будущее – на десятилетия? Про вопли своих сотоварищей – помнит? Кто тогда стонал про гуманизм и всепрощение? Не бизнес вопил, это точно. Бизнес деньги учился делать, а с властью говорили – вы. Чего хотели, то и получили. Требовали: сделайте нам красиво! На вопрос – за счет чего? – брезгливо морщились! Клялись на митингах: хотим свободы, свободы, свободы;

ничего нам больше не надо, дайте только воздуху в легкие набрать! Набрали. И тут же занули: да ну ее, эту свободу, желтый дьявол, красный дьявол, денег хотим и покоя, возьмите свободу обратно. Хорошо же; забрали. Вы опять недовольны. Пошли искать третий путь, нашли в итоге пятый угол.

Недовражин отвлекся от шахмат, сел на краешек стула, закрутил ноги косичкой, сплел руки, подался вперед. Грусти нет, есть только ярость; сектантский глаз сверкает. Это что ж, интеллигенты получили нефть и газ, промышленность и земли, и ничего не дали стране взамен? Они подкупили суды и разлагали чиновников? Или может быть, интеллигенты думали о собственном кармане, когда начиналась война и деток наших бросали в пекло? Интеллигенты покупали телеканалы и ставили в эфир разврат и ужас, потоки крови вперемешку с гноем и спермой, потому что это было выгодно? Вот и получите нынешнее время. То, что было вашей практикой, стало общей философией. Всякий, кто крадет, должен бояться. Всякий, кто боится, может красть.

– Мелькисаров, хватит спорить. Бесполезно. Я старенький уже, у меня нервы сдают, эт-самое. А вы, молодой человек, перестаньте плевать. У вас изо рта слюна летит, противно. Мелькисаров. Вы же нам сюрприз пообещали? Мы зачем сюда, за истиной приехали?

– Вы такой мирный стали, потому что вот-вот проиграете, – подцепил Недовражин.

Но только Мелькисаров собрался широко, вольготно распахнуть двери в соседнюю комнату, как снизу раздался звонок. Хриплый, требовательный: да открывайте же быстрее, сколько я буду вас ждать!

9

В распахнутые двери ринулась снежная пыль; все это время шел ровный, методичный снег; двор замело; поднялся ветер, подсвеченный фонарями воздух стал сверкающим и непрозрачным. На пороге стоял Боржанинов, писатель, из бывших, советских. Известный; живет на деньги с переводов и еще сдает огромную московскую квартиру, на Тверской, в знаменитом доме Большого театра. Лохматая шуба распахнута настежь, на голове разлапистая шапка; Боржанинов походил на барина – с мороза. Голубые глаза уже начали выцветать; рыжие брови свисали кустами; крупный картофельный нос был залеплен пластырем телесного цвета:

наверное, выдавлен чирий. Рядом крутился чернявый парнишка, с обильной проседью, лет сорока пяти; Боржанинов не обращал на спутника внимания.

– Сосед, у тебя сегодня наливают? А то мы на кладбище были, промерзли. В ресторан неохота, а дома запасы вышли. Доченьку вот навещали, бедную мою. А до этого ездили к зятю. Хорошо, теперь на кладбищах фонарики, все видно. – Боржанинов говорил зычно; оплывающее «л» похоже было на польское «в»: квадбище, свучаем; говорил он неспешно, со вкусом, каждое слово звучало отдельно; чем-то он был похож на Максима Горького каким его изображают в кинофильмах, только без пышных пролетарских усов.

Домашняя жизнь Боржанинова обрушилась два года назад. Он был ранний вдовец – и второй раз не женился; любимую дочку вырастил сам, в двадцать пять по-хорошему выдал замуж. Но до конца отпускать не хотел, при первой же возможности примазывался к жизни молодых. Они отправляются в отпуск – и он покупает путевку; они решают в выходные прокатиться – то во Псков, то в Ярославль, то в Нарву, Боржанинов тут как тут: ребят, у вас машина низкая, модная-крутая, не для наших дорог; давайте поедем на джипе, я поведу, а вы расслабитесь. Ребятам отказаться неудобно, он и рад.

Той ночью боржаниновский «Лендровер» рассекал обледенелую минскую трассу. Трасса была освещена одноглазо: фонарь то горит, то погашен, из яркого пятна ныряешь в темный провал и снова вылетаешь на свет. Крупный снег слепил отраженными бликами; выныривал из черноты и мутно облеплял стекло. Боржанинов вел осторожно, тише едешь – дальше будешь; куда торопиться, успеем. Любимое его присловье было: Бог создал время, и создал его достаточно.

Надвигалось утро, машин становилось все больше; мимо просвистела мощная пятерка «БМВ», резко вильнула вправо, влево, обошла еще двоих тихоходов и растворилась в темноте. Боржанинов даже позавидовал: бывают же решительные люди.

Километров через десять они увидели ужасную картину: вверх колесами, как мертвый зверь с подогнутыми лапами, поперек дороги валяется та самая пятерка; гигантской гусеницей в придорожные кусты сползла почти неповрежденная фура.

– Папа, не спеши, давай посмотрим! – сказала дочка; зять ее поддержал: заодно водички купим, вон светится киоск, очень хочется пить. Боржанинов медленно затормозил, аккуратно съехал на обочину; и зачем он только это сделал! Постояли, поглазели. Зять оценил обстановку:

никого. И – перебежал дорогу. Согнувшись пополам (он был парень высокий), просунулся в торговое окошко, забрал бутылку минеральной, побежал обратно. Но не рассчитал. Поскользнулся, выронил бутылку, хотел поднять. В это время на встречу вылетела мелкая «Шкода»: огибала разбившийся джип. Зять не успел до конца разогнуться, говорят же: высокий, у них это долго; раздался скрежет, неплотный шлепок, вскрик; парня подхватило, подбросило, швырнуло – как будто тело подняли на рога. Он негромко упал на землю – лег неправильно, неудобно; не шевелился. Дочка завизжала – на пределе голосовой силы, и, не видя ничего, метнулась к мужу. И тут – нешипованный «Опель». Раздался тот же страшный звук, который не забыть, не сбросить из памяти. Не добежала... А ведь она уже носила боржаниновского внука, вот какое дело...

Вместе их похоронить не получилось. На тесном переделкинском кладбище было место только для Лёльки: гроб в гроб, в одну могилу с матерью. Зятя тоже можно было положить, но в урне. Свекор со свекровью кремировать сына не согласились, увезли к себе, недалеко, на Востряково. Дети легли поврозь.

Боржанинов и так выпивал регулярно; просыпался ровно в шесть, минута в минуту, без признаков похмелья, сразу же садился за работу; увлеченно писал до обеда. А после обеда и до самого сна – бесперебойно квасил. Через его рабочий кабинет была протоптана белесая дорожка: от письменного стола до журнального столика возле дивана, наискось. Тут всегда стояла поллитровка, граненая толстая рюмка на округлой ножке, а в маленькой миске лежали черные сухарики. Изредка – соленый огурец. Выпил, хрустнул, вернулся за стол. Через полчаса – по новой. И опять... А после пережитого он запил вообще по-черному. Заранее отпер входную дверь, чтобы могли входить ученики и прихлебатели, которые окружали его все последние годы, задернул в кабинете занавески, перестал включать верхний свет, только засвечивал тусклую настольную лампу; сидел взаперти, как сыч, и тупо напивался в одиночку.

Девять дней он пропустил. Когда за ним заехали бывшие родственники (поминки отмечали у них), Боржанинов был невменяем. Молча смотрел, шевелил бровями, сопел – никого не узнавал и встать с диванчика не смог. Свекор, бывший моряк, раскатисто матюгнулся – и накануне сорокового дня приехал к Боржанинову заранее: ночевать и выводить из запоя, чтобы тот хотя бы день продержался, для приличия. Прогнал прихлебателя, заставил выпить литр рассола, перемешанного со спиртом, соком сельдерея и тремя столовыми ложками табаско; отер махровым полотенцем обильный пот, насильно уложил – и сам улегся рядышком, на раскладушке, чтобы

ночью ни-ни, только воду.

Ровно в пять Боржанинов проснулся, прямо в тапочках вышел во двор: на каком он свете? почему так худо? Свекор обувался и чуть-чуть отстал; торопливо распахнул входную дверь и увидел Боржанинова у крыльца на коленях. Допился? сердечный приступ? Нет. На крыльце лежал любимый Лёлькин рыжий кот, Блохан. Лапы раскинуты, глаза остекленели; как будто внезапно ударил мороз, кот на ходу застыл: ткни, и расколется.

Двенадцать лет назад Боржанинов нашел Блохана возле переделкинской помойки; рыжий скелетик, облепленный мухами, даже пищать не мог. Сердце не камень; котенок был брезгливо завернут в носовой платок и доставлен домой; вечером они с Лёлькой устроили ему купание в железной миске. Мокрые кошки скукоживаются, становятся похожи на гомункулусов; от тощего Блохана вообще ничего не осталось, куриная шейка с отростками, облепленная шерстью. Было позднее лето, они занимались водными процедурами на свежем воздухе; в миске, как маковая крошка, чернели сотни блошиных точек; полудохлые блохи с трудом выпрыгивали с полотенца, увязая в махрушках; омовение пришлось повторить.

Блохан, избавленный от неизбежной смерти, вырос жирным, наглым самураем, держал под контролем всю кошачью округу, но дома вел себя нежнее нежного. Особенно с Лёлькой. Когда она в детстве уезжала на лето, демонстрировал сущую мрачность, поворачивался к Боржанинову задом и презрительно подергивал кончиком хвоста; Лёлька возвращалась, загорелая, подросшая, и кот безумно метался по дому, вспрыгивал на диванные подушки, выгибал спину и скакал наискосок по комнате, отталкиваясь всеми четырьмя лапами (Лёлька называла это: прыгать скандибобером). Она повзрослела, переехала к мужу; Блохан приучил себя ценить ее воскресные приезды, и в каком бы загуле ни был, какие бы романы ни закручивал, за полчаса до появления хозяйки лежал в прихожей и вылизывал лапы. Лёльку к мужу ревновал, при первом его приближении забирался на шкаф и сверху шипел: ненавижу!

Вечером того катастрофического дня Боржанинов приехал из морга, налил себе первый стакан, выпил мелкими глотками, торопливо; Блохан вскочил ему на штанину и повис. Стряхнуть кота не получилось; он пропорол железными когтями кожу, тонко, болезненно; кота трясло, как температурного больного. Ночью он стал истошно выть, как перед случкой в полнолуние; Боржанинов, не допившийся еще до полного бессилия, вышвырнул кота на улицу; тот исчез. А на сорок дней вернулся – и подох.

Потрясенный Боржанинов прекратил запой. Стал пить по-прежнему:

спокойно, регулярно и умеренно. А в новом романе, получившем все главные премии, рассказал историю погибшей дочери, ее любимого кота – и свою. Разумеется, не прямо. Но кто знал, тот понял.

10

Боржанинов ухнул в кресло; парнишка пристроился сбоку, на стуле.

– Мое почтение. Я Виктор Антонович. Боржанинов. Сочинитель. С кем имею честь?

Гости ответно представились.

Зная Боржанинова, Мелькисаров не стал мелочиться, налил ему полный стакан. С правильными гранями, зеленоватый. Боржанинов поднял стакан, полюбовался на просвет, поочередно, пристально посмотрел в глаза присутствующим: здоровье – ваше, со свиданьем! неспешно выпил половину, немного подумал, вкусно закусил грибом.

– А грибы-то солить разучились... Подсобнику что ж не налил?

Подсобник повторил все жесты Боржанинова, но с некоторым, что ли, ускорением. На четверть такта побыстрее, посуетливей. Выпив, по-народному поморщился и поскорее захрустел капустой.

Мелькисаров заставлял себя изображать радушного хозяина. Виктор Антонович то, Виктор Антонович сё, а вот салату, и над чем работаете? Хотя был зол невероятно: ситуация созрела, надо начинать эксперимент, и тут является Боржанинов, надутый, как сапог на самоваре. Арсакьев с Недовражинным вежливо молчали. Общий спор их понемногу сблизил; перед лицом новоприбывшего, чужого, они окончательно ощутили себя – своими. И напряженно ждали, как поведет себя незваный гость, впишется в компанию, разрушит атмосферу – или просто скользнет по поверхности и пропадет без следа.

– Хороший денек, голова не болит; не болит голова – это счастье, – сказал Боржанинов.

Пауза.

– Над чем работаю? Роман пишу.

– О чем?

Мелькисаров сделал заинтересованное лицо. Боржанинов удивился вопросу.

– А о чем еще романы пишут? О любви.

Арсакьев не сдержался, уязвил:

– Оригинально.

Боржанинов предпочел ехидства не заметить; начал обстоятельно рассказывать про замысел. Уже не ждал, уже не ждал, думал: все уже было, все перепробовал, двадцать три романа, четыре пьесы, шесть инсценировок, дважды государственная премия... А тут слетал к швейцарскому издателю, в Цюрих, швейцарцы его что-то полюбили, практически каждый год издают; сел на улице чаю попить. До обеда был отвесный ливень; толстые капли взрывались на подоконнике; после трех воцарилась жара. Молодая зелень вся во влажной дымке, столы на берегу покрыты водяной пленкой, как холодным потом, официанты не успевают протирать. Перед глазами ровное озеро; над его равнодушной гладью мечутся жадные чайки и хрипло кричат, как старухи. И тут за соседний столик садятся двое... сразу все и завязалось.

– Мелькисаров, а что ж мы не пьем?

Боржанинов снова заглянул в глаза собеседникам, выпил сам, скептически понаблюдал, как пьют они – кукольными глотками, из своих мелкотравчатых рюмок, позаботился о *подсобнике*.

– А? каково? Дальнейшее – как на ладони. Вся жизнь разворачивается – сама собой, ничего придумывать не надо.

– Забавно, забавно. Но у меня, простите уж, я старик, характер портится, нормальное дело, так вот, у меня вопрос. Вы вправду, что ли, думаете: можно предсказать судьбу? Не придумать, как вы – талантливо, не сочинить, а предсказать? Услышал, увидел – и понял, как дальше?

Боржанинов (он заметно охмелел) недобро улыбнулся.

– Конечно, можно. Хотите я сейчас устрою сеанс всеобщего разоблачения? всех вас посчитаю? Хотите?

– Виктор Антонович – может, – восхищенно прошептал парнишка.

– Ну-ка, эт-самое, давайте! Вы же, черт возьми, инженер человеческих душ, или как там говорится, сердцевед.

– Секунду, минуту, пардоньте! Куда нам спешить в такую жару.

Боржанинов снова поднял долитый стакан, звучно, отмеренно выпил, отмечая лебединым упаньем каждый глоток. Сделал губы бантиком, причмокнул, зажевал божественный напиток осетром. Его выцветающие зрачки совсем побелели.

– Про подсобника не забывай, будь ласка. Итак, начнем, пожалуй. Вы ведь господин Арсакьев?

– Я – Арсакьев. Дальше что?

– А дальше то, что вы живете уже вторую жизнь. В первой, думаю, вы были конструктором, изобретателем, или этим, как его, ра-ци-о-на-ли-за-

тором. Вот как ваши ученые глазки блестят, все им интересно, такие буравчики, ух! Такие бывают только у кон-струк-то-ров. Я знаю. Вы очень любили поэта Евтушенко, точно говорю? А Евтушенко здесь живет, неподалеку, знаете об этом? можем заглянуть, он богатеньких любит. Вы же теперь богатенький, верно? Но не вор, не вор. Нету в вас... замашек. Это видно. Но тех, которые без денег, вы презираете. Слегка, но презираете, ведь правда? А почему? А потому, что пролежни насиживают. Вот вы смотрите на меня, делаете вид, что уважаете, а сами думаете: сволочь! сволочь! живет в поселке Переделкино, за три рубля, по разрядке, и водку занимает у соседей. Да, я живу. – Боржанинов юридски поклонился. – Живу. И занимаю. И попробуйте только не дать. Я вам не дам.

Любовного сюжета я вам – Арсакьев, так? не путаю? – не нагадаю. Нет у меня для вас любовного сюжета. Ну, не обижайтесь, поздно уже вам. Хотя вы были убежденный... лесбиян, и женщины вас ого-го... но в прошлом, в прошлом. Вот если бы я писал про вас роман, я бы что сделал? А то бы сделал, что прошлое бы вас накрыло. Вы бы убежали... переодевания, грим, поддельный паспорт... в Лондон... а там бац, и начинается трагедия. Потому что вы, Арсакьев, ничего не знаете про ад. А я знаю. Ад – это когда все можешь и ничего не нужно. В молодости мечтал: то куплю, это, и там побываю, и здесь, и всех обыграю. Ну купил. Ну обыграл. Потом и тебя обыграли. Гуляешь в Трафальгарском парке, золотая осень, зеленый газон, безопасность, денег хренова туча, а все неинтересно и не нужно, и ты в ловушке, в настоящем аду. А ведь жизнелюбие... куда от него денешься.

У вас, молодой человек, – хмелеющий Боржанинов обратился к Недовражину, – и у вас, молодой человек, тоже вторая жизнь. В первой... вы не гуманитарий, не военный и не доктор, что-нибудь такое... по машинной части. Не бауманский случаем заканчивали? Нет? А сейчас вы по всему – другой. Не инженерный. Но и не богатенький. Не богатенький. Хотя и не бедненький тоже. Про вас роман писать не будем. Про вас – лирическую поэму. Самоотверженный герой на алтаре отечества. Алтарь, замечу, улучшенной планировки, с удобствами. И приставной лесенкой. Чтобы слезть, когда чего. Точно, точно: вы теперь профессиональный гуманист. За счет господина Арсакьева. Ну это я, поймите, образно так говорю. Не лично он, но кто-то же вас кормит, а вы – недовольны. И я недоволен. Живу, как верно заметил господин Арсакьев, в писательском поселке Переделкино. Живу и в ус не дую. И ненавижу тех, кто подбирается к моим угожьям. Лезут сюда и лезут. Строят и строят.

Нет, вы только не подумайте, я помню, кто здесь жил. До нас,

писателей. Знаете Самариных, славянофилов? Не знаете? А зря. Надо знать. Я, между прочим, помню. Все помню. И все понимаю. Понимаю, что я не Самарин. Я гораздо хуже. Я просто очень умный. Мне даже страшно думать, какой же я умный. Тошно быть таким умным. Ну почему, почему я такой умный? А? Скажите вы мне! Но только это, милые мои, Россия. Знаете такую страну? Здесь как на мерзлом болоте, ничего не трогай, не меняй, не строй. А если по ошибке поменяли, если сдвинули ось, покосили жизнь, то оставьте. Не троньте! Не возвращайте прошлого! И будущего тоже не надо. Лишнее. Пусть буду я, как есть. У соседей водку занимаю. Книжки зачем-то пишу. Подо мной лед, а подо льдом пиявки, черные такие, сочные, сминаются и разминаются колечком! Ты знаешь, Недовражин, что их нельзя отрывать? головка под кожей останется, будет гангрена, гниль! Лед уже трещит, но ведь не треснул. Береги меня, при мне покамест не потонешь!

Но если уж Арсакьев победит, тогда не тронь Арсакьева! Слышишь меня! Не тронь. Меня на свалку, и забудь про меня навсегда, Арсакьева береги! Лед под ним растрескается, заскрипит, но удержится. Арсакьев сухонький, не провалится. А вот после него – потоп. Поэтому – не трогай. Ты не обижайся, Арсакьев. Я по-хорошему. Ты на болотах никогда не бывал, Недовражин? Слышал, как пахнет болото? А как мокрая гадюка проползает рядом, видел? А ощущал, как кочка вдавливается в воду? Как послушная кнопка. И там трясина. С этими, как их там, пиявками. А морошку, кисленькую морошку собирал? Рыжеватую с оранжевым? Пушкин ее любил, знаешь ли ты это, что Пушкин любил морошку? Вот какие дела.

Во все время боржаниновского монолога парнишка сидел, весь подавшись вперед и пьянея одновременно с кумиром; смотрел влюбленными глазами и кивал.

Арсакьев не унимался:

– А что же, эт-самое, я что хотел спросить. Про себя мы поняли. И про Россию тоже. А что же, эт-самое, господин Мелькисаров? Его загадку разгадали, или как?

– А чего тут гадать? Он – сосед. Во что бы сосед ни игрался, извольте ему не мешать. Так, извини меня, Олег Олегович, у нас, у русских принято. Играй, Степан, не знай печали. Береги себя. Если что, я с тобой.

Хлопнул толстыми руками по коленям, набрал побольше воздуха, поднялся.

– Пошли, подсобник! Засиделись. Мелькисаров, веди меня! Где тут у вас дают пописать?

На выходе притормозил, оценил диспозицию на шахматном столе.

– Как вы доску-то почистили... основательно. Короля за пешками приперли... рокировка! Два ферзя, шесть пешек на двоих... одна норовит в ферзи... да куда ей с грыжей. Не думаю, не думаю... Нет, ребят, типичная ничья.

11

Синтезатор стоял на втором этаже; собранный, прилаженный, заранее включенный, напоминающий чугунную машинку для шитья. Арсакьев потрогал внушительный остов, попытался качнуть – не вышло; Недовражин осторожно снял с экрана негатив, посмотрел «Королей» на просвет. Что будет? будет сеанс превращения, знак станет звуком. А, понятно. Интересно. Как называется устройство? – спросил Недовражин. СНХ/АНС? Ясный перец, – подвел черту Арсакьев. Синхронизатор А. Н. Скрябин. И без вариантов. Умный старик Арсакьев; сразу угадал, а Мелькисаров не дотумкал.

Степан Абгарыч отвинтил зажимы фотоформы, заменил чужого Филонова на собственного Пастернака, пробежался по системе рычажков. Машина напряглась, мигнула, планшеты сдвинулись с места, осторожно поплыли над светящейся пленкой, как съемная крышка домашнего ксерокса – над световой дугой.

Еще секунда – и мерцание обернется музыкой.

Музыка – потекла. Не раздалась, не потянулась космическим стоном, а именно что густо потекла. То ли как виолончель с одной-единственной басовой струной; унылая канитель на ровной ноте. То ли как тягучее бормотание, вгоняющее в полутранс: оумманепадмехум, оумманепадмехум, оумманепадмехум. На четверть тона выше, на четверть тона ниже, и опять – тяжелый, завораживающий, безразличный гуд.

Арсакьев сидел, оттопырив губу, насмешливо смотрел на Мелькисарова: что, коллега, слегка обсчитались? Недовражин, кажется, наоборот: замороженно ушел в себя, белесые реснички опустил и медитирует. Сектант он и есть сектант. Оумманепадмехум, оумманепадмехум, оумманепадмехум...

Если бы в доме жила собака, она бы завyla. Жил бы кот – забрался бы, взъерошив шерсть, на занавеску. Мелькисаров был обескуражен. Даже не тем, что премьерный показ провалился. А тем, что он споткнулся на ровном

месте. Как можно было упустить из виду элементарный принцип простейшей схемы? Как можно было не понять, что басы включаются на светлом, а черные участки без просвета вызывают к жизни тонкий звук? Чем светлее картина, тем мрачнее гул, чем ажурней и тоньше рисунок, тем монотонней мелодия. «Пир королей» клочковат; поэтому он превращается в холодную, звездную музыку. «Семья», что называется, цветет и пахнет; границы линий стерты, образ нежен. Значит, преобразуясь в синтетический звук, зазвучит черной тоской...

– Бляха-муха, что за вой? – Анатолий и Василий разом посмотрели в потолок. Слышимость кошмарная, досчатая, насквозь; мыкающие звуки протекали вниз, как вода из прорванной батареи...

– Хуже бор-машины. Поспишь тут, как же. Курнем?

– Пожалуй. Давай, одевайся.

– Господи, как намело.

12

Обсудив причину неудачи, разложив эксперимент по полочкам и сделав некоторый вывод, Арсакьев, Мелькисаров и Недовражин окончательно утратили взаимное раздражение. Им было интересно и легко друг с другом, как бывает интересно инженерам обсуждать чертеж. Был составлен список действий, разработан план по доводке объекта.

Перед сном они решили погулять по ночному поселку, развеяться. Снегопад утих, ноги мягко тонули в снегу. Подвыпивший Арсакьев вышагивал чуть впереди, руки в карманы, голова упрямо опущена, как будто навстречу дует сильный ветер. Хотя вокруг был холодный колючий штиль. Мрачноватый Мелькисаров шел посередине припрыгивающей, птичьей походкой: с пятки на носок, с носка на пятку. Недовражин тихо, незаметно семенил чуть сзади и глазел по сторонам.

За старыми советскими заборами высились ряды корабельных сосен; сквозь них проступали могучие очертания слегка подсвеченных бревенчатых особняков – генеральское счастье сталинских соколов, писательская удача тридцатых годов. Замедленно, как в кино, со стрех осыпалась снежная пыль. Были домики победней и попроще; несколько безнадежных избушек (заборчики садовые, условные, сетка рабица) недавно сгорели, черные останки торчали на огромных участках, как гнилые зубы в полупустом стариковском рту.

Обособленно стояло авангардное строение, тоже давних советских времен. Дом был отделан керамическими плитками; по белой поверхности скачет ломаный рисунок, в духе позднего Пикассо и раннего Леже. Яркие прожектора опоясывали дом, слепили небо; по кромке ограды тянулись ряды ажурной колючей проволоки, сделанной на заказ и похожей на миниатюрную гирлянду; где-то там, в глубине поместья, надседались гулкие псы.

Новые заборы были выше, метра по четыре, а то и все пять; над кромкой заборов, в глубине закрытых территорий сверкали прозрачные купола деревенских пентхаузов, откуда-то снизу, как пар, поднимался рассеянный свет...

Говорить ни о чем не хотелось. Перед сном они попили чаю из тонких чашек. Заедали вишневым вареньем. Чуть засахаренным, но все еще ароматным. Всем было так приятно, будто они сами про себя читали в хорошей старой книжке. Отправляясь к себе, на первый этаж, Недовражин сунул Мелькисарову записку: адресок его сельца, со схемой проезда; с утра он может и забыть, а было бы жаль прекратить возобновленное знакомство. Вдруг время будет...

Время – будет, обещал Мелькисаров. И по скрипучей лестнице забрался в музыкальную шкатулку, чтобы поскорее завалиться на боковой тесноватый диванчик. Он что-то устал от хорошего, хотя и в самом главном не удавшегося дня. Засыпая, краем уха слышал богатырский храп, поднимавшийся снизу, из водительской; тонкий свист долетал из комнатки Арсакьева; Недовражин спал беззвучно.

13

Бульвар помрачнел, посуровел; капитализм капитализмом, дорогие рестораны дорогими ресторанами, а фонари как светили тускло и безжизненно, так и светят. Пробка снова растянулась в оба конца, и уже не яростная, торопливая, а вялая и обреченная. Вдоль прудов, от Покровки к метро, нетвердо, налегке шагают пьяные мужчины: сдали цветы, и довольны. Семят подвыпившие дамочки с подмерзшими букетами – поверх загульного блаженства на лицах постепенно проступает забота о доме и детях. Так, это купила, то не успела, этим завтра займусь. Раздается запах обильных, многократно подновленных духов – и вина, залакированного водкой.

Как-то в офис сразу расхотелось; все равно что головную боль променять на мигрень.

А дома Жанну ждала нечаянная радость; правда, не сразу ждала; жизнь потонила еще немного, а потом окатила теплой волной.

В одну минуту первого позвонил комендант, полубезумный дядька, у которого на чердаке была подсобка, под слуховым окном стоял канцелярский стол со стопкой бумаги, томиком Томаса Манна, папкой «на подпись» и телефоном. Не подключенным к линии; на чердаке телефонных разъемов не было. Консьержкам запрещалось принимать решения самостоятельно; во всех сложных случаях они вызывали лифт, поднимались наверх и звали господина коменданта; он спускался к ним в сторожку и самолично звонил жильцам.

– Жанна Ивановна? Это дежурный звонит, Жанна Ивановна. К вам тут курьер с корзиной, пустить на ночь глядя, или как?

– А в корзине что?

– Жанна Ивановна, а в корзине цветы. А в другой корзине фрукт. Так пускать или нет, Жанна Ивановна?

– Конечно, пускайте.

– Слушаюсь. Хотя и поздновато, вообще говоря, я уж извиняюсь.

Края цветочной корзины и витиеватую ручку оплетали живые вьюны, в сердцевине мелкими барашками синели гиацинты, белым горошком рассыпаны были ромашки, от корзины шел опасный, сладкий запах. Фрукты и овощи несколько портили дело; контора расстаралась, между лимонами, красноватыми апельсинами и крупными зелеными яблоками прятались сытные крокодильчики авокадо и возлежала толстая связка спаржи; ананас был перевязан игривой ленточкой с распушенными концами; по ленточке шла золотая надпись: «8 марта – 8 марта – 8 марта». И все равно – как хорошо, как славно! И можно даже не вскрывать крохотный конвертик, присыпанный серебряной крошкой; ясно, кто мог учудить такое.

Только что она скажет Степе, если он заглянет утром? Впрочем, скажет – от поклонника, и Степа рассмеется. Правде в любовных делах никогда не верят, верят только откровенной лжи.

ЧАСТЬ 2

Глава седьмая

1

Ситуация развивалась стремительно. – Месяц назад они познакомились. Три недели – поужинали. Две – по-настоящему, не по касательной, поцеловались. А на следующие выходные случится главное и непоправимое; Степан улетит по делам на Урал, а они вдвоем поедут за город. Так решено. И решено не Ваней – Жанной. Она предложила, глядя Ивану прямо в глаза; он даже слегка смутился.

Для какой-нибудь молоденькой девчонки, пустышки и вертихвостки, три недели – немыслимый срок ожидания, непонятная отсрочка; путь к сердцу мужчины теперь лежит через постель. Но не для нее, не для ее сверстниц. Не то чтобы мораль у них была слишком суровой или традиция косной; спать с мужчиной до, помимо или вместо брака – пожалуйста, лишь бы все начиналось сердечным влечением, им бы и заканчивалось. То есть лучше бы не заканчивалось, а только начиналось, но это идеал, а в жизни как выйдет. У мужчин все, конечно, иначе; в крови горит огонь желанья и всякое такое прочее. Но даже у них – даже у них! – раньше все складывалось по-другому. Как-то не сразу, не вдруг, не с каждой встречной. Со встречными тоже бывало, но по-другому, технически, так сказать, разово. А все, что всерьез и надолго, строилось неспешно, кирпичик к кирпичику. И чем старше был мужчина, тем строже подходил он к любовному делу.

Ровесники Жанны старались не жениться до последнего, но и своих любовниц бросали не сразу. По-своему прикипали к ним, допускали в собственную жизнь, хотя бы отчасти. Степины друзья, пятидесятники, те – женились. Но только после долгого раздумья, осознав, что лучше все равно не будет. А те, кому сейчас за шестьдесят, вступали в брак при первом же удобном случае: у них такое правило, действует до сих пор: повел девушку в кино – женись. А если не женились, то страдали; совесть угрызала.

Ни тридцатилетним, ни пятидесятиникам совесть не мешала изменять и разводиться. А вот папины товарищи женились раз и навсегда. На разведенных смотрели косо, как на слабаков. Причем смотрели все. Не исключая их несчастных женщин, десятилетиями ждавших своего часа. Лучший папин друг завел интригу в Кисловодске, военный санаторий

номер сто тридцать четыре, в пятьдесят втором году. Еще при Сталине. Увидел подавальщицу с высокой халой из соломенных волос, надежной крепкой грудью и добрыми, раскосыми глазами, и его захолонуло, совладать не смог. Потом писал ей нежные письма, договаривался о совместных отпусках; она все спрашивала тихо: ну когда? ну когда? ну когда же? А он, пряча глаза, все уходил от ответа. Год уходил, пять, пятнадцать, двадцать. И она терпела, понимала, даже как-то внутренне поддерживала его верность семейным обетам.

Выйдя в отставку, он наконец-то решился. Сказал постаревшей жене, та закусила губу и ушла плакать на кухню; поехал в Кисловодск, снял домик, к концу рабочего дня подтянулся к санаторию с цветами. Розовые гвоздики с такими специальными зелеными веточками. Встретил свою родную женщину с соломенной халой. Выходи, сказал, за меня. Я готов. Он думал, бросится ему на грудь, зарыдает. А та ответила: дай мне время до завтра, подумать. Он дал ей это время. Решил, что это ритуал, так принято, так надо, по-настоящему, по-женски. А назавтра, в семь утра на проходной она его поцеловала, прижала к сердцу, и ответила: не к лицу тебе развод. Да и поздно уже нам жениться. Жизнь прошла. Прощай, мой любимый.

Жена его, конечно, приняла обратно.

Вот это слово – поздно – самое ужасное. Жанна тоже прожила свою жизнь в ожидании Степы. Тут дело, разумеется, другое, он всегда был рядом, штампик в паспорте поставил сразу и не торговался; но только рядом, сбоку, а не с ней. Со штампиком жить не будешь. Она – его послушное сопровождение; сидит на цепи и преданно ждет, когда же он соизволит заглянуть в ее жизнь, без него – совершенно пустую. Та кисловодская женщина из года в год томилась, ну когда же отпуск, когда же отпуск, чтобы прижиматься по ночам к его спине и слушать сонное дыхание, а он будет весь и полностью ее. А Жанна томится всегда, и никогда заранее не знает, поговорит ли Степа с ней, поделится ли – нет, не деньгами! а самим собой.

Иван же – раскрывался весь. И ей помогал раскрыться. Он не таил своих прошлых историй; почему-то его раньше все тянуло на артисток, а они, понятное дело, больше играли в любовь, чем любили. Такая это профессия – актер; сам не знаешь, кто ты есть, за ролями теряешь себя. И о Жанне он хотел знать – все. Может, это и профессиональное; может, он про всех и всегда хочет знать – все. Но до всех ей никакого дела. Ей важно только одно: Ваня часами выпрашивает, как Жанна жила, что испытала, как думает про это и про то.

И она говорит, говорит, вымещая в слова долгие годы полузатвора,

полумолчания; ее любовь словно пульсирует на кончике языка; не нужно думать, какое суждение правильно, какое неверное: это же не спор и не дискуссия, а радость, облеченная в слова, как фруктовая начинка – в карамель. Радость неисчерпаемая (хотя, конечно, исчерпается...), ненасытная (хотя и насытится тоже...).

Эта радость теперь всегда с ней. И когда они тихонько гуляют в Лосиноостровском парке, среди замороженных берез, исподтишка, недолго целуясь, пока не потрескались губы. И когда болтают в забегаловке – в хорошее место идти неразумно, попадешься на глаза знакомым. И когда сидят в кино на последнем ряду, не целуясь, конечно же, возраст не тот, но сплетая пальцы и скользя глазами по совершенно безразличному экрану. Какая им разница, кто там, в кадре – Кинг-Конг верхом на небоскребе, придворные английской королевы или странные люди в ночном Эрмитаже, похожие на тени прошедших веков; сами они за кадром, вместе, а все остальное – кино. Причем позавчерашнее. В трех сериях, с одними и теми же актерами, идущее на трех экранах, одновременно.

В первом фильме под названием «Измена» Степа и Дарья, тихо увлеченные друг другом, перемещаются по бурному городу, тормозят возле гостиниц, ясное дело зачем, выходят оттуда за ручку, изучают на выставке кошек (да она же кошатница, вот что!) приплюснутых персов, бесоватых египетских мурок, мохнатых голубых сибиряков; и так изо дня в день, из вечера в вечер, как молодые супруги, еще не остывшие, не потерявшие взаимную зависимость.

Во второй картине, «Коварство и любовь», за Степаном змеится нечестная Анна; тут нет никаких гостиниц, с Анной он пока только днем, только в людных местах. Но зато уже часто.

А в третьем фильме, «Черная кошка в темной комнате ночью», случился обрыв киноплетки: вот уже третий день наладонник показывает ей одно и то же; Переделкино, их дача, дом пятнадцать по улице Серафимовича. Немедленно по возвращении из Иванцова она устроит очную ставку фотографам; Ваня, кажется, мягковат, а в ней пробудилась железная леди.

Но это будет после Иванцова. А пока – никакого железа. Сплошная женственность, восторг и наслажденье.

Иван приехал в Яхрому засветло, дороги были совершенно пустые, даже удивительно, таксист шустрый и жадный. Насчет таксиста Жанне он все объяснил заранее, что своего водителя не хочет брать, машину оставляет в городе; незачем вовлекать служебного свидетеля в личные вопросы, которые его не касаются.

Забросив вещи, прошелся по территории, все обследовал и полностью одобрил.

Хорошее и правильное место – Иванцово.

Небольшая бухта близ водоканала, отдельные домики, ресторанчик. Одинокий парк, отдыхающих не видно и не слышно. Пахнет близкой весной, проседающим, но все еще плотным снегом, последним морозом, завтрашним радостным солнцем. На пристани вмерзжена в лед плавучая баня, черная полынья подернулась слюдяной коркой. В прокатном отсеке стайка новых снегоходов; можно успеть прокатиться со свистом. Пройдет еще недели две, от силы три, снегоходы спрячут в железный ангар, а чуть попозже (как здесь говорят – *попозже*) товарищам отдыхающим предложат скучные весельные лодки.

Домик двухэтажный, обитый фактурным деревом; наверху обширная спальня, внизу холл, за домиком мангал. Бургундское двухтысячного года полулежит на дорожной подставке, камин растоплен и сладко щелкает, мясо маринуется вместе с цельным лимоном и резаным луком, острый запах сквозит из-под крышки; за стеклянной стеной мягкий холод, минус десять, но без ветра, темные сосны в ярко-фонарном снегу, еле слышен перестук электрички, рево бегущей на Дмитров; красота и счастье, цепенящий покой и нарастающее желание. Но на душе нехорошо, нечестно, не по-настоящему, как на сцене. А хочется, чтобы все было как в жизни. Даже не как. А просто – в жизни.

Степан Абгарыч уверял Ивана, что нашел его по картотеке актерской биржи. Как потом объяснил, выбирал по фактуре, наугад. Физиогномика, рост, вес, участие в частных съемках любительских фильмов по заказу и плану клиента. Он, дескать, искал подходящий типаж: зрелый молодежавый бизнесмен второго призыва, не старше сорока пяти и не слишком уж моложе сорока, развязный и ласковый, умный, успешный, но средний, не попавший под олигархическую раздачу. Что-нибудь такое... с наколками, колечками, но мужское, не женоподобное.

Насчет мужского, не женоподобного, это, наверное, правда; а насчет биржи – полное вранье. Не было на бирже фотографии Ивана, не светился он там, не нужна ему была биржевая фотография; он давно уже вышел на другой, высокий уровень: его передавали по цепочке, от режиссера к

режиссеру, от заказчика к заказчику. Ясно же, кто подкинул адрес Мелькисарову: П. П. Котомцев. Тот самый, который. Брутальная внешность плейбоя, зычный, нутряной актерский голос, надломленный еврейский нос от папы, голубые русские глаза навывкате от мамы, смесь Александра Третьего с Вечным Жидом.

Вообще-то Петр Петрович делал настоящее кино, ездил на большие фестивали, получал призы и давал газетам интервью. Но каждая новая жена Петра Петровича была моложе предыдущей; обходились они недешево, нужно было иногда халтурить. В прошлом году Петр Петрович снимал домашнее кино для одного крутого перца. С хорошими актерами, в основном московскими. Действие крутилось вокруг лилового «Порше»: машину то угоняли, то находили, из-за нее ссорились лучшие друзья, одного из них сыграл Иван; изменяли любимым мужчинам роковые дамочки; но самое интересное ждало всех после финальных титров. Лиловое счастье подъехало к гостям на выходе из кинозала, построенного перцем на окраине усадьбы; заказчик усадил в машину свою девушку, помахал ей на прощанье, водитель отработанным жестом прилепил на крышу спортивного «Порше» мигалку – и увез девушку навсегда. А «Порше» был прощальный подарок – для нее. В отличие от Петра Петровича, перец не спускался вниз по возрастной лестнице; всех своих женщин он брал строго в восемнадцать, отпускал железно в двадцать пять, на день рождения; женщины заранее об этом знали, и с нетерпением ждали сюрприза.

Биржа не биржа, Котомцев не Котомцев, но Мелькисаров прислал в Кострому емелю со странным вопросом: уважаемый Иван Павлович, готовы ли вы сыграть не на сцене, а в жизни? что-то вроде реалити-шоу, только без ТВ? Не волнуйтесь, никакой порнографии. Если готовы, встречаемся послезавтра, прямо на вокзале; буду ждать в стекляшке «Сацибели». Квартиру сниму, сценарий изложу на пальцах, начало контракта 1 февраля, окончание 1 апреля, оплата 500 американских рублей в день плюс наемная машина, плюс представительские; все детали по приезде.

О чем тут было думать? Что взвешивать? Почти шестнадцать тысяч, три годовых зарплаты провинциального актера. Кто не знает, что значит быть известным костромским актером (тульским, тверским, даже саратовским) – не поймет. Город тебя обожает, в троллейбусе подходят люди, широко улыбаясь; но денег нет и никогда не будет, и настоящей славы тоже нет. Так хочется устать от этой славы, будь она неладна; приезжать в Москву или прилетать в Новосибирск и даже в сумерках

носить черные очки, натягивать на уши шляпу, чтобы, не дай бог, опять не узнали. Так хочется напиться оттого, что все режиссеры козлы, наперебой предлагают скучные роли, сценарии горой валяются в углу, и хоть бы один – с изюминкой. Но сценарии не пылятся, на черных очках и шляпе можно сэкономить, а красивого любовника, способного купить кинопроект, у Ивана никогда не будет: ориентация неподходящая. Остаются халтурки Котомцева.

Худруку Хомушкину Иван соврал, что срочно должен сняться в сериале, фильм исторический, костюмный, про события Смуты, как можно отказаться: слава и несколько *килобаксов*. Умный Хомушкин не поверил и правильно сделал. Но все же отпустил: гастролями отработаешь, и тогда чтоб летом никаких.

Первого февраля Ухтомский сидел напротив Мелькисарова, хлебал протертый грибной супец, всасывал в себя, как губка, новое жизненное содержание, обдумывал занятный сюжет и мысленно искал краску для будущей роли. Вьюн. Вьюн. Он будет играть вьюна.

Степан остался доволен: хороший актер. В начале разговора был похож на голодного провинциального интеллигента, к середине стал напоминать владельца небольшого бизнеса, к концу на лице проступила значительность, обнаружилась легкость манер, обаяние человека, давно привыкшего к деньгам. Вкусный суп Иван доедать не стал, как бы пресыщенно отодвинул тарелку, доверительно улыбнулся. Молодец. Переодеть, переобуть, надеть хорошие часы, сделать легкий маникюр и можно начинать работать.

И что теперь? Прошло почти два месяца, он все разыграл как по нотам, выполнил сценарный план, расписанный по сменам, через две недели сдаст ключи от временного офиса, купит билет в Кострому. Но до этого предаст своего благодетеля. Предаст, давай уж называть вещи их именами. Он выйдет за рамки роли, разрушит актерский ансамбль. Велено было морочить голову дамочке, поддразнивать ложными следами, несуразицей. А он возьмет ее по-настоящему; ее, так неосторожно ему доверенную, потому что она его зацепила. Сначала с ней просто хотелось видеться, наблюдать за гибкой кошачьей реакцией на подколки и разводки; потом он поймал себя на том, что вспоминает про нее, засыпая – и сам себе улыбается.

Тогда, на катке, он умело сохранял рисунок роли, обвивал и запутывал, но остро чувствовал: в нем поднимается, искрит давление, кровь насыщается радостью. От игры он перешел к игривости, от игривости – к *серьезу*. А когда после позорного ужина и поиска кошелька он все-таки

склонился к ней легко поцеловать и заглянул ей прямо в глаза, то не на шутку испугался. Глаза при ярком свете фонаря были не темно-голубые, как могло показаться издали, а страшно синие, просвеченные синевой насквозь. Таких в природе не бывает. По крайней мере он не видел. Наверное, дело отчасти в линзах, они пересинили радужную оболочку; а все равно: он заглянул в ее глаза и понял, что значит драматическая фраза: очи – омут, нырнешь – не вынырнешь. А в уголке ее правого глаза, где у детишек всегда остается сон, набухал и краснел кусочек отстающей нежной ткани, след какой-то давней операции. Так стало жалко ее; он шкурой ощутил ее страх, когда сначала ослепляет острый лазер, а потом над беззащитной плотью нависает грозный скальпель... И тут же заметил косую короткую складку над левой бровью; такие складки случаются у волевых, но нервных женщин; нервных оттого, что волю – никак не проявишь, приходится изображать симпатичную нюню, послушную девочку, покорную жену. Но Жанна – нежная и ласковая; как могла образоваться складка? Он долго потом вспоминал эту складку, разыгрывал воображаемые сценки и сочинял ей драматическую биографию.

И понеслось. О чем ни думаешь – думаешь о ней. Что ни делаешь – делаешь так, будто бы она рядом. Не послав ей эсэмэску, он уже не может уснуть, и, засыпая, давно уже разыгрывает совсем другие сцены. Лучше уж не уточнять, какие. И она в него втюрилась, это же видно. Их тянет навстречу друг другу с такой неуклонной силой, что они уже не остановятся, потому что остановиться значит разорваться, разлететься на части, как будто несешься на скорости двести: не тормози! Он заранее боится этой вожделенной встречи. Но без этой встречи ему не жить.

И все равно потом, когда ему назначат, он явится в кассу, получит шестнадцать пачек бледно-зеленых купюр, искренне посмотрит в глаза Мелькисарову, скажет «А курс-то упал...», и, по-актерски улыбаясь, примет участие в сеансе карнавального разоблачения. Здравствуй, Жанна, я другой. Мы тут чисто пошутили, не печалься, и позабудь про Иванцово; это было понарошку, спектакль окончен, антреприза закрыта. Потому что общего будущего у нас с тобой нет, я провинциальный лицедей, ты профессиональная супруга богача. Гнусная актерская работа, подлые житейские обстоятельства, все нехорошо...

Шашлык томится на медленных углях, камин растоплен и все готово.

Но время идет, а Жанна не звонит.

Семь часов, восемь. Все гуще темнота, все морозней воздух.

Он пробовал набрать ее номер: аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Что-то стряслось? Или передумала?

Тогда – слава Богу. Совесть перестанет мучать. И очень жаль. Очень. Не то слово даже как. Такая женщина! маленькая, привязчивая, упрямая, за все и всегда отвечает сама, но при этом разлапистая и смешная, как суетливый бобик; хочется приласкать, прижать, прилепить к себе, приклеить. И глаза, глаза. И складка. Перспектив, конечно, никаких; но хоть память останется.

Звонок раздался в девять; это Жанна, кто же еще, только ей одной он присвоил мелодию из «Пер Гюнта»:

– Ау, Ванечка, ты меня еще ждешь? – голос нервный, искаженный, на грани крика.

– Жанна, милая, что стряслось?

– Ой, такое было, такое было, не поверишь! Я цела, моя машинка всмятку, удар справа, скорость у них была сто, руки трясутся, телефон уронила в лужу, гаишники не приезжают, джипари в истерике, они мне такие: попала, девка, давай по деньгам расходиться, а я им такая: вы меня чуть не угробили, суки, и матом их, матом, представляешь? я – матом, сама собой горжусь. В машинку от них не спрячешься, практически уже некуда прятаться, металлолом, кошмар, кошмар, кошмар! Только-только закончили с протоколом, телефон высох, можно звонить, я вызвала такси, часа через полтора буду. Жди меня, Ванечка, очень хочу к тебе!

Господи, бывает же такое! Хорошо, что обошлось; Жанна цела. Стало быть, через час-полтора. Еще полчаса – и надо будет снова прожигать поленья, слишком уж крупно их тут напилили, долго будут расходиться.

Струйка поджига брызнула на газетный огонь, пламя сразу занялось: большое, жадное. Потом слегка осело, стало послушным и смирным. Помогать поленьям ровно прогорать, потом неспешно помешивать угли, время от времени прыскать поджигом, подсыпать в запас; что может быть спокойнее и проще? Скоро приедет хорошая женщина... сказать любимая – все-таки страшно, лучше близкая, своя, почти родная... и все сомнения на время отпадут. То, что будет – будет завтра, а сегодня на ужин сочное мясо, густое красное вино, тишина и ночь.

В десять Жанна позвонила; голос яркий, звенит:

– Приехал таксист, выезжаю! замерзла, как цуцик! целую, целую тебя, целую, скоро прижмусь!

Прошло полчаса; телефон витиевато замурлыкал песню Сольвейг.

– Ваня, Ванечка, обстоятельства против нас. – Голос потускнел.

– Что такое еще? Где ты? Что стряслось?

– Будешь смеяться. Сижу в машине, а машина стоит. Заглохла. И дурацкий водитель не знает, в чем дело. Ковыряется в моторе, вызвал подмогу, говорит, родня подтянется, и либо меня отвезут, либо ситуацию

поправят. Ваня, тут темно, я одна, он большой, с акцентом, мне страшно.

– Где ты территориально? Я вызываю такси, немедленно еду.

– Пока ты будешь ждать московское такси, меня к тебе уже привезут.

Живую или мертвую.

– Что ты говоришь, перестань сейчас же! Где ты, я тебя спрашиваю?!

– Ладно, не сердись, я устала, перенервничала, я спать хочу и есть.

Ванечка, есть хочу! Не везет нам с тобой, мой милый. Давай смиримся, а ты готовь мне что-нибудь поесть. Целую тебя.

– И я тебя. Звони мне каждые десять минут!

– Не могу, батарейка садится.

– Тогда эсэмэсь.

– Попробую. Вот услышала твой голос, и сразу полегчало. Еще целую тебя, мой Ваня. – Голос опять стал грудным, зазвучал рыхло, влажно, маняще.

Дурная ситуевина. Дурная. Кто там Жанну везет, что за родня? Хорошо хоть мясо не успел поставить и дров заказал с запасом; догорающие пусть прогорят, а новые лягут на них плотным слоем и быстрее раскочегарятся. Что-то против нас... Да уж, явно что не за. Внутри как будто раздавили ампулу с вяжущим ядом, на душе стало неправильно, смутно. Так бывает перед провалом: только что казалось, игра удастся, зритель подчинится твоему напору, воле замысла, но резко ударил по ушам третий звонок, что-то екнуло, обвалилось, и нить ускользнула из рук. Еще не подняли занавес, а ты уже знаешь: все у-лю-лю. Прогневил ты чем-то свое вдохновение. Теперь остается одно: дотянуть до конца спектакля, опустошиться до потери пульса, на ватных ногах уползти в гримерку и выпить молча стакан без закуски.

Шампуры злобно входили в холодное мясо, коченели руки; сам виноват, надо было насаживать в доме.

Иван не то чтоб слишком верил в Бога, но попробуй быть актером и не верить. Не получится. Бог Ивана был не строгий дед с бородой из какого-то списанного реквизита, а безличная сила, разлитая в воздухе, то податливая и мягкая, то непреодолимая, как стена. Утыкаешься в стену – и все. Разворачивайся. Биться бесполезно. Только голову расшибешь. И эта стена сейчас росла прямо перед ним, медленно и неумолимо. Как невидимый рольставень, отсекающий проход, скрипуче поднимающийся снизу вверх, от земли до самого неба.

Когда перестает ладиться главное, начинает валиться и все остальное.

Он поспешил, не дал углям дойти; жир тупо капал, поджигал смрадный огонь, сверху куски подгорали и сохли, внутри оставались

сырыми.

Ко всем радостям, зацепил ногой стол, грохнул бутылку (хорошо, запас имелся), стал собирать осколки засаленными руками, порезался, кровь брызнула...

Тридцать три несчастья.

Полночь.

Где Жанна? где эсэмэски?

Звонок.

Вовремя, нечего сказать. И как назло, вытереть руки нечем. Ткнул кнопку, заляпав кровью вперемешку с жиром, услышал вялое:

– Ваня, выходи к воротам, минут через пять. Мы подъезжаем.

Вышел. Из-за поворота, кряхтя и чихая, подрулила битая белая «Волга» древнего года выпуска, одноглазая, с раскуроченной правой фарой. Иван распахнул переднюю дверцу – из машины чуть не выпал восточный гигант, еле на сиденье умещался, перезрелая квашня. Сзади, рядом с Жанной, втиснулись еще двое, таких же. Господи, сколько ж она страху натерпелась! Дрожит мелкой дрожью. Обнялись, побрели в дом потихоньку.

– Пахнет мясом. Дай же мне скорее поесть! Я утром не успела, прическа, маникюр, надо же в порядок себя было привести, привела вот... Как же вкусно, ой, и вина, вина... Твое здоровье, милый мой Ваня.

– Наше.

– И сацибели, и ткемали, и буду разить чесноком. Прости дуру, заманила в сети, а сама ускользаю: я сегодня ни на что не гожусь, только спать и не видеть снов... Даже руки мыть не стану, вот.

И он нежно отнес ее в постельку, плотно сжав пальцы в кулак, чтоб не запачкать кровью: спи, детка, я еще приберусь. Пока заматывал порез и прибирался, все думал: Господи, как жалко и как здорово, как здорово и как жалко, да будет на все святая воля Твоя.

3

Первые сутки он только снимал.

Беспощадно разгибал альбом, так что громко лопался корешок и выпадали страницы, ставил на подсвеченный пюпитр, отскакивал к фотоаппарату, зависал над штативом, недовольно рычал: бликует! снова подбегал к пюпитру, компенсировал углы отклонения и наконец-то щелкал,

взрывая комнату белым светом. Тут же сгонял полученный снимок на верстальный экран, похожий на врачебную световую доску для рентгеновских снимков, долго изучал результат, сам себе кивал головой и тянулся к новому альбому. Альбомы грудой валялись в углу; книготорговец глазам не поверил от счастья, когда Степан Абгарович подкатил тележку к кассе.

Вторые сутки он только печатал.

Был куплен специальный агрегат, размером с начальственный стол; агрегат выводил черно-белый снимок сразу на прозрачную фотоформу. Фотоформа скользко выползала из машины, горячая и чуть влажная, будто вспотевшая; на вывод уходило полчаса, нужно было дотерпеть, не цапнуть пленку раньше времени. Иначе отпечатки пальцев останутся навсегда, и то будет музыка сфер!

Высохшая пленка защелкивалась в рамку; рамки стояли рядком, как восковые съемы на пасеке; их плоский ряд разрастался, а Степан продолжал работать. Оба эти дня он не обедал и не ужинал; в восемь, двенадцать и вечером в шесть наспех перекусывал бутербродами, запивал подслащенным кипятком. Утром его чай был похож на чифир, но с каждой чашкой становился жиже, желтей и прозрачнее: пакетиков Степан не признавал, а на повторную заварку времени было жалко; вот еще, промывать чайник, соскребать чайники (когда-то Тёма называл их *чилинки*), пропаривать настой; азарт эксперимента захватил его целиком, без остатка.

Зато на третьи сутки он проспал до девяти.

Беспощадно побрился, сбрызнул раздраженную кожу одеколоном.

Неспешно взбил пузыристый омлет и медленно, с достоинством позавтракал.

Ровно в десять, по часам, взял папку с результатами работы и солидно пошел на второй этаж. Некуда нам торопиться. Торжество суеты не терпит.

Первой световому испытанию была подвергнута «Тайная вечеря» Джотто. Музыкальный луч дрожал на всех оттенках серого, сверкал протуберанцами по краям черных пятен, внезапно выглядывал через просветы, как солнце сквозь разрывы туч. *Господибожетымой*, как это было красиво по виду, как невыносимо по звучанию! Засасывающие, чавкающие, икотные тона, бормотание пьяного беса, истеричные вскрики фальцетом, тоскливые басы на замедленной скорости. Ужас. Испытание не для слабонервных.

«Троица» Рублева оказалась еще хуже. Плавные фигуры ангелов, воссевших над священной чашей, преобразуясь в звукоряд, производили ржавый скрежет тормозной колодки; ребристые горы и мелкие кущи

озвучивались барабанной полудробью.

Зато из катастрофического Босха получилась ровная, чуть сладкая мелодия; темного тут было очень много, опасных просветов почти никаких, взаимное пожирание видов совершалось технично, без ненужных перебоев светотени; отличный объект, источник звуковой гармонии.

Поль Сезанн был страшен, Писсарро хорош, Пикассо то лучше, то хуже: милейшая «Девочка на шаре» скрежетала, кубы и треугольники были вполне терпимы, а «Минотавромахия» – прекрасна. Чем ближе подступала современность, тем яростнее становились образы, а музыка мягче; «Лучеграмма» Ман Рэя – то ли поцелуй, то ли смерть, то ли сигаретный дым, то ли исход души – сама просилась в синтезатор, нервный, черный «Пик, Каулун, Гонконг» Захи Хадид звучал настоящей музыкой сфер, поздний Мундриан перекликался сам с собой, суповые банки Энди Уорхолла звенели весело и однообразно, как «Собачий вальс» – та-ра-рам там-там, та-ра-рам там-там, та-рам там там-там там там-там, и по новому кругу.

Что, собственно, и требовалось доказать. Чем гармоничнее зрительный образ, тем страшнее его звуковой перевод. И наоборот. Догадка об этом мелькнула еще тогда, неудачным пастернаковским вечером. А теперь гипотеза стала теорией.

И что дальше с этой теорией делать?

Да вообще-то говоря, ничего. Игра доиграна, интерес потерян.

Мелькисаров потянулся за сигарой.

4

Последнее, о чем она успела подумать, засыпая: утром, все будет утром. А утром-то ничего и не было. Она открыла глаза: желтая спальня, золотистая гардина, светлый шкаф под орех, охристый свет на оранжевом паласе. Зашаталась, заскрипела разохшаяся лестница; с улицы вернулся Ваня. Морозный, свежий, хитрый, легкий.

– Ну как, пришла в себя?

– Пришла! – и сладко потянулась.

Хотела сказать: иди сюда, ко мне, под бочок. Но не успела. Он лихо сдернул одеяло, захлопал в ладоши:

– Завтракать, завтракать!

– Ванечка, я мяса не хочу.

– Не будет никакого мяса, будут оладьи и сырники, а сразу после этого – сюрприз.

Официант был добрый парень из соседней деревни, всячески хотел услужить, говорил: чего желаете-с; сразу видно, учительница по литературе была хорошая. Оладьев с сырниками в меню не оказалось; перепелиная яичница шипела, смешная, десяток желтых пузырьков на молочно-белом фоне. Растолстеем? и ладно, и растолстеем! Хорошо-то как, вкусно.

А потом был сюрприз. Снегоход, повиливая задом, летел по влажному скользкому льду; вчера подморозило, сегодня вернулся настоящий холод; оттаявшие полыньи заново смерзлись, стали похожи на смесь расплавленного олова и свинца; несмотря на жутковатые вихляния, за Ваниной спиной было уютно, надежно, только обзор неполный, и каска мешала. Зато спина его пахла настоящей кожаной курткой, а запах кожи всегда на Жанну действовал особенно.

На ярко-сером льду сидели тяжелые рыбаки; мерзни, мерзни, волчий хвост. Мимо, прощайте! Навстречу, по самому краю залива, двигался старенький лыжник, руки-ноги вперед и назад, вперед и назад, как деревянная кукла на веревочках; ух, и нету лыжника. Холмистый берег был еще в снегу, но вершинки протаяли, облысели; исчезли холмы, улетели вдаль.

Залив постепенно сужался, превращался в тесный глубокий канал; солнце цеплялось за бетонные края парапета, застревало, не дотягивалось до льда, светило поверх и вскользь; то ли чуть похолодало, то ли Жанна слегка замерла, хотя под попой усердно грелся мотор, но вдруг показалось, что лед отвердел, посуровел пейзаж: дряхлые черные ели, над ними жестяное небо, и больше ничего вокруг. Жанна отстегнула шлем, обхватила Ваню плотнее, надышала на гладкой коже мокрый след, безо всякой брезгливости прижалась к влажному пятну щекой, прикрыла глаза, чтобы сполна ощутить невесомость, пугающий полет вдвоем – вникуда. Было так хорошо, как будто что-то в жизни возможно навсегда, как будто...

А едва очнулась, открыла глаза, чуть не крикнула от испуга. Из облезлой черноты умирающего ельника одна за другой выступали грязно-белые статуи. Слева надвигалась девушка с горном: гипсовая кисть распалась, горн держался на металлической арматуре, как будто бы просто висел на губах; укрупнилась девушка и пропала. Справа обозначился пионер, вскинувший руку в салюте; половина лица провалилась, в полном пространстве затылка зияла дыра; вот и нет пионера, остался у них за спиной. Зато появился забойщик с тяжким молотком наперевес. Забойщик был целенький, неповрежденный, и от этого еще более похожий на

могильный призрак. Взгляд неподвижный, зачарованный, устремленный вдаль, поверх елей; отвальный молоток лежал на руках у забойщика, как мертвый младенец.

Стало грустно и тревожно; Жанна опять прижалась к Ваниной спине, прикрыла глаза.

Минут через пятнадцать они вынырнули из тоннеля на широкую пойму; солнце в глаза, простор и радость. И почему-то начали тихо тормозить. Ваня оглянулся, сбросил шлем:

– Ну как, довольна? Не замерзла? Хорошо?

– Очень! – соврала Жанна и сама поверила своим словам.

– Но пора назад, моя милая. Еще чуть-чуть и Тверь, но перед ней – шлюзы, это не для нас. *(Это для них, – про себя подумала Жанна; Тверь; дурное место...)* Разворот – и домой; нас ждут еще всяческие славные дела. Погоди тут, я совершу пируэт, покрасуюсь перед тобой.

Черный снегоход вздрогнул, взвыл, и понесся по кругу, взрезая ледяную крошку. Острые, оскольчатые вихри быстро вспыхивали на солнце и медленно гасли, оседая. Ваня был уже далеко; жалко, нет бинокля; но по ранней весне такая видимость! Маленькая, игрушечная фигурка различима в деталях. Сидит как влитой, держит руль без малейшего напряжения, управляет лихо; на повороте чуть склоняется вбок, утягивает машину на себя, заставляет ее резко менять траекторию, а потом уверенно осаживает, и она послушно следует его мягкой воле. Рыбаки возмущены; монументально поднимают головы, основательно машут кулаками, рыбу распугаешь, столичный фраер, пижон и гад! Но что они могут сделать? кишка тонка.

Черный блеск снегохода прекрасен; Иван проносится по кромке противоположного берега, описывает широкую и вольную дугу, под резким углом мгновенно поворачивает к ней. И вдруг как будто спотыкается на всем лету, врзается в невидимую преграду, встает торчком, вниз лобовым стеклом, и тут же оседает под проломившийся, ощерившийся лед. В глазах у Жанны темнеет, разум ей отказывает, она ничего не слышит, только видит: рыбаки водолазными шагами идут к полынье, вытягивают на край податливое, размокшее тело, голова в каске болтается и громко стучается о лед; в эту секунду звуки возвращаются, слышен мат, «спасателей и «скорую», и водки, да скорее, тра-та-та».

Боже Ты мой, он жив?

Шестилетний Тёмочкин проснулся среди ночи, раздалась блаженная сирена: ыааааааа! Жанна прибежала, села на краешек кровати, схватила сыночку, прижала:

– Что ты, что с тобой, что тебе приснилось, милый мой, любимый пырс, котенок, собачкинс, тихо, тихо, успокойся, я здесь, я с тобой.

– Ма...мааамочка... а правда, что я умру в десять лет?

– Кто тебе сказал такую глупость?

– Эээтот, во сне.

– Кто этот?

– Ну этот! Не знаю, кто. А я умру?

Он затих, затаился, как зверок. Ждет успокоения. Но не обмана, а полной правды, потому что мама ведь не может врать. Жанна постаралась ответить как можно спокойнее, даже почти равнодушно: дескать, что в этом такого?

– Ну да, мы все когда-нибудь умрем. Но это будет очень нескоро. Забудь про какие-то десять лет.

– И ты умрешь?

– И я.

– И папа?

– И папа.

– И я вас больше не увижу?

– Конечно, не увидишь. Но ты нас будешь помнить, и будешь любить, и будешь про нас думать, и мы как будто бы будем с тобой.

– Не хочу как будто. Хочу по-настоящему. А умирать страшно?

– Не знаю, Тёмочкин, я никогда не пробовала. Давай пока мы лучше будем жить и спать, ладно, согласен?

6

– Да, сижу с хозяином на даче. Да, как пес на подстилке. Да, не отпускает, в любую минуту могу пона... а вот это ты сказала зря. Это нам с тобой не поможет в дальнейшей жизни. Обижаюсь, отключаю телефон.

Все-таки есть бог. Сама подставилась, сама! теперь он вдавит кнопку, усыпит телефон, засунет умершую трубку под носки с трусами, отдохнет еще немного, дождетя нового прилива твердой силы, и не будет отгонять, как муху, гадостное опасение: позвонит? не позвонит? оосподи, хоть бы успеть до звонка.

Валька женщина толковая, хорошая и ни на что не претендует. Смирилась с судьбой холеной разведенки; родила рано, дочка уже отделилась, зажила семьей, а Вальке всего-то под сорок, и тело у нее богатое, но не жирное, в самый раз. Квартирка своя, однокомнатная, на первом этаже, окна во двор, тихо, чисто и зелено, окно чуть приоткрыто, поддувает свежий одинцовский воздух; простынка после застилки проглажена утюжком, пододеяльник правильно пахнет крахмалом, повсюду горшницы, горшки и горшочки с цветами. У фиалок мясистые листья, надежный столетник раздался вверх и вширь, пестрая герань слегка припахивает мокрым железом; тенисто так, уютно, прохладно рядом с жаркой женщиной, а женщина старается.

Не то что *эта*. У *этой* разговор один – счас сковородкой по спине, куда пошел, сними ботинки. Вот как в жизни бывает, одним все и ни за что, другим ничего, и они ценят.

Правда, если посмотреть с другого боку, что бы он без *этой* делал? Мать слегла в параличе, когда они только-только начинали жить на пару. То ли второй год, то ли третий. Нет, все-таки второй. Детей тогда еще не было. Рассудить, извне, по справедливости: Галина могла и уйти. Какие наши годы. Понимала ведь, чем дело пахнет. Часть зарплаты сразу в минус – на лекарства, уколы, а массаж один чего стоит? Но и это еще терпимо. Хуже другое. Мать без удержу писается, организм еще сравнительно молодой, неизрасходованный, вонь, пролежни, а кому все это подтирать? Стаскивать с кровати, на руках тащить до ванной, подмываться? и ведь эта бадяга надолго, на годы и годы, ясно же было, никаких иллюзий.

Он – ладно. Мать есть мать. И когда такое происходит, то в башке меняется что-то, щелкает. Все, наигрался, пора жить по-серьезному. До материнского паралича он гонял по дорогам со страшной нездешней силой. Физически не мог толкаться в пробке; все тело чешется, в заднице свербит; раз – и на обгон по встречке. Скорость меньше ста сорока на трассе не признавал. А тут – как отрезало. Сел утром за баранку, даванул по газам и сбросил. Безо всякого гаишника. Стоп, не имеешь права собой рисковать, осторожно. И с тех пор – никаких ста сорока. Сто, сто десять. А иногда и девяносто, если скользко. Потому что ответственность. Он теперь не только сам себе принадлежит. Если что случится, что будет с матерью? Потихе, сбавим скорость и пропустим.

Но это он. Сынуля. А кем была *она*? Ненавистной невесткой, откуковавшей милого сыночка. Мать не приняла Галину сразу, резко. Демонстративно отказывалась есть ее еду, варила-жарила себе отдельно, причем норвила проскочить на кухню за две, за три минуты до невестки.

Чтобы та ждала, пока мамаша приготовит. И опоздала бы на работу. Галина платила свекрови по полной. У матери, еще до паралича, бывали частые поносы; услышав многократный спуск воды, жена спешила в тесную кабинку, запиралась. Через минуту живот у матери опять сводило, она возвращалась на место битвы, а тут, как говорится, вас не сидело. В ответ на стуки, крики, топот и говнеж (в прямом, заметим, смысле слова) Галина сладко отвечала из-за двери: «Ох, Фоминична, меня тоже несет! Должно быть, вместе скушали не то». Вместе. Вместе мы не кушали со свадьбы.

Вообще-то Галину понять было можно. Зачем оттеснять молодуху? Ты же, блин, пенсионерка. Стукнуло пятьдесят пять – списала себя в утиль. Как подарили электрический самовар и набор кофейных чашек на профсоюзном собрании, так ни одного лишнего дня работать не стала. Посиди, подожди, пока плита освободится. Все равно же ничего не делаешь. Так нет. Мы принципиальные! Но это дело в прошлом. В настоящем – ужас и кошмар. А Галина не скандалит, не ворчит; нельзя даже сказать, что она *терпит*. Просто живет как живется: по часам прибирается, таскает, моет, притирает, выносит, не боясь ни грязи, ни вони, и ничуть не брезгуя; так кошка ходит за котятами, лижет их обделанные задницы; бабий инстинкт.

В других инстинктах нам не повезло. Но для этого есть Валентина. И сегодня счастливый, редкостный день. Не надо спешить, некуда и незачем. Можно позволить себе ослабеть и полежать на спине, слушая вполуха счастливое бормотанье, думая о своем и поглаживая распущенные Валькины волосы, чтобы не особо лезли в нос.

Вот Степан Абгарыч. Плохо, что не доверяет. А если б доверял, с другой-то стороны? Держал бы плотно при себе. И тогда б не удалось провести у Вальки за этот месяц целых пять дней. Диалектика. Вот, опять же, Степан Абгарыч. За что можно уважать? За то, что все в жизни делал сам, без родни и связей. И при этом не москвич, вообще с нуля начинал. Мама из Сибири, папа неизвестно где. А мать Василия была воспитательницей в соседнем детском саду; папа, Павел Семеныч, водил грузовик, пока не разбился. Жили они в Тарасовке, недалеко от церкви; в тарасовском детстве у Василия было два любимых места – храм и засыпанная, закатанная камешками бывшая свалка Министерства путей сообщения.

В храме всегда тепло, темно и приятно. Бабки подпевают батюшке, тяжело вздыхая, читают молитвы, несут на амвон печенья и вино, летом и осенью – яблоки с медом. Пахнут! Иногда стучит проходящая электричка, и храм слегка покачивается в такт, дрожат огоньки свечей. А на свалке чуть

приванивает сыростью, легкой гнильцой; чем глубже расковыриваешь камешки, тем запах сильнее, и в нем заключен самый главный вкус. Потому что рано или поздно палка-копалка наткнется на твердое, круглое; это круглое, твердое – все в грязи и почти что черного цвета, но если хорошо почистить и промыть, проявляются цифры и буквы: 10 копеек, 15, а несколько раз попадалось и 20.

Хорошие воспоминания, сердечные. Но как они связаны между собой? Да никак. И как с ними связана его последующая жизнь? Снова никак. А вот у Степана Абгаровича все связано со всем. Поэтому он там, где он. А ты, Василий, там, где ты. И наверное, это правильно. Хотел бы ты побольше денег и хороших телок с такими золотистыми ногами и вольными волосами во все стороны, которые пахнут так недоступно, так шикарно? Конечно хотел бы. И чтобы авдюшка была твоя? Еще бы. И квартирка. И отпуск в крутом положительном месте. Но жить как Абгарыч, насупленно, сутуло, все время что-то решая, перебирая в мозгу, – нет, не хотел бы. Значит, нечего жалеть и о деньгах. Каждому хомут по шее.

– Валентина, подай телефон, включу, мало ли что.

И тут же, как назло, звонок. Вот ведь змеиная баба, доставучая, что ей надо.

– Але. Да это... так получилось, Степан Абгарыч. Ну, я же не знал, что вы рейс поменяли. Виноват. Да, немедленно выезжаю. Да. К прилету успею. Понял, больше никогда не отключу.

7

– И тут видим – у бабы аварийные глаза, ну ничего не соображает, в шоке. Мы, тксть, ее слегка стабилизировали, а, вот она и очнулась.

Сознание включалось щелчками, уровень за уровнем. Сначала Жанна почувала убийственный нашатырь, брызнули слезы, пришлось открыть глаза – и хорошо, что не накрутилась. Потом поняла, что лежит на заднем сиденье микроавтобуса. Затем сообразила: приехали спасатели. И наконец, как молния:

– Где Иван? Что с ним?

– Все в порядке, дамочка, не волнуйтесь. Жив и здоров ваш кавалер. Швы на лоб наложат, долбанулся, кожа рассеклась, и ногу вывихнул, а так сразу отпустят, только вот одежду подвезут. А машинку он, пардоньте, утопил; конец машинке.

«Скорая» стояла неподалеку; Ваня смиренно лежал на койке, закутанный в одеяло; поперек лба шел кривой шов, толсто залитый лечебным клеем. Жалко улыбнулся, смущенно попросил прощения; дурак. Жанна быстро сговорила с медиками: сто долларов, нет двести, нет сто пятьдесят, поехали. И машина мигом укатила в Иванцово, на полной скорости; дорога была пустая, им даже мигалку не пришлось включать.

8

Приезжает муж из командировки. И где жена?

Ни записки, ни следов сегодняшнего пребывания. И холодильник пуст.

Слиняла за город, надеялась затариться с утра? А он поменял билеты и явился под вечер. Смешно. Повод для любовного скандала: молилась ли ты на ночь, Дездемона? Мучения, терзания, подозрения. С одной-единственной, но важной оговоркой. Некого ему подозревать. Потому что это Жанна. А Жанна – вне подозрений. Так что никаких мучений и терзаний нет, а есть простой практический вопрос: куда она могла сегодня подеваться?

Уральская поездка удалась. Челябинским заводчикам он дал от ворот поворот, но пермское купечество лихвой восполнило убытки. Ударили по рукам, вихрем прокатились по району. Город холмистый, просторный и солнечный; Кама сияет во льду. А загородная местность плоская, открытая, основательно вырубленная и насквозь просвеченная матовым зимним светом.

Они промчались кавалькадой в сердцевину области; так сказать, на окраину края и по окружности округа – шутка местного поэта, прикормленного купцами и хорошо говорившего тосты. Здесь прежде были политические лагеря и до сих пор остались уголовные зоны. В уголовном музее Мелькисаров бывал: Владимирский централ за умеренную плату знакомил с воровской романтикой. А в музей советских политических попал впервые в жизни.

Все тут было как положено: колючка, вышки, узкие проходы, казарменный барак, штрафной изолятор, карцер с ледяным бетонным полом. Экскурсию вел низенький, раздувшийся от бицепсов мужичок, бочонок с короткими ножками; рассказывал в деталях и красках, с очевидным удовольствием. Так дед вспоминает про ушедшую молодость: понял, какими мы были? Ну то-то.

В этой камере сидел бандеровец, тот еще, послевоенный; к нему посадили русского фашиста, думали, сцепятся, а ничего сидели, дружно. Охрана посмотрит в глазок: тишь-благодать, один лежит, другой ему книжку вслух читает – по-русски или по-украински, потом меняются местами, по-украински или по-русски; на сердце хорошо, надежно, хоть сейчас отменяй надзор, эконошь ставку. А здесь вот имелся выгул – штрафной, без поблажек, из двух маломестных коробок; одного заводят в этот отсек, другого в тот, разговаривать не положено. Сверху по кромке бродит солдатик, туда-сюда. Зеки ждут, когда солдатик отвернется. Пора! Тынкс, пуляют записочки. Думают, солдат не видит. А солдат все видит. Просто скучает и мерзнет. Пусть, думает, пошालят, а я покурю. Это только снизу кажется, что наверху хорошо, а там такие ветры дуют...

Мелькисаров спросил:

– Вы что, тут сами сидели?

– Не-а, я тут стоял.

Экскурсовод был тогда вертухаем. Грянула перестройка, их распустили в чистую отставку, он покрутился в городе, нигде не нужен, неуютно. И вернулся работать в музей. Можно сказать, экспонатом. А в чем проблема? нет проблемы. Заключение он не обижал, даже помогал готовить голодовки. Потому что же – какая голодовка, если в укывище нету консервов? Так можно и концы отдать. К тому же что с охраны спрашивать? У ней такая служба. А вот врачи, оно конечно. Случалось. Таких бы сам порезал.

Был тут один диссидент, без посылок и без свиданий. Законник, достал начальство. Прислали доктора из ментовской больнички – кому, понимаешь, дырку просверлить, кому пломбу поставить или поменять коронки. Доктор всех обслужил по полной, а диссидента почему-то отодвинул напоследок. Но тем не менее принял, под самый занавес. Зубки подточил для протезов, сверланул гнильцо, кой-где заложил под будущие пломбы мышьяку. И уехал: время приема вышло. Проходит неделя – доктора нет. Проходит другая – снова его нету. И третья. И месяц. И три. Дырки обвалились, боли ударили в кость, заточенные сколки зубов расцарапали язык. Диссидент говорить почти не может, скулит по-собачьи, лезет на стенку, бьется по ночам головой, весь сизый, в подтеках. А что охрана может сделать? Анальгину тихо передать, вот и все. Да какой анальгин при таких делах.

– Чем же кончилось?

– А вот здесь вот он повесился. Простыню порвал, за решетку зацепился, и спрыгнул. Утром смотрим: на полу валяется стул, на стене –

застывшая фигура. Уродец такой. Руки чуть в сторону. Как бы на кресте. Наверное, с узлом не справился, неопытный, мылом не смазал, захлестнуло не до конца, умер не сразу, стену скреб... А теперь, господа, вам предоставлена возможность, по желанию, посидеть недолгое время в настоящем советском карцере, на хлебе и воде. Целых пятнадцать минут.

Пермские купцы заготовили: оголодаем! плохая примета! кто ж в России по доброй воле полезет в темницу? накликаешь! А Мелькисаров уцепился за возможность попробовать: как оно там?

Там оно оказалось так. – Безнадёжно стукнула дверь, в замке два раза провернулся ключ; звук был толстый, основательный. Четыре серые стены, над головой полуокошко, кровать в дневное время суток задрана вверх, закреплена в стене. Сидеть на корточках, по-чеченски, неудобно – затекают ноги, тут же начинает ныть спина; снизу, от пола, тянет вечной мерзлотой, зад и промежность леденеют, инстинктивно поджимаются, как у промерзшей собаки. Только у собаки имеется теплый хвост, а человеку прикрыться нечем. Четверть часа – не срок, можно было бы и постоять, но хотелось в первом приближении пережить подобие неволи.

Мелькисаров наблюдал, запоминал, анализировал. Не дай бог пригодится. Время тянется подчеркнуто медленно. Нарастает ощущение удушья. Совершенно пустое пространство, не за что зацепиться взглядом, сосредоточиться на постороннем, закрыться от себя самого. Может быть, интеллигентам-диссидентам и нормально, а он медитировать не привык, стихов не сочиняет; идеи должны вспыхивать сами – в случайных промежутках, между бесполезными делами. Для этого нужны люди. Много всяких людей вокруг. Постоянно. Они достают до кишков, от них прячешься, вырубает телефон, мечтаешь о морских пейзажах Айвазовского, где только море, море, море, и никаких портретов; а все равно – ныряешь в многолюдье, как рыба в воду. Интеллигента можно погубить, запихнув в густую человеческую массу. Задохнется. Для человека дела нет ничего страшнее, как сесть на корточки, среди голых безжалостных стен, и отключиться от внешнего мира. Потому что он сам себе не нужен. Неинтересен. Ужасная вещь – тишина. Почему охранник не хочет смотреть в глазок? Почему оставляет его в полном и проклятом одиночестве?

Какое же счастье, что это игра.

Скрежетнула кормушка.

– А вот, пожалте, водичка. И хлебушек. Какой уж есть. Слегка плесневел. Но уж вы не взыщите.

– Сам пей свою водичку.

Мелькисаров злобно ходил по камере. От стены до стены. Мелкими шажками, чтобы наподольше хватило. Раз-два-три. Три-два-один. Дурацкая была затея, пермяки не прогадали, а он попался. Раз-два-три. Сколько еще? Минута, две? Никогда не знал, что значит страх закрытого пространства. Не догадывался, что свобода – это возможность просто встречаться с кем хочешь и даже с кем не хочешь. Четыре-три-два. Они с братом себя испытывали. Нырнуть и не выныривать до последнего, пока от напряжения глаза не полезут на лоб, в ушах не зазвенит и по сознанию не вмажет самый страшный страх: конец! Или ночью, перед сном, принять неудобную позу, запретить себе шевелиться, внушить себе, что умрешь, как только сдвинешься с места. И представить, что ты задавлен плитой, забит под обломками дома, и больше никогда – ты слышишь? никогда не сможешь двинуть рукой или ногой. Немедленно все начинало чесаться, кости ныли, суставы затекали, ужас проползал сквозь позвонки, как скользкая нитка сквозь игольное ушко. Раз-два-три. Сколько еще. Сил больше нету терпеть.

Ключ повторно скрежетнул в замке. Этот звук показался музыкой сфер, ангельским звоном.

Веселый вертухай наслаждался эффектом. Объяснял: понарошку – оно кошмарней, чем в натуре. В натуре привыкаешь, притираешься, не бунтуешь. Главное не восстать внутри себя, приноровиться, принять кривую форму жизни. Потому понимаешь, что бывает хуже. Одиночка перед вышкой. Рудники. Значит, можно и так пожить.

А Степан Абгарович – наслаждался. Пружину сжали до предела, а она взяла – и распрямилась. Распались преграды, очистился воздух, можно идти в любом направлении, говорить с кем хочешь, или ни с кем не говорить, но главное, что и то и другое – по собственной воле. Хорошие лица у пермских ребят. И даже поэт ничего.

Уральское настроение, как послевкусие, еще доживало в нем. Дома было так хорошо, так по-своему. Все вещи на привычных, правильных местах. Хочется потягиваться, бездельничать, было бы лето – побродил бы босиком. Только что делать с едой? Сбежать в ресторанчик? Заказать домой? Лечь натошак и побережь здоровье? Но сначала все же надо Жанне позвонить. Куда она запропастилась?

своей благородной заботе; чем все обернулось? Ваней. «Скорой помощью». И застойным номером советского пансионата. Жанна сидит в уголочке, у нее на коленях потертый жостовский поднос, яркие аляповатые цветы на черном лаковом фоне; на подносе холодный шашлык; как ни странно, очень вкусно, хотя и жир обрюзг, и жилки проступили, вздулись во вчерашнем мясе. Укол продолжает действовать; бесшумный Ваня дремлет на скучной кровати.

Вообще, на этой базе отдыха все такое пыльное, почти убогое. Когда-то казалось пределом мечтаний – попасть в генеральский санаторий, где не хамят, не воняет горелым омлетом и чесночными, рыхлыми котлетками; но теперь-то, теперь? Почему с таким восторгом он говорил о *роскошном местечке*? Наверное, имел в виду, что очень тихо, безопасно и никакого риска повстречать знакомых: кто же из людей их круга сунется сюда? Все-таки Ваня очень умный, все просчитал, оценил, и в этом смысле местечко – роскошное. Да и в целом, так ли плохо? Омлет – настоящее пиршество, простая и обильная еда. Здоровые, сильные сосны. Дорожки мягкие, в иголках; днем, когда разгорается солнышко, они становятся чуть сырыми. Обслуга незаметная, не мозолит глаза, не путается под ногами. И даже кровать не казалась бы такой старомодно-скрипучей, если бы они *осуществили задуманное*. Если бы судьба не пошла против них.

Вспыхнуло новое, незнакомое ощущение: побежала волна по телу, снизу, по животу – ледяная, плотная; кончики сосков замерзли, в них зародилась сладкая щекотка. Что это? зачем это? не сейчас. Спи, Ванечка, спи, все еще успеется, мы доведем *задуманное* до конца, но ведь нам не завтра умирать, верно? А *задуманное* надо непременно довести; она впервые в жизни ощутила, что значит настоящее желание: не просто вожделение, возведенное в степень, а полное доверие, слияние, взаимное присутствие друг в друге, жизнь друг через друга, общая вечность; страсть – условие, а не причина счастья. Наверное, почувствовать все это – и значит быть настоящей женщиной.

В сумерки Иван проснулся. Туманно посмотрел, очнулся до конца, присел; зацепив руку, поморщился.

– Все-таки болит. Мало мне было пореза, так еще и тяжелый ушиб. Еще раз прости меня, Жанна.

– Еще раз извинишься – и не извиню. Слава Богу, все обошлось. А встречу мы перенесем на неделю. Ты как насчет следующих выходных?

– Нормально. Только я сам тебя повезу, идет?

– Договорились.

– А теперь прости, я должен идти в тутошнюю контору, разбираться с

казенным имуществом. Надеюсь, снегоход был застрахован, иначе они меня разорят.

– Разорят? Да ведь он не может стоить больше десятки.

Смутился.

– Я хотел сказать, не хочу платить понапрасну. Закон денег: люби их, иначе они подадут на развод.

Оделся с явным трудом; правую руку долго продевал в рукав; ушиб, видимо, и впрямь серьезный. Напряженно улыбнулся на выходе – думая о визите в контору – и оставил ее одну. В ресторане не сразу смог расплатиться, здесь про какую-то страховку трагически думает, даже не подошел, не поцеловал. Он что, жадный? Да нет, не может быть. Просто так вышло, совпадение. Но поцеловать перед уходом все равно бы мог.

Звонок.

– Степочка? Ты что, в Москве? Вот это номер. Да, знаешь, милый, я тут заскучала, одной тоскливо, мы тут у Яны, в Салослово, ты же знаешь.

Как же это, оказывается, трудно и гадко: убедительно врать. Только бы не сказал: сейчас приеду.

– Может быть, заедешь? А, ну хорошо. Я вечером буду. К тебе заглянуть?

Срочно Янке звонить; подруга она ей или кто? Только бы Седой не объявился раньше времени.

Глава восьмая

1

Погода обезумела. То оттепель, то минус двадцать; сутками валит с неба, ни пройти, ни проехать, а потом все вытаивает за два дня, влага улетучивается без следа и сухая колкая пыль мечется по асфальту.

Сдвиг по фазе начался в ноябре; резко и внезапно потеплело, как будто по всему периметру Москвы и Подмосковья включили подземный обогрев. В городе стояла берлинская осень, ровная, бесцветная, сырая и тоскливая, зато без гремучей смеси дождя и снега. За городом вообще был ранний апрель: яркие ростки раздвигали пожухлую соломку, ни одного снежного пятнышка; на деревьях набрякли почки и с веток шумно стекала влага.

Новый год отпраздновали в слякоти, а потом накатила метель, все обледенело и застыло. Только тут Мелькисаров вздохнул с облегчением; был момент, когда уже казалось: все, облом, завязка сама собой развязалась, сценарий нужно переписывать. Нету снега – невозможны Сорочаны; не будет Сорочан – не завяжется интрига. Котомцев говорил, что в кино так бывает: долго, со вкусом выбираешь натуру, расписываешь график съемок, выгружаешь реквизит, а зима не приходит. Или же наоборот. Краснознаменная осень кончается поперек октября: все запорошило раз и навсегда, жизнь замерла подо льдом. А у тебя по плану – сцена в лодке. И приходится сооружать обманку, городить декорацию; нехорошо, конечно, но ничего не сделать: в конце концов, в кино все подворовывают кадры.

Потом был змеиный февраль, со стужей и снежной дымкой, как положено; начало марта снова огорчило. Погоду бросало из жара в холод, лихорадило. Утром жижка на дороге, вечером каток, с утра опять потеплело. Затем в Москве установился арктический холод; в Челябине и Перми Степан Абгарович почти согрелся. Уральские ветры старательно заползали под шарф, выстужали тело изнутри; и все равно – куда теплее, чем в столице. Честный мороз, а не влажная московская душегубка.

На последней неделе марта, можно сказать, финальной и предпраздничной, декорации опять переменялись. Снег спрессован, насквозь проморожен, сугробы закрывают крайнюю полосу, всюду безнадежные пробки. При этом солнце наступает на город тремя накатами,

одним утренним и двумя дневными. Часам к десяти раздвигает серую дымку, начинает делать пассы, дает установку: растаять! Растратив первые силы, отползает в сторону, до двух, до трех часов. И снова переходит в наступление. В пригасшем воздухе включается дерзкий свет, дома и деревья сияют ярко-желтым, пахнет подтаявшим льдом. Следует недолгое затемнение, всего на полчаса; и еще один световой удар. Короткий, но сильный; зиме – нокдаун. Свет уступает место сумеркам, сумерки быстро переходят в ночь.

Еще дней пять-шесть такой интенсивной работы, и город протает до основания. Пригород еще поупрямится, но хватит его ненадолго. Последняя немая сцена их спектакля будет разыграна в полновесенней обстановке.

Теплой и дружеской, как говорится.

2

Иван исправно подвозил конверты со снимками; Жанна больше их не распечатывала. Просто складывала аккуратной стопкой в туалетный комод из ореха, на дно специального ящичка. Там же лежала заветная флешка. И раз навсегда отключенный навигатор. Запирала почерневшим ключиком потаенную дверцу: ранний восемнадцатый век, развратная Франция; тогда умели играть в секреты и в совершенстве владели искусством их сохранять. Ключик прятала в футляре от очков, футляр убирала в косметичку, а косметичку хранила в шкафу постельного белья. Как в русской сказке: в дубе дупло, в дупле яйцо, в яйце игла, на кончике иглы Кащеева смерть. Фото и флешка – ее обвинительный акт. И ее защита от возможных обстоятельств. Навигатор – бесполезная дразнилка; раньше он был нужен ей, как воздух, потому что заочно притягивал к Степе, а теперь бесполезен, потому что не связан с Иваном.

Вчера она заехала к Забельскому. Весь понедельник металась, меняла планы. К двенадцати уверила себя, что пора запускать процедуру. В час тридцать передумала: зачем спешить, потом ведь уже не отменишь, пускай себе жизнь течет, куда ей самой течется, и – посмотрим. До пяти крутилась по квартире, перебирала вещи, перекладывала простыни в ящик для полотенец, а полотенца – в отсек для покрывал. В шесть поняла, что больше так не может, несколько раз снимала трубку, начинала набирать знакомый номер. И в последнюю секунду отменяла. А в семь случайно

дозвонилась. Вопреки желанию и воле. Просто-напросто замешкалась, опоздала нажать отбой.

Забельский тут же отозвался: Жанна, это ваш номер? я не ошибся? приветствую вас, дорогая. Был еще любезней, чем обычно, записную книжку не *шерстил*, сразу назначил: завтра. С утра пораньше. Не на даче, а в московском офисе. Жанне даже помстилось, что Забельский немного злораден; дескать, он предупреждал, предугадал развитие событий, такая у него работа: внимательно смотреть на мир в ожидании всеобщего провала, иначе быть не может, потому что иначе не может быть никогда. Хотя откуда у него силы на злорадство? Месяц назад он перенес микроинфаркт; говорят, на «скорой» увезли из сауны; все в конце концов обошлось, легко отделался, но, по слухам, сильно погрузтел.

Адвокатская контора «Забельский & Partners» располагалась в сталинской высотке на Котельнической набережной. От Потаповского до Котла рукой подать, но Покровский бульвар безнадежно стоял, так что она чуть не опоздала. (А в прошлый раз приехала заранее!) Продвигалась мелкими толчками, и, как положено в приличной пробке, думала, думала.

Автомобильные раздумья – жанр особый. Мелькают обрывки разрозненных мыслей; вспыхивают и гаснут лица близких и далеких; огнями светофора подсвечены картинки домашнего быта. Поставила стиральную машину? запустила, зеленый, проскочим. Но в глубине, на корневой основе, отростки мыслей и чувств сплетены жестко, почти неразрывно. Делать последний шаг или остаться на месте? Разрушать существующий дом ради будущего, которого может не быть? Давать самой себе зеленый свет или тормозить на красный? Отключать ли Степана от сердца? Вростать ли, вплестаться ли в судьбу Ивана? Тёмочкин, что ты на это сказал бы? А мама – если бы была жива? Решаться? Решаться! Вперед.

Она влетела в предбанник энергично, как настоящая разведенка. В одном пакете полное собрание фотографий. В другом распечатка – оффшоры, клиенты, реестры. Даже навигатор прихватила, заранее не зная – для чего. Сосредоточенность, воля, решимость. Секретарь доложил; Забельский выглянул из кабинета, устало улыбнулся, заговорил с ней пергаментным голосом – тонким, весомым и мягким.

– Жанна, я чувствую, вы готовы? Объявите вердикт? Дадите мне установку?

Что-то было в нынешнем Забельском смутное, двойное. Он сохранил все прежние манеры и привычки. До начала разговора был вальяжным и чуть безразличным. Приступив к делу, как бы вдруг увлекся, даже не воспользовался узорчатым ножом для бумаг; просто засовывал свой

толстый, украшенный перстеньками палец в незаклеенный край конверта и шумно разрывал бумагу, вываливая фотографии на стол. Подчеркнуто долго вглядывался в каждую. Но прежние манеры разошлись с новым ощущением жизни; было заметно, что Забельский отрешен, внутри себя занят чем-то иным, прислушивается к биению сердца, ощущает трудный кроветок, представляет себе кровавые тельца, думает: каково им?

Но вот и фотографии изучены, и наводящие вопросы заданы, пора бы уже и решить – а что же будет дальше.

Дальше должна была быть распечатка счетов и реестров. Разговор о самом неприятном, о дележе имущества. Но Жанна вдруг притормозила. Распечатку не отдала. И вместо того чтобы сказать про грядущий развод, сказала: хочу сохранить семью.

Забельский сначала не понял, переспросил: семью? сохранить? А зачем же снимки показали? Жанна вильнула в сторону (да кто же может женщину понять? она и сама, Соломон Израилевич, подчас не в состоянии), но тут же нашлась. Если не получится уладить дело миром и вернуть заблудшего мужа в семейное лоно, все само собой возобновится. И он, Забельский приступит к работе. Пускай будет в курсе заранее; мало ли что.

Сложила фотографии в конверты, спрятала в общую папку.

Забельский не обрадовался и не огорчился; он равнодушно констатировал. Азарт утолен и погас, осталась добросовестная скука. Воля клиента закон для адвоката; он всегда готов вступить за интересы Жанны – как Жанна их понимает. Обходимся без резких движений? И ладно. Про активы думать не хотим? Как угодно. Ведь мы же говорили, что долгий брак – б-рак, прислушайтесь – распространяет спасительные метастазы, и чем дольше длится болезнь, тем больше шансов на выздоровление...

А Жанна слушала вполуха и сама себе пыталась объяснить, почему же сдала назад. Какой рычажок сам собой нажался в сознании, переключил готовое решение. Наверное, вот в чем дело. Она не столько осознала, сколько ощутила, сразу, без сомнений, шкурой: если начнется развод, их отношения с Иваном переменятся. Сейчас он кто? Исполнитель заказа, незаконно привязавшийся к клиентке. Одной из многих. А станет кем? Потаенной причиной распада семьи. Внешняя причина – Стёпочкин роман. А внутренняя – он, Иван Павлович Ухтомский. Ему ли этого не понимать? Как он отреагирует на смену роли? Был романическим приключением на фоне мужней измены, а станет новым центром ее жизни. Насколько глубоки его чувства? Где черта, которой он не переступит? Выдержит ли он груз ответственной любви? Или ограничится пустым романом?

Роман – не брак. Роман не может быть удачным, неудачным. На то он и

роман, чтобы иметь конец. Что будет между ними, что ждет впереди – кто же знает? Оборвется ли тонкая связь – неизвестно. Неизвестность и манит, и давит. Но мучаться она пожалуй что готова, а потерять надежду – нет. Пускай все длится и пускай все путается. Она потерпит. Главное чтобы никто не отнял того, что есть сейчас. Незаслуженного, мучительного, горького, безумного, тихого счастья.

– Что вы думаете об Ухтомском?

На Ваниной фамилии она включилась. Смутилась.

– А что мне, собственно, о нем думать?

– В том смысле, снимаем объект с наблюдения? Отменяем наружку? Или продолжаем копить компромат? Чтобы в случае чего – усилить линию обвинения?

– Я подумаю день-другой. И сама объявлю Ивану Павловичу.

Только посредников ей не хватало. Но вот что надо будет сделать непременно, так это прочистить архив на своем почтовом ящике. И, увы, стереть в мобильном его эсэмэсы. Если Жанна однажды порылась в компьютере Степы, кто сказал, что он не оплатит ей тем же? Она обнаружила в его компьютере оффшоры, а он найдет в ее мобильнике следы украденного чувства. Степа не ревнив, но ведь она ему и не изменяла – до сих пор; если Степа заподозрит неладное, он проявит себя неожиданно, и заранее не угадаешь – как. Береженого бог бережет. В туалетном комодe – алиби. В компьютере и телефоне – приговор. Первое прячем, второе стираем, и посмотрим теперь, кто кого.

Забельский подытожил:

– Двенадцати нет, коньячку не предлагаю, но может быть, бокал «Вдовы Клико»? Мне, к сожалению, пока нельзя, но я бы с удовольствием посмотрел на ваше наслаждение. Знаете, как простой деревенский мужик – допился до цирроза печени, сам пить уже не может и приглашает собутыльников, чтобы напоследок поглядеть, как люди выпивают.

Соломона стало жалко. После инфаркта в нем появилось что-то вялое, человеческое, хочется погладить по голове, потрепать за обвисшую щеку. Шампанского ей ну никак не хотелось, тем более она за рулем; но сердце не камень. Кошачьего вида помощник принес на подносе бокал, Жанна пригубила, укололась ледяными пузырьками. Забельский смотрел на нее, безвольно улыбаясь; разминал сигару, блаженно внюхивался в сочный табак и откладывал в сторону: нет, невозможно, табу, воздержание!

Петра Петровича он подцепил у Томского. Чета благонадежного банкира отмечала серебряную свадьбу; в их кругу событие невероятное: четверть века без права развода, как царский солдат на государевой службе. Почти все банковские жены первого призыва прозябали в запоздалом разводе и мрачно завидовали длинноногим куклам, которые состояли при их бывших мужьях. Только Таня удержалась на плаву: Томский на старости лет решил поверить в Бога и остепениться. Татьяна быстро и мелко крестилась, всем говорила: Господь управил, Пресвятая Богородица уберегла.

А при чем здесь Богородица? Спасибо власти. Лет пять назад Андрею позвонили, пригласили на Старую площадь. В условленное время черный «Майбах» и два пятнистых «Хаммера» охраны стояли на углу; шефа не было. Полчаса, час; наконец, он соткался из воздуха. Пальто расстегнуто – при минус двадцати восьми, в сырой Москве да с полноценным ветром. Ничего не видит и не слышит. У машины не остановился. Ребята выскочили из дверей и обтекли его со всех сторон, как сорвавшийся рой облепляет своего пчеловода. Над черным роем поднимался белый пар.

Что там случилось, что стряслось, он никому не говорил. Просто ушел в себя – с головой. И думал, думал, думал. Что делать? На что заложиться? залечь на дно, затаиться и ждать: когда-нибудь, бог даст, еще всплывем, и всплытие – покажет? Или никакого всплытия не будет? Раньше надо было залезать за штору, укрываться в стенном шкафу: вода досчитал до двадцати и произнес роковые слова: кто не спрятался, я не виноват...

Татьяна боялась инсульта, даже думала про самоубийство, на всякий случай утащила из ванной таблетки; к счастью, нашлись в окружении Томского добрые люди, почти что насильно впихнули в машину, срочно увезли в монастырь Раифа, это под Казанью, очень модный.

Всю неделю ошарашенный Томский поднимался затемно, в полудреме отстаивал долгую службу, на несколько секунд проваливаясь в легкий сон и тут же пробуждаясь; чувствовал, что ноги опухают, оплывают, и почему-то радовался боли. Потом выполнял послушание. Он просился на какие-нибудь общие работы, но хитрый молодой игумен качал головой: нет-нет, такой подарок надо заслужить, идите в бухгалтерию и разбирайте скучные счета. Время летело; раздавался колокол к обеду; голос чтеца гудел под сводом, смысл прочитанного то доходил до сознания, то вдруг загустевал словесным туманом; в прозрачном бульоне с перловкой плавали оранжевые столбики моркови, и ничего вкуснее, ничего красивее он в жизни своей не ел. Разве что молочно-желтое пюре – с пахучей грибной подливкой. Коричневой, тягучей. На второе.

Перед самым отъездом, после молебна в дорогу, игумен пригласил к себе. Сел напротив в тяжелое кресло, вольготно раскинув животик, как раскидывает черный обчиканный кот, весело глянул сквозь круглые очочки, а ля довоенный доцент; кажется, остался доволен.

– Ну как, дорогой мой, полегчало?

И Томский сказал:

– Полегчало.

Он возвратился из Раифы тихий, потрясенный; спросил жену: как же я на исповеди буду говорить про то, что в банке происходит? По девочкам ходить перестал, издал негласное распоряжение: кто из руководства затеет роман с подчиненной и не женится, сдает двадцать тысяч в черную кассу. Таня тоже стала захаживать в церковь – и по-настоящему втянулась в это дело.

Поэтому гулять решили не в Греции, не на Сардинии и не в сырной деревне Грюйер, которая только-только стала входить в настоящую русскую моду. Самолетик Томского с любезными гостями приземлился в аэропорту Бен-Гуриона, и все на полной скорости помчались в Иерусалим.

Весело мелькали белесые холмы, курчавые оливы, синее небо; вдоль дороги брели правоверные евреи в меховых шапках, руки за спину, походка шаткая, перебирают ногами, как грустные черные ослики; вечная еврейская весна против неизбежной русской зимы. Поселились в отеле «Кинг Дэвид»; хороший отель, полноценный, но любоваться некогда: веселье было жестко расписано по минутам.

Пока распихивали вещи по шкафам и тумбочкам, Жанна вслух завидовала: вот, мамин папа, Абрам Ильич Гофштейн, мог бы родиться и здесь, в тепле и на солнышке, а вместо этого родился в ледяной глуши, на северах; и пулуеврей, и в холоде, это как-то слишком; ты посмотри, какое солнце, ты погляди, какие белые строения, как старые сахарные головы, ну правда ж?

Сглазила Жанна погоду, перехвалила. Не успели они спуститься в сияющий холл, как началось светопреставление: свистнул разбойничий ветер, тяжелые тучи схлопнулись, ни одного просвета, город обдало мгновенным холодом, и повалил крупнозернистый снег. Оливы похасидски обросли сугробами, машины стали сбиваться в стаи, заныли, прохожие попрятались в магазины и лавки. Через час по тучам пошла мощная трещина, обнаружилась синева, выглянуло солнце, но было поздно: Иерусалим замело.

Программу отменять не стали: сначала визит в Вифлеем, встречает почетный палестинский караул, паломничество к месту Рождества

Христова; затем подробный осмотр Гефсиманского сада, последняя земная ночь Спасителя, и особый молебен у гроба св. Елизаветы, заказывать пришлось почти что за полгода вперед. После молебна – Кедронский поток и прохождение по Виа Долороса; поклонение в кувуклии Храма Гроба Господня и еще один молебен в греческом пределе.

Ехали по осклизлой дороге, изумлялись природно-климатическим чудесам.

Палестинский караул был разношерстный и комичный; Вифлеем как Вифлеем, Долороса как Долороса, можно подумать, не знали. В Храме было туристическое мельтешение, сквозь которое туда-сюда сновали равнодушные монахи; и весь он оказался какой-то аляповатый, неупорядоченный. А вот вид на город с Масличной горы весьма удался. Пахло молодым неуверенным снегом и легким холодом; камни гробниц покрылись ноздреватыми сугробцами, вечнозеленые деревья проседали под снежной массой, Старый Город побелел, отяжелел, отёк, только купол золотой мечети по-прежнему сиял ледяным жаром.

4

Соблюдя положенные ритуалы, гости наконец-то стали пировать. В ресторанном зале погасили свет, показали картину работы Котомцева; детские снимки были затасованы с обрывками домашней киноплёнки сорокалетней давности: худящая Татьяна толкает родительскую байдарку; интервью в каминном зале со старенькой мамой; вырезки из газет... Похлопали, одобрили, все разом заговорили. Жанна растворилась в кругу подруг, стакнулась с Аней, Таней, Янкой; Степан Абгарович выпил, закусил, поддакнул Томскому и улизнул от скуки в холл, понаблюдать за местной жизнью.

Здесь он и увидел Петра Петровича. Они разговорились.

Петр Петрович ничего не скрывал. Говорил про то, как надоело кроить заказные картины, склеивать красивый образ из обрывков бессмысленной жизни. *А жизнь у вас, у богатых, пресная. Как рис в японском ресторане: без черной жижи и зеленой гуши – не съесть.* Петр Петрович нарочито произносил по-народному: *жизнь*. Нанимаете профессионалов, картинка выстроена, баланс взят, а глаз остановить не на чем. Деревянные улыбки, дорогая безвкусица, недолюбленные дети, всем на всех наплевать. Про нормальных людей снимаешь, так у них в альбомах дети с наглыми глазами

любимчиков, кавардак за праздничным столом, смешные сцены, все хохочут или ругаются до настоящей драки; просматриваешь видеоархив – кадр плывет, камеры трясутся в нетвердых руках, зато какие попадают сцены! Умилительные до слез. Собачка ползет на брюхе к любимой хозяйке, оставляя на паркете мокрый след: описалась от радости, давно не видались. Батюшка кунает младенца в купель, младенец забавно кряхтит и морщится. На диване дедушка в орденах, а рядом его старый пес. Тоже с орденами. Сидят гордые, глуповатые, добрые; грустно, скоро умрут оба...

Петр Петрович увлекся; Мелькисаров его осадил: а, так вы и про бедных снимаете? без денег? я и не знал; ну что ж, благородно.

Котомцев поперхнулся. Ну да... и правда, чего это я. Меняю пластинку.

И тут Степан Абгарович понял: вот он, счастливый случай, сам подвернулся; Петра Петровича ему еврейский бог послал.

– Слушайте, Петр Петрович, меня давно беспокоит жена.

– Хороший зачин для романа.

– Будете подначивать – упустите заказ.

– Прошу, мессир! Что угодно, но только не это. Заказ – святое. Я весь внимание и сама серьезность!

Мелькисаров не стал погружаться в подробности. Кто такой этот Петр Петрович, чтобы посвящать его в семейные тайны? Интеллектуальная услуга, талантливый парень, но в общем-то пустое место. Ничего он не поймет в их непонятной жизни. Неужели же рассказывать ему про Тёму? про то, как Степан Абгарович первый раз увидел сына: в аэропорту, укутанного, упрятанного в глубь меховой берлоги? Из этой берлоги сияли два огромных осмысленных глаза, темных, влажных, доверяющих и таких родных, как будто бы ты сам на себя смотришь из другого, маленького тельца. Тёмины глаза – всегда перед ним; нельзя сказать, что он их *помнит* (что такое память? нервная игра воображения), он их не помнит – он их *по-настоящему видит*, эти глаза и сейчас перед ним. Котомцев послушает, послушает – и дерзко спросит: а где сыночек ваш? в Вевейске? и как давно с сынулей не общались? С Нового года??? Ни письма, ни звонка? Да, да, конечно же: это настоящая любовь.

Но при чем тут звонки. При чем письма. Пустой обмен голосовыми сигналами, пересылка знаков в цифровом формате. Ты же не станешь говорить сам с собой? не станешь сам себе посылать электронку? Тёма – в нем, при нем, всегда. Как Жанна, на которую внимания не обращаешь, но без которой жить уже невозможно. А станешь объяснять про высылку ребеночка в Швейцарию – собьешься на самооправдание. Но перед сыном

он не виноват. Разве что перед женой. И то – поневоле. Вина перед ней – это своего рода цена отсечения, цена избавления Тёмы. Врубится Котомцев в тонкие материи? Как же. Нахмурит брови, покажет всем видом: путаетесь в показаниях, уважаемый С. А. Но ладно, ладно; это ваше право; заказчик может замудрить, за это он и деньги платит, а мы уж как-нибудь по-своему распутаем. По-режиссерски.

А Мелькисаров точно знает, когда и почему им было принято решение – вытолкнуть Тёму. Так в последнюю секунду, отвлекая внимание конвоира, выталкивают милых деток из лагерного вагона – в толпу, к чужим. Не *он принял решение*, а *решение было принято – им*. Через него, подсознанием, безличной силой, если угодно, судьбой. Степан Абгарович человек конкретный, предельно точно формулирует мысли. И случилось это в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое марта две тысячи ноль четвертого года.

В девяносто девятом взлетели на воздух и обрушились горкой детских кубиков московские дома, полыхнула и погасла война в Дагестане, похожая на страшные учения – и на экранах замелькали новые лица спокойных ребят. Между прочим, Степан еще после дефолта записал в дневник: «Старикам пора на пенсию. Скоро придут мужики. Лет за сорок, *оттуда*. Нам станет богато и грустно. Какая-то логика в этом есть. Чекисты эту страну создали, им ее до конца и разваливать. А потом, быть может, что-то и начнется». Правда, попозже подумал – и стер.

В две тысячи первом стало стабильно. По-настоящему богато – через год. В очень средней полосе финансов, куда Степан заранее отполз от слишком бурной жизни, вообще никого не трясло. С государством он не бился; краем уха что-то слышал про цензуру и прочие веселые дела, но именно что краем уха. Русского телевизора он давно не смотрел и местных газет не читал; на кой они ему сдались, если давно уже есть Интернет и тарелка?

Ведь как устроен современный мир? Он преодолел реальные границы. Люди общего круга ищут и находят *своих* – через форумы, взаимные рекомендации и пересылку адресов. Дескать, этот понимает, с этим можно. Поверх планеты нарастает новый *мыслящий туман*, планктон для будущего интеллекта; он светится, меняет очертания; в нем бурлят, зарождаюсь, идеи. Деловые люди из Европы, намибийские профессора, американские ученые, австралийские или немецкие писатели в закрытых чатах дискутрируют о том, чего французский фермер, обыватель из Висконсина или продавец подержанных машин в Канберре не узнают уже никогда. Потому что одни прорываются в будущее, а другие согласились жить в отстое, во вчерашнем.

С Васей, что ли, говорить всерьез? О чем?! О Web. 2. 0? О виртуальной природе богатства, из-за которой прекратились масштабные войны – и которая вот-вот себя исчерпает, потому что ресурсы опять определяют ход истории? С Васенькой пожалуй что поговоришь. О тарасовских цыганах и о русских бабах, всласть дающих неграм. Между прочим, он потому Василия и взял, что водит осторожно, а политикой не интересуется. С кем поговорить, найдем и без водилы.

Что же до страны, то друзья, подручные, ученики выросли, наливались силой, шли послужить государству; очередь за *ярлыками* на княжение рассосалась, выстроилась очередь за *местом*. Мелькисарову по старой памяти звонили; зазывали в кремлевские гости, попить чайку из тонкостенных советских стаканов – так зовут постаревшего брата: посмотри, как живем. Он заходил в четырнадцатый корпус, брел привычным кривым коридором по мягким кошачьим дорожкам, в осторожной и священной тишине. Старость отсюда как ветром повыдуло: неоперившаяся молодежь и два-три сверстника в серьезных кабинетах. Тонкий яд разливался по жилам; он впервые почувствовал зависть. Не азарт игрока, не жажду победы, а мертвое чувство, что ты опоздал навсегда, а вот эти мерзавцы – успели. Ты просчитался, ушел накануне подъема, на спаде; они – дождались и взяли банк.

Дело было не в деньгах. Денег – хватало. Они перетекали из Шанхая в Лондон, оттуда струились в Нью-Йорк; во Франкфурте бились на мелкие шарики, неуследимо разбегались врассыпную и снова стекались сверкающей лужицей в Дели, чтобы скользнуть сквозь Мадрид и оказаться в Сан-Паулу. Текучая карта вложений – все равно что карта творения мира; ничего окончательного, определившегося. Где-то внезапно вырастают горные хребты, а где-то вдруг пересыхают целые моря, земная кора не застыла, она рождает собственную форму и убивает неудавшиеся замыслы, стирает в прах и возносит до неба. Только что все было тихо, гладко, но вот уже раздуваются по-жабьи пузыри, растет недвижимость в районе Сохо, на Арбате и на центральной улице Пекина, где торгуют печеными змейками, а рядом ресторан «Шуньфен». Секунда – и пузыри отвратительно лопнут, на города обрушится зловонная жижа; но нет, они просели, стушевались и тут же стали вздуваться другие...

Без денег счастья нет, но счастье – не в деньгах. Хотелось снова поучаствовать в большом, реальном деле; кольнуться наркотической смесью успеха и власти... Слава Богу, не кольнулся, не успел. Когда в Беслане захватили школу, на него повеяло ужасом древнего рока, языческого жертвоприношения; осетинские дети сгорали в напалме;

захватчики казались крашеными куклами злодеев, которых ведут кукловоды; нити протянулись с двух сторон, переплелись; додумывать все это было страшно. Мелькисаров, сопроматчик, четко понимал: *они* пробрили некий уровень сопротивления материала, остановиться невозможно, дальше движение возможно только вниз. Это вам не Ходорковский; это посерьезней.

В марте две тысячи четвертого их пригласили на премьеру. Знакомый банчок дал денег знаменитому поляку Анджею Вайде; тот поставил «Бесов» Достоевского – про смутную русскую жизнь. А про что же и ставить поляку – в России? «Бесов» Мелькисаров не читал; в театре они давно уже не бывали, можно было совместить приятное с полезным.

То ли поляк был мастер заводить приличные знакомства, то ли банковские клерки умели созывать коллег и конкурентов, но публика в партере сидела серьезная. Без пожилых правозащитников с их вечно непромытыми волосами, без театральных знатоков, по чьим обескровленным губам заранее играет ядовитая усмешка; разве что десяток-другой известных режиссеров и актеров, лица которых были знакомы, а имен Степан не знал или не помнил. Политиков тоже не было: премьера пришлась на день президентских выборов; политики сидели по штабам и лихорадочно считали цифры. Были – финансисты, промышленники, фондовики; неброские костюмы, галстуки незабываемых цветов, приятные женщины в скромных брильянтах, давно уже прошедшие испытание роскошью. Все свои, понятные. И Жанна прижалась к нему теплым своим плечом.

Раздался третий звонок, театр затих, свет погас.

На сцене разворачивались страсти. Пыльную жизнь городка взрывали новые веяния; через отстойное пространство несли шарабан; дело шло к чему-то нехорошему; вдруг по партеру пробежал шепоток.

В полутьме зрительного зала разом засветились десятки молчаливых экранчиков: по мобильным телефонам, как спам, понеслась какая-то информация. Владелец «Силовых машин» тучно развернулся к хозяину клинских колбас, главный страховщик страны склонился к девушке из теплосети; все это напоминало детскую игру в испорченный телефон. Угадай на выходе, что было сказано на входе.

Мелькисаров опять почувствовал себя обделенным; сбросить новость было некому, а очередь до правого уха дошла не сразу. Наконец сосед, шоколадник Сорокин, шепнул: говорят, загорелся Манеж! В эту самую секунду литературная кадрили на сцене достигла апогея, и полноватая актриса истерично закричала: горим!!!

Осветитель крутанул прожектора, по заднику заметались яркие всплески, изображая зарево всеобщего поджога.

С трудом отсидев аплодисменты, Мелькисаров, как мальчишка с галерки, рванул в раздевалку. Жанна за ним едва поспевала. Не попрощавшись с коллегами, по-хамски не сказав спасибо режиссеру, они заскочили в машину и полетели смотреть на пожар.

Манеж разгорелся в полную силу. Из-под кромки бесконечной крыши, по всей ее длине, выплескивалось пламя. Раздавался шип беспомощной воды. Жар настигал повсюду. Каждую минуту подъезжало очередное начальство; повторялась одна и та же сцена: чиновник ежился, загораживал лицо ладонью, зачем-то пытался пробраться поближе, но у невидимой, никем не проведенной черты разворачивался, бегом возвращался: пить!

Так продолжалось довольно долго. Но вот огонь на долю секунды притих, как будто пламя решило задержать дыхание перед последним вдувом; вдоль крыши пронесся огненный ветер, послышался страшный хлопок, все опоры обломились разом, и железная крыша просела с жестоким звуком. Жанна вскрикнула, вдавилась в мужа. Оранжевые языки почернели, смешались с углем и пеплом, панически рванули в разные стороны. Как химеры на башнях Нотр-Дама.

С Манежем было кончено. Назавтра здесь будет стойкий запах размокшей гари, разводы несмываемой сажи и пустота.

Домой они вернулись молча. Сели чаевничать на кухне у Жанны. Не романтическая вроде бы семья, техническая хватка, строгий ум. Но безо всякой мистики было неладно. Как будто отравился. Рвоты еще нет, интоксикация уже пошла, лекарство не поможет, поздно.

Жанна включила телевизор. Только картинку, безо всякого звука; не хотелось слышать ничего. Только что закончились выборы президента; показывали графики, проценты, регионы; очередь дошла до штабов. Лица сплошь довольные, даже проигравшие – чему-то рады. Но вот и главный герой этой гонки. В легком черном костюме, спортивный и уверенный в победе. Но какой-то невеселый. Пешком выходит из Кремля, от Боровицких ворот вразвалочку идет по направлению к Александровскому саду: там его торжествующий штаб. На мосту внезапно останавливается и долго-долго смотрит на гаснущее зарево. Небо темное, почти черное, огонек слабеет, вянет, сдается напору пожарной воды.

Тогда и пришло решение. Сразу пришло, целиком, без раздумий. Тёмочку выталкивать наружу. Не считаясь с предлагаемыми обстоятельствами.

Но когда он заикнулся об отъезде, Жанна впервые в жизни вскинулась

и прокричала: нет! нет! не дам! мое. Степан Абгарович попробовал ей объяснить, что к чему. Она, возможно, поняла, но твердо заявила: еду с Тёмой. Мелькисаров возражать не стал, послушно купил ей квартиру на въезде в Женеву; хотя и знал, что это бесполезно: где бы ни жили родители лицеиста, за пионерский забор их не пустят. Таковы уж здешние порядки. Четыре раза в год – двухдневные свидания; на Рождество, Пасхальную неделю и в июле-августе – каникулы; все остальное время – спартанское уединение, погружение в отдельную среду педагогического обитания.

В обособленной среде мозги обеззаразятся, начнут работать по-другому. Глупые привычки детства отомрут, и Тёма станет *там* – своим. На него не будут пялиться, как на шейха, приехавшего тратить нефтяные миллиарды, но не заслужившего право приватной встречи; он вращается туда, где не горят Манежи и где не подрывают школы. Жанна поплачет, потоскует, успокоится; успокоившись – поймет, что по-другому невозможно.

В Женеве она пробыла неделю. Вернулась совершенно ватная, пустая. Смотрела сквозь, как бы видя, но не замечая. Что-то надо было делать. Он думал день, другой; на третий, кажется, придумал. Пришел к вечернему чаю, ускорил сборы надоевшей МарьДмитрьны, поскорее разлил по чашкам заварку, черную, как чифир.

– Ты что это с сумкой? – спросила равнодушно Жанна. – Куда-то отправляешься?

– Смотри!

Мелькисаров пошарил по дну, вынул серого котенка. Хвост полосатый, похож на вязаный чулок. Глаза мутновато-голубые, беззащитные. Жанна была убежденной собачницей – с детства (в Москве животных они не держали; сначала были сплошные переезды, какие уж тут собаки? после как-то не сложилось). Но котенок на ладони – кого не умилит? Она взяла его щепотью за шкурку, пересадила на стол. Серый, издавая игрушечный писк, пополз.

– Мальчик, девочка?

Казалось, начало срабатывать. Но тут же она поменялась в лице. Как не менялась никогда – ни до, ни после. Скривила презрительно губы, как недовольный контрагент во время неудачной сделки.

– А котенок это что, *вместо*?

– Да ты что? какое *вместо*? Просто – увидел на Птичьем рынке.

– И на Птичку съездил так, случайно? Не смеди.

Жанна встала. Сжала котенка в кулаке. И трясая кулаком (мелкая головка моталась из стороны в сторону, придушенный котенок сипел), с

ненавистью, по-мужски, сквозь зубы процедила:

– Иди ты на хер, Мелькисаров. Сопроматчик гребаный. Что ты в жизни понимаешь? Что ты понимаешь в жизни? Я одна, ты знаешь, что это такое? одна осталась. Сын вернется – большой и уже сам по себе. А ты мне – кота.

– Не бей котенка, это не посуда. Вон, для этого сервиз есть.

Зря он это сказал. Жанна затряслась и быстро задышала; она была не в себе; еще секунда – и котенок полетел бы в стену, к чертовой матери, чтобы размазаться насмерть, а потом всю жизнь жалеть об этом и себя проклинать. Мелькисаров перехватил ее руку, вдавил большой палец в вену, разжал кулак. Котенок мягко стукнулся об стол. Жанна зарыдала.

Душевный гнойник был вскрыт; она постепенно начала оттаивать; а котенок? что котенок? котенок отправился в Тарасовку; там ему, наверное, хорошо.

Но выйти из полного ступора – не значит снова зажить по полной. Жанна все же стала тихо гаснуть. От безделья чувства отмирают; умирая, рано или поздно потянут за собой и тело. А если тело слишком рано постареет, женская психика выйдет из строя и начнется преждевременный самораспад, досрочное выпадение в осадок. Оно конечно, в этой жизни все кончается, даже сама жизнь; но куда спешить? В общем, надо что-то сделать, встряхнуть как-то, вывести из апатии.

Как? Вопрос.

Дорогой покупкой делу не поможешь; Жанна давно не девочка. Немеряных денег дать? Что она, денег не видела? Путешествия, машины и наряды – все это было, было, было! Остается встряхнуть ей нервную систему, снова вывести из равновесия, заставить действовать, бороться, а потом – раскрыть крапленые карты и подставиться под удар. Это если говорить по существу.

Но Котомцеву не объяснишь, что ради жизни приходится делать больно и даже гадко – и себе и близким людям. Ему достанет и простого объяснения: понимаете, Петр Петрович, на определенном уровне благополучия энергия начинает утекать из жизни, как утекает газ из горелки; надо газ перекрыть, а энергию вкачать обратно.

– Как же это сделать?

– Разыграть!

И больше никаких экспериментов. Никаких, поеду сам и подготовлю. Они будут в машине вдвоем. Вместе, рядом. И если что... и никакого если что.

Место Жанна выбрала сама. Долго колдовала в Интернете, перебирала варианты, надеялась найти хоть что-то среднее между холодной роскошью и теплым примитивом. Ничего не получалось. Либо глянцевая скука паркоотелей, одинаковых, без признаков души – круглые лампочки в гипсокартонном гладком потолке, равномерно натертый пол из очень светлых и широких досок, за непроницаемым для воздуха окошком – четкая кромка прямоугольного пруда, одновременно высаженные лесопарки, квадратно-гнездовые, скучные, как смерть; стриженный под бобрика кустарник. Либо милые, просторные, живые заросли тенистых санаториев – быстренько подкрашенных, обитых свежей финской рейкой, но все равно застойных. Ванной нет, над стойкой душа нависает бак водонагревателя, горячая вода непременно закончится, на двоих ее, конечно же, не хватит; в унитазе, по линии стока, кроваво-ржавый след от железистых примесей; в спальне на полу цветастый палас, пропахший чем-то лежалым. Сплошное «Иванцово».

Только один вариант подошел. И то условно. Пансионат «Барвихинские дали». Огромный елово-сосновый парк, следы безразмерного барства застойной поры. Парк явно подпорчен бежевыми длинными корпусами: санитарная гордость четвертого медицинского управления ЦК. Но в самой глубине, поближе к речке, затерялись несколько новеньких домиков, европейских, правильных, удобных. В два раза дороже. В миллион раз лучше. Чтобы не огорчать Ванюшу и самой не огорчаться его огорчением, сказала ему, что заплатит по дороге, а он ей обязательно вернет.

Вернет. Конечно же вернет. Но как бы за обычный номер. Так она решила. И вообще – ей очень нравится решать. Всю жизнь прожила – не знала за собой такого. Да и кто бы мог подумать? Процесс принятия решений – мучительный, тягучий; сотни вариантов толкутся возле сердца, как посетители в приемной; заранее не скажешь, кто и почему пробьется в нужный момент. Но когда случается щелчок, подсознание выталкивает на язык финальные слова, да или нет, по телу разливается блаженство, уверенность в себе подогревает градус жизни, хочется действовать, и пусть никто не встает у нее на дороге!

Итак, они поедут на такси. На самом дорогом и самом лучшем. До пробок, выберутся по Можайке за пределы озабоченной Москвы, свернут на узкую Рублевку, прокатят мимо их ресторана, сентиментально помашут

ему и, может быть, поцелуются, не замечая толстого водителя – водитель будет непременно толстый. Приедут раньше приемного часа, бросят вещи и пойдут бродить, а потом поедят горячего борща, настоящего, не как в прошлый раз: тут сохранились остатки советского строя, а советский повар борщ готовит классно, по-другому не бывает. Выпьют замороженной водки из рюмочек на ножке, закусят местными моховиками, и пойдут наконец размещаться.

А там – Иван начнет неловко торопить события, а она их слегка оттянет, но про дела говорить не будет, про дела – наутро, за завтраком, по-семейному. Просто тихо и нежно прижмется, согреется душой и погрузится в ласку, как в полусон. Нежность незаметно перейдет в поцелуй, разгорится кровь, желание захватит их целиком, и они беззаботно провалятся в радость.

6

Ревность. Надо вызвать ревность. Пускай встревожится, захочет разобраться, а может, побороться или даже отомстить. Но с самого начала – навести на легкие сомнения, а до конца ли все серьезно? И все ли так, как кажется на первый взгляд?

Петр Петрович слушал молча, жадно; дослушав, захохотал во весь рот. Зубы у него крупные, лошадиные; смеясь, он закидывал голову; по шее туда-сюда ходил кадык. Отсмеявшись, стер с лица следы улыбки, резко посерьезнел, как будто переключил тумблер и вошел в другую программу.

– Значицца так, Степан Абагрович. Значицца так. Вы советское кино любили в детстве? Любили, можете не отвечать. Как же его не любить? Доброе кино, про жизнь и про людей. Про такую жизнь, чтобы как у людей. Там был типовой сюжет, бродячий такой. Нехороший парень на спор клеит хорошую девушку, она сначала поддается, размякает, а потом узнает, в чем дело, и дает от ворот поворот. А он уже и сам успел в нее влюбиться. Приходится ему *похорошеть* и завоевать ее сердце по-настоящему. Любовь, так сказать, через разрыв, и перемена жизни через любовь. А? как вам такой слоганочек? Мы римейка ставить не будем, не будем мы ставить римейка, нет, ни в коем случае не станем этого делать, ни за что, даже не уговаривайте! Никакого паренька у нас не будет; будут сплошные девушки. Вместо паренька – окажетесь – вы! А слоганок возьмем, он годится. Эпизоды я вам позже распишу, а сегодня, прямо сейчас готов изложить

канву. Только чур, копирайт уже мой! Вы автор идеи, я сценарист-постановщик. По предложенной ниже схеме – либо я ставлю, либо никто. Идет?

– Идет.

И Петр Петрович стал импровизировать. Жила-была дамочка, очень симпатичная и все такое, но сын вырос, муж ушел в себя, а на его сторонние гулянки она давно забила. Блядки-гладки, что обращать внимание на пириституток? И вдруг возникает сюжетец, в котором ей места нет, а неведомой фифе – есть. Прошу заметить: не пириститутке, а конфидентке. Ну например, получит дамочка фотографию. А на фотографии, вот ужас! муженек с любовницей, но не в постели, не в порыве, прямо скажем, томной страсти, что было бы естественно и в общем-то почти что извинительно, а мирно так, тихохонько, в одной машинке, а она за рулем, как хозяйюшка. Да еще в какой-нибудь значимый день, чтобы важная, личная дата... Вот это полоснет по нервам. Вот это заведет психологию. И действие покатит. Только надо заранее наметить роли.

Итак, нам требуются: приятель-адвокат, готовый поиграть в интересную игру – и заодно проконтролировать события, чтобы не вышли за разумные пределы; верная подруга, посвященная в нашу тайну: она направит героиню к адвокату, а потом оттенит собой основную линию; хороший естественный актер, способный из себя детектива, каковой детектив будет следить за неверным мужем и морочить дамочке голову. А еще – агент по созданию алиби, специалист по отводу глаз и обману ближнего своего!!! Потому что данные будут, вы представьте себе, двойтаться! Карта налево, карта направо, карта налево, карта направо, на одном фото муженек с фефелой, на другом – без оной, и вовсе даже не в Москве, а время-то, время на снимке – одно!!!

Дамочка в недоумении, ей тревожно, она размышляет, жизнь наполняется смыслом, детектив разводит руками, он растерян, я заранее в восторге, ай-ай-ай! Актера я найду: такого, чтоб и симпатичный, и немного жидковатый... доверие вызывает, а увлечься – невозможно, нечем; мало ли что, судьбу лучше не искушать. Любовницу закажем у эскортов, агенты на примете имеются, дам адресок, а вы уж адвокатом озаботьтесь. И подругой. Ведь есть – я убежден, что есть – среди ее подруг такая, с которой у вас, скажем так, доверительные отношения? Поймите меня правильно, я имею в виду в лучшем смысле доверительные. Без нее не обойдешься: она должна сюжетец подтолкнуть на верный путь, перевести, так сказать, стрелку. Тут-то и начнется интересное, интрига завертится,

шестеренки начнут вращаться, глаз не оторвать! А на пике кульминации – развязка, с добровольным саморазоблачением всех и примирительной гулянкой в день Дурака.

А? Каково? Я тащусь.

И тут Котомцев немного сник.

– Слушай, а ломается сюжетец. Пальцем можно проткнуть.

– В каком же это месте?

– Да в самом начале и протыкается. Что если героиня в первой же сцене возьмет и испортит игру? А? Представляете, Степан Абгарыч? И не к подругам побежит, а ринется к любимому муженьку? Прямой наводкой, навывлет? Устроит скандал, отхлещет по морде? И какой тогда адвокат? Какая слежка? Что будем делать тогда, уважаемый заказчик?

– Ничего не будем.

– То есть как? А гонорар?

– Денег я дам по любому. Но случая – не будет. Готов поспорить. Она – не ринется. А даже если ринется, то остановится у двери.

– Откуда такая уверенность?

– Что я, по-вашему, жену свою не знаю?

И как показал дальнейший ход событий, не ошибся.

7

Просыпаться было чуть неловко, даже стыдно, и при этом радостно; как в детстве, когда с утра вся жизнь впереди, а про вчерашнее родители не знают. Оба лежали долго, притворяясь, что все еще спят. Ваня не выдержал первым. Положил ей голову на плечо, щекотно поморгал ресницами.

– Вставай, лежебока! Надо пописать и позавтракать.

– А зубы почистить? – как же это сладко, по-настоящему, по-женски – медленно оттаивать ото сна рядом с любимым мужчиной, возле его прогретого тела, бормотать домашнюю ахинею, а потом, пригибаясь и прикрыв все срамное руками, босиком побежать в туалет и душ. Все, чего Степан ее лишил, что отобрал без малейшей жалости.

Перед завтраком решили прогуляться.

Молодое солнце жалило кожу. Вчерашний дождь осел на темных зарослях, мелкой испариной покрыл кусты; над речкой нависал молочный туман. Серый пузыристый лед подмок, лежал неровно, подрагивал; слышно было, как под ним проносится вода. Жанна прижалась к шершавому пальто

Ивана; пахнет одеколоном, их комнатой, и совсем чуть-чуть, еле слышно, духами. Это ее запах – на нем, это она – с ним.

Вдруг, сквозь легкое побулькивание, потрескивание раздался непривычный звук. Выбитая пробка, переломленная об колено палка, треснувшее стекло, и все это сразу. В одну секунду лед разорвало по кромке берега, он всей своей ломкой массой приподнялся над рекой – и ухнул по течению вниз.

Его несло плотной коркой, он не дробился на отдельные льдины; лишь на повороте ледяной покров по-собачьи утыкался в берег, потому что не поспевал за бурным паводком, и распадался на огромные куски. Обломки льда вставали дыбом, наползали на сушу, отталкивали друг друга, жестоко скребли по прибрежным кустам и тяжело падали на бок, распадаясь.

Прошло минут пятнадцать, от силы двадцать – все это время они стояли, ошеломленные, не могли оторваться; вдруг ледяную корку как будто ножницами срезали, ровно, четко, поперек движения; она мгновенно исчезла из поля зрения, и повсюду безраздельно воцарилась быстрая вода, серо-пепельная, холодная, и вся при этом в солнечных зайчиках.

– Пойдем?

– Пойдем, дружок. Концерт окончен.

8

Печатник не схалтурил; альбомы получились классные.

Первый: золотой обрез, темно-красный сафьян; на обложке надпись в рукописном стиле: «Версия Намбер Ван».

Второй окантован по краям модным никелем и стилизован под папку к докладу; тиснение темным серебром по фольге из белого золота: «Версия Намбер Ту».

На третьем, домашнем, тряпичитом, просто значится – «Семейный альбом». Без версий.

Это была его идея, целиком и полностью; Петр Петрович тут ни при чем. Тому бы развести противоречия, четко прочертить канву. А нужно думать шире и объемней. И, пардон за это слово, человечней. Жанна, конечно, встряхнулась. Впала в какое-то радостно-раздраженное забытье. Период полураспада закончился, личность восстановлена во внутренних правах. Но в русских сказках, любимых с детства, разрубленного героя надо сбрызнуть сначала мертвой, а потом все-таки живой водой. Версия

один – разрубает. Версия два – склеивает. Семейный альбом – как живая вода.

Степан Абгарович раскрыл обе «Версии», разложил на журнальном столе. По четыре фото на странице. Под каждой фотографией дата. Даты чаще всего одинаковые, картинки – разные.

Слева: 16 января. Он и Жанна за столом на ее уютной кухне; улыбаются; довольны жизнью и друг другом; смотрят, не мигая, в камеру, ждут, когда сработает самовзвод, запечатлит их семейный праздник.

Справа: 16 января. Он с Дашей в машине, по пути на Дмитров; союз голубиных сердец.

Слева: 14 февраля, Нижний. Он с Дашей в полуобнимку.

Справа: 16-е февраля. Жанна в ресторане с Иваном.

Справа – биеннале. Слева – Анька. Спасибо, что согласилась. И по новой. Слева, справа. Справа, слева. Жизнь, разошедшаяся по двум руслам, и какое настоящее – не разберешь.

Теперь «Семейный альбом». Жанна его уже проглядела; не помнит, бедняжка, что имеется списочек недавно открытых файлов; думает, что утаила свой компьютерный визит. Тем не менее получит его в отпечатанном виде: лично, можно сказать, интимно. А публике – и тут еще одна придумка – он предъявит цифровую рамку, в которую закачаны домашние картинки; когда все соберутся, сбросят маски и возвеселятся, он повесит экран на стену, ткнет пимпочку, зажжется тихий свет, и, медленно сменяя друг друга, на экране проявятся образы их общей жизни. Точнее, сначала – двух отдельных жизней, а потом одной на двоих.

Вот бедная его мамочка, несправедливая судьба; бедствовала, бедствовала, бедствовала, только в последние годы вздохнула свободно, когда любимый Степа начал зарабатывать. Правда, не менее любимый Федя начал тут же деньги из нее тянуть; морочил голову бредовыми идеями: давай накопим двадцать тысяч, припрячем их на черный день, мало ли что. Мало ли, братец, мало ли.

Мама погасла.

Теща и тесть; нормальный был мужик, цельный, хотя и скотинистый.

И тесть растаял, чтобы на экране появился двухэтажный деревянный Томск; резные наличники; дома узкие и высокие, время вычернило их, просмолило до негритянского состояния; много ли от этого осталось, или братва уже пожгла, расчищая место под застройку? Надо бы слетать, подышать запоздалым морозом, легкие прочистить.

Тёма в разных видах.

Жанна.

Он сам.

И снова Жанна.

Мелочи, детали, простое вещество обыденности. Скучное, но прочное. Какие-то события налетают извне, радуют, пугают, раздражают участников действия, производят вброс адреналина, но ничего по сути не меняют, неподвижный каркас остается.

Семейный альбом досмотрен. На последней странице – оставлено место. Для завтрашней фотографии, роскошной, торжествующей. Прекрасный эпилог романа с хэппи-эндом. Ульянин фотограф Серега должен сговориться с ателье, сгонять и отпечатать карточку, пока они сидят и выпивают; перед тем как разойтись, все распишутся на обороте, и фото будет вставлено в прорезь.

Версии будут сдуты, как пыль. Он кое-чему научился у Котомцева: например, продумывать мизансцены.

Завтра Жанна вернется от Яны, что-то она к ней зачастила; они пройдут по Чистопрудному, никакого «жигуленка» не будет – «жигуленок» давно уже пропал, как только завершились постановочные съемки; Ульяна экономит, и она права: заказ практически исчерпан, что тратить деньги на лишний контроль.

Они чуть-чуть опоздают, остальные уже соберутся; Степан пропустит Жанну вперед, а сам как бы замешкается в раздевалке; она войдет в ресторанный зал, и обомлеет. «Ностальжи» на этот вечер выкуплен – специально для нее; в зале только семеро гостей, за единственным столиком, все в маскарадных масках, но, кажется, понятно, кто такие. Она, считай, уже в ступоре, а тут еще гаснет свет, по его самоличной команде в зал вливается пылающий торт, в свечах искрится надпись «Первое апреля!», все смеются, шумят, электричество вспыхивает, маски сброшены, Котомцев, Забельский, Ухтомский, Даша, Ульяна и Анна: все главные участники житейского спектакля, без которых шутка бы не удалась. И еще – Седа, Яна: это чтобы Жанне было чуть уютней.

Жанна растерянно оглядывается, и тут он весело вручает ей первый альбом, и она разочарованно краснеет. Он отдает ей второй альбом, и до нее доходит, что к чему. А дома... дома приходит время для последнего, семейного альбома. И тут уж ей становится окончательно ясно, зачем он, негодяй такой, жестокий деспот и тиран, подлец, предатель, чурбан, все это затеял. Да лишь затем, чтобы она, померкшая, ставшая пресной, сревновала; сревновав, напряглась бы; напрягшись, рассердилась; рассердившись, втянулась в интригу; а втянувшись, ожила, помолодела, расцвела. Горько нам было, пускай станет сладко. Аплодисменты, занавес,

цветы. А на утро... на утро припасен еще один сюрприз.

Он блестяще провел свою партию; завтра вечером – сеанс разоблачения, шампанское и первоапрельский торт. А сейчас пора в спортивный клуб, растягивать стареющие сухожилия, качать энергию, удерживать форму. Каждый сам решает, как ему проще дожить уходящую жизнь: в упругой молодежной оболочке, или в рыхлой, стареющей; долго-долго сопротивляясь давлению смерти или затевая с нею быструю игру в поддавки.

ЧАСТЬ 3

Глава девятая

1

Вот и все: подытожила Жанна.

Иван подтвердил: вот и все.

Каждый вложил в эти слова – свое. Она – веселый намек на будущее, он какое-то смутное беспокойство. Даже попытался поделиться: «Знаешь, я хочу сказать...», но передумал. Передумал и передумал. Его святое право. По любому детективный сюжет развязан, формальный контракт исчерпан, а что будет впереди – покажет жизнь, потому что жизнь мудрее. Остается возвратить хозяину техническое средство, ненавистный и прекрасный навигатор, от которого давно нет никакого толку. Но как же с этой штукой трудно расставаться!

– Ваня, подожди минутку. Посмотрю последний раз. Доиграю в сыщика: когда-то еще придется!

Экран налился привычным серо-синим светом. Проявилась цветная трасса, Подмосковьё; шарик покатился колобком. Бог ты мой! да ведь они же рядом. Иван и Жанна за Николиной горой. А Мелькисаров в соседней Барвихе. Между ними километра полтора, не больше. Шарик закатился в калитку, как мячик в нарисованные ворота; поселок «Veteransky», дом 15. Жанна ахнула и впала в ярость, чуть не захлебнулась прошлым:

– Да я же знаю, где это! мерзавец, подлец и скотина.

2

Сначала в сауну, оттуда на дачу, до завтра. В оба конца – электричкой; никаких автомобилей. Пускай Рябокоть еще помучается, погадает: как же так? маячок в Переделкине, машина до полудня во дворе? А в четыре и машина пропадет: ее отгонит Вася, вроде бы отпущенный на выходные. В сумку со спортивной формой отправились съемные объективы, складной штатив; в рюкзак, за плечи – килограмм говядины в пластмассовом контейнере, моченые помидоры, яблоки, любимый охотничий нож для нарезки прозрачных кусочков – милое дело, разогреваешь электричеством

специальный камень, не смазывая маслом, обжариваешь мясо с двух сторон, и на тарелку.

У выхода из лифта стояли мужички, дочерна загорелые. Один высокий и желтоволосый, ростом со Степана, в замасленной дубленке, другой – недомерок в расстегнутой куртешке, глазки глубоко посажены, бровки кустистые. Типичные мастеровые, причем не высшего разряда; у кого же в их доме ремонт? Не слышно, чтоб стучали и сверлили. Недомерок как будто знаком... не он ли заходил на днях из ДЭЗа, проверил трубы?..

Мастеровые уважительно посторонились. Степан шагнул вперед и почувствовал острый удар в сердцевину затылка, как будто бы на голове раскололи грецкий орех. Потянуло вниз, к земле, лбом на мраморные ступени. Он себя пересилил, отшатнулся назад, удержал равновесие, инстинктивно прикрыл пах левой рукой и почти не глядя нанес сокрушительный удар правой. Костяшки вошли во что-то мясистое, хрящеватое, упирающееся в кость; «ухо!» – вскрикнул высокий и пригнулся; звякнул металлический предмет. (Молоток?). Недомерок брызнул в сторону. Степан прыжком рванул к будке консьержки; будка пуста, записка: «Буду через 10 мин.».

Внезапно накрыла запоздавшая боль; он на секунду остановился, покачнулся, тут же почувствовал второй удар, как бы электрическим разрядом, сбоку; перед глазами полыхнуло ярко-белым, как лампочка взорвалась, и сразу же стало темно.

Очнулся от того, что громыхнуло, свет опять сменился темнотой; откуда-то тонкой полоской проникал свет. Боль нарастала толчками, пульсировала по ушибам, достигала пика, слабела, ненадолго отступала и шла на следующий заход. Снизу подбиралась другая боль, послабее; Степан заставил себя понять, что это ноют разбитые костяшки правой руки. Пошевелиться не получалось, приоткрыть рот, облизать губы – тоже.

Сознание возвращалось рывками. Он догадался, что руки связаны, ноги свободны, рот заклеен скотчем, от первого удара его спас хвостик, заправленный под лыжную шапку, а второй пришелся выше виска; лежать неудобно, ноги подогнуты. «Как будто гроб не по размеру» – мелькнула мысль – и мозг заработал на полную мощь. Подобие тесного гроба – багажник; сквозь щель поддувает, неурочный предапрельский морозец особенно жесток, на ресницах наледь; бензин вонючий, дешевка, глушитель рычит, давно сгорел, машина та еще, скорее всего, «жигуленок».

«Жигули»? Что-то знакомое, верно? Но где чернявый, что был за рулем? Чего хотят? Кто заказал?

Как же страшно.

И очень холодно. Очень. Холод сильнее, чем страх. Надо было куртку застегнуть перед выходом.

Ехали недолго, минут пятнадцать-двадцать. Машина резко тормознула, безвольное тело дернулось и перекаатилось туда-обратно. Боль вклинилась в рану, как стамеска в щель. Багажник открылся, по глазам ударил свет; против света было плохо видно, но лицо знакомое: тот самый, чернявый, что был за рулем четверки – и не был в подъезде, когда нападали. Вот тебе, брат, и Ульяна.

Шибздик и желтоволосый попытались поднять Степана, вывалить на снег; чуть не надорвались – и оставили багажник открытым: пусть объект полежит, подышит свежим воздухом. А сами уселись на лавочку. Слева шумела трасса, справа была тишина; судя по тому, сколько они ехали, это были задворки Карамышевской набережной, заброшенные остатки гаражей на месте будущей стройки, глухой медвежий угол в самом центре Москвы. Убивать его сейчас не станут, иначе зачем было увозить из дому, рисковать? Сделают предьяву, обозначат условия? Нет; говорят не о нем – тупо спорят, как выехать на правильную трассу. Города не знают, карту прочесть не могут, только друг друга путают. Обидно: за ним, за Мелькисаровым, послали охотиться бестолочь, деревенщину с явным молдавским выговором – твердое «р», мягкое «ль»; его, Мелькисарова, повязали дилетанты, обглодыши, шантрапа заезжая; позор.

Тревога мешается с болью, свербит один и тот же вопрос: кто заказал?
Кто?

И зачем?

– Эужен, давай гор'ачего супу покушаем, тут была киоск на въезде.

– Натэ денег, сбегайте с Юрком, я пока пойду посцать.

Под ногами трескается тонкий лед; похитители расходятся в разные стороны. Степан обождал минуту, сжал мышцы в комок, приподнялся рывком, перебросил себя через край, ударился бровью и носом о наледь, тут же вскочил – и вслепую побежал на шум дороги. Кровь из рассеченной брови заливала правый глаз, на вдохе затекала в нос. Из-за скотча сплунуть он не мог, всасывал ноздрей и сглатывал горькую соль, по-собачьи встряхивал головой – и бежал; он бежал, а за ним никто не гнался. Чернявого и шибздика не было; желтоволосый небрежно справлял нужду, ему и в голову не приходило, что объект сбежит.

Зачем? Зачем?! Кто!?

Держать левой.

Вдруг ноги наткнулись на что-то твердое; затормозить Степан не успел, упал на колени и опять клюнул носом обледенелую землю; правда,

уже не так сильно. Его тут же подхватили и поставили на ноги; он прикрыл залитый кровью правый глаз, прищурил левый, разглядел: *эти*.

Он страшным образом ошибся, киоск был не справа, а слева; оттуда возвращались *эти*; их траектории совпали, ему поставили подножку.

– От был'а бы история, если б сбежал. Иван, держи суп, не урони, я його поведу. Да погоди, не дергайся, я тебе кроув вытру.

Окровавленный платок бросили прямо на снег; то ли ничего не боятся, то ли совсем дураки.

Чернявый сердился. Он тут был главный, сразу видно. И слышно тоже. Мешал молдавскую речь с русским матом: быр-быр-быр – от твою мать – быр-быр-быр – повешу за яйца. Успокоившись, посадил Степана на скамейку, обработал рану йодом и перекисью из аптечки, рывком отодрал скотч, доведя до болевого шока, приставил к боку пистолет, доходчиво разъяснил ситуацию.

– Я Эужен, он Юрик, это Кнстнтин. Сейчас мы поедем тут в одно место. Там проживем какое-то время. Ты пока в дороге подумай. От тебя-то нам нужно немного. Десять лимонов: что такое для тебя десять лимонов? Но вот еще. Мы знаем, что у тебя есть клиенты, ты работаешь с их баблом. Дашь нам их список, с адресами, телефонами и факсами. Поможешь кой с кем из них разобраться. И гуляй.

Ободранные губы начали распухать, но Степан все еще мог говорить свободно; через полчаса начнет полумычать. Главное сейчас не дать слабину; надо показать им, на кого напали.

– Неплохая доходность – удар по башке, десять лимонов твои. Эужен, ты сам-то понимаешь, что говоришь? – Прикушенный язык уже плохо слушался. – Ты себе как десять миллионов представляешь? Это двадцать набитых кейсов. Даже если б они у меня были, ты что ж думаешь, я бы их дома держал, под кроватью?

– Мы тебе *факс-модем* дадим, компьютер, пошлешь рыспржение в банк, дврность на представителя оформим, черного нотарыуса подгоним, все продумано.

Как ни было больно и страшно, Степан вольготно рассмеялся.

– Кто меня будет в банке представлять, ты, что ли? Не обижайся, Эужен, посмотри на себя в зеркало, тебя охрана на порог не пустит. И где ж ты видел русский банк, который выдаст наличными десять лимонов? в один день? да еще не владельцу счета? да еще распоряжение – по факсу? Тебя проверять будут неделю, а потом сдадут.

– А ты из швейцарского прикажешь присл'ать.

– Господи, да кто ж тебе эту чушь впарил? Чтобы западник перевел

десятку? В Россию? В отсутствие клиента или его юриста? На чужой счет? Ты фильмов насмотрелся, дорогой. Это бред. Да и нет у меня таких денег, и не было никогда.

– А сколько есть?

– Практически нисколько.

– А вот это врешь, – равнодушно возразил Эужен.

Мелькисаров мирно объяснил, как выстроены брокерские отношения, что такое деньги в акциях и доверительном управлении; когда их можно выводить из оборота, а когда нельзя; Эужен ничего не понял.

– Скажешь брокеру, чтобы акции продал.

– С тобой каши не сваришь.

– А я кашу не люблю. Захочешь жить – придумаешь, что делать. Но сначала сдай адресочки.

– Они-то тебе зачем?

Эужен четко и коротко изложил план; уже не такой фантастический, тут кто-то Эужена явно научил.

Он собрался похищать богатеньких. Но не тех, известных, которые в офисах и под охраной, а тех, у которых средств полно и никаких налогов не уплачено. Нет налогов – заплатят сколько скажут. А у каждого такого, без налогов, есть еще безналоговый друг, и еще, и еще, и еще. Одного берем, другого отпускаем; отпускаем этого, прихватываем следующего: перспектива!

Вдали, за деревьями, показалась дамочка с собакой. Дамочка маленькая, собака крупная; Эужен вдавил ствол Мелькисарову в бок, прошипел: мольчи. А шибздику велел: иди поближе, сними штаны, помаши в воздухе членом, пускай баба слиняет.

Баба слиняла.

– Эужен, давай сторгуемся по-нормальному. Дома у меня наберется полтинник, еще полсотни мне под честное слово поднесут к вечеру. Сто тысяч хорошие деньги, поверь мне. Возьмешь кого-нибудь в долю, откроешь магазинчик в Лужниках, будешь счастливым человеком. Я тебя не солью, мне нет резона. Не дури, Эужен. Тебе сколько лет? Тридцать пять?

– Трцть.

– Тем более. Не лезь ты в эти дела, соглашайся, Эужен, условия реальные.

– В машину сам нырнешь, или нам подтащить? Я же тебе на чистом русском говорю. Список – и одиннадцать лимонов. Завтра будет двенадцать, послезавтра – пятнадцать.

– Кинозритель несчастный. Руки развяжи, тогда залезу сам.
– Нет уж, мы л'учше поможем. Давай-ка в мешок, и на заднее сидение. Будешь картошкой. Не шали, а то Юрык пальнет, маль не покажется.

3

Они лежали и молчали о чем-то общем. Жанна положила голову Ивану на плечо, сосредоточенно крутила кольцо-многогранник на его узком пальце; он принюхивался к ее фруктовым волосам.

Молчали они о завтрашнем дне. И о том, что будет дальше, будет после.

4

В мешке было душно, на заднем сидении тряско, ушибы ныли.

Степан Абгарович прислушивался к радио («Это были новости! В Москве двенадцать часов пятнадцать минут»), пытался в уме рисовать дорожную карту. Прикидывал скорость и время в пути, переводил в условные километры, считал повороты. На какое шоссе выкруливает Эужен? Похоже, на Можайку. А может быть, и нет. Но явно везут за город. Или вообще из Москвы?

Кто *этим* сказал о клиентах? Кто подслал? Почему безмозглых дураков, не профи? Или их использовали втемную и уберут, как только доедут до цели, а там начнется настоящий разговор?

Кисло.

Или вправду – нет заказа? Тогда еще хуже. Непонятно, как действовать. У любителя другая логика, ее не скалькулируешь. Это как читать селянам лекцию о пользе лекарства во время холерного бунта; ласково послушают, потрясут бородами, кивнут, беззлобно порвут на части и сбросят в колодец: этот с лекарями заодно, отравитель, немчура, ату! Он, Степан, подставлял свои обильные мозги в пустые головы чернявых, придумывал умную чушь насчет удвоенной слезки, а дело было просто до позора: они действительно не понимали, что их видят! И даже та проверка на дороге, устроенная лейтенантом, не в зачет. Стряхнули чувство угрозы, как пыль, и вернулись на исходную позицию. Потому что не сознавали – что случилось.

Сейчас они были довольны, нервно ликовали. Складно все вышло, а ты говорил, а что я говорил, я ничего. Время от времени умолкали, прижимали уши: наверное, замечали милицейскую машину или пост ГАИ; проскочив, опять начинали щебетать. Молодец, молодец Эужен! вечером пожрем и закореем.

Примерно через час «жигуленок» сбавил ход, на первой скорости проехал по придомовой территории, остановился; шибздик с переднего сиденья выскочил открывать ворота.

Не снимая мешка с головы, Степана провели в какой-то дом и осторожно, почти бережно, под ручки свели в подвал. Освободили от пут на ногах, ослабили веревку на руках, мешок скинули, зато завязали глаза. Зачем? И позволили прилечь на каком-то тряпье. Странное тряпье, чистенькое: пахнет свежим порошком, только что из стиральной машины. «Пойду звонить», – сказал желтоволосый. В углу посвистывала система газового отопления. Судя по свисту, система серьезная, дом большой и современный, основательный; такие начали строить лет десять, пятнадцать, не раньше; хозяева не бедствуют.

И как все это понимать?

5

Эужен вернулся возбужденный. Сказал Юрыку: с дивана – брысь. И продолжил торг.

Говоришь, нам денег не дадут? Хорошо. Не дадут. Нам. Но среди твоих клиентов есть доверенные лица, с правом электронной подписи. (Про *электронную подпись* он сказал с особым удовольствием, как ребенок произносит взрослые слова, гордо, по слогам.) Два-три челявека, не меньше. На всякий пожарный. У каждого своя часть пароля, свой субсчет (*субчет* – прозвучало еще торжественней) под контролем. Им – дадут. Называй адреса, мы поедем к тебе на квартирку, с твоего *факс-модема* отправим письмеца, забьем стрелочку, накроем, повяжем, доставим сюда. И будем по очереди возить к твоему *факс-модему*, чтобы отсылали поручения. Сглупит на месте, сделает не то – тебе кранты. Мы предупредим об этом. А ты же знаешь, Степан Абгарович, как человек устроен: себя не пожалеет, друга – пощадит.

Эужен, ты сошел с ума (*Бог ты мой, все гораздо серьезней*), это же все люди заметные, не иголка в стоге сена, их спохватятся, сопоставят данные,

поймут, что к чему (*да нет у них охраны*). А квартирка? Моя квартира встык с женой, она уже наверняка заглянула, поняла, что со мной не то, милицию вызвала (*но как же грамотный бандит мог нанять таких недоумков?*).

Сам с ума сошел. Думаешь, мы дураки, да?

Думаю. Да что ты!

Нету твоей жене у городе, она с полюбовником на даче, вернется вечером и хватится не сразу: но времени мал'а, поспеши.

С каким полюбовником, дурень!

Ах, все-таки дурень?

Не дурень, извини, оговорка. Насчет полюбовника это ты зря, придумай что-нибудь пооригинальнее. (*Что он имеет в виду?*)

Сам проверишь. Если сговоримся и не тронем.

Ладно пугать, отведи меня в сортир, хочу отлить.

Отлить или...? В штаны наложил? Это добре.

А писать я тоже буду с завязанными глазами? А канал ты мне поддержишь? Развяжи. И повязку сними.

Да и что ж теперь, развяжу. Кнстянтин проводит.

Светила тусклая лампочка; по беленым стенам гуляли серые тени; подвал оказался просторный и чистый; к дивану притулился промятый топчанчик; несколько табуреток; старый стул. Эужен сидел по-турецки, расстегнув рубаху до пупа и обнажив густую татуировку – так в телесериалах паханы сидят на нарах.

До лестницы двадцать три шага. Ступени не скрипят. Дверь изнутри не запирается. Прихожая. Видимо, налево дверь в гостиную, чуть подалее ванная и гостевой сортир. Странно знакомые гравюрки по стенам: дешевый крашенный лубок начала девятнадцатого века, синие казачьи зипуны, чернобровые казачки, елдастые архангелогородцы, прижимистые татары, лукавые евреи...

Вот оно в чем дело! Елки-палки. Если *сюда* завезли, значит, не жить. Ни при каких условиях.

6

Тома-чепчик пробыла у него секретаршей неделю. Давно, еще во времена восхождения, весной девяносто третьего. Маленькая, свежая, улыбчивая; ровная челка, вздернутые кудельки: Красная Шапочка в

деревенском чепце. В первый пробный день не напутала ничего; на второй по наитию отсекала все лишние звонки; на пятый, подавая зеленый чай с кружком ароматного лайма (лаймы только-только стали завозить в Россию) и протягивая зарплатную ведомость, осторожно спросила: нам обязательно платить по депозитной, не проще ли по страховой? Вот расчеты. Степан удивился, улыбнулся, пересчитал; проще, и вправду проще! Ты кто, девушка? Я – Тома, выпускница стали и сплавов. Что в секретаршах делаешь? Служу; очень деньги нужны.

Он отложил дела, пересел в гостевое кресло, выпросил про семью (мама историк античности, папы нет), где живет, что читала; пробил на понимание – хорошая девка, им повезло. Три дня ушло на поиск вакансии, два на оформление, через понедельник Тамара Викентьевна стала замначальника финуправления.

Это было космическое повышение – и катастрофическое испытание. Все вокруг шушукались, смотрели косо; управлением руководила толковая баба, сорокалетняя мадам Сергиенкова; стервозная, ненасытная, с ледяным компьютерным умом и неостывающим женским жаром, мужчин ласкала, теток гнобила. А тут еще – молоденькая. Да спущенная сверху. Да из секретарш. Да от самого. Томочке, душке, лапоньке нашей были поручены схемочки тут кое-какие, работенка денька на два, на три, ерунда. Ключ от схемы ей не сообщили, а Сергиенкова уехала в командировку. Как раз на три дня.

Вернувшись на работу и предвкушая добродушный скандал с неизбежными кадровыми последствиями, обнаружила на своем столе итоговую распечатку.

– Тома, деточка, умница, кто тебе помог разобраться?

(Мелькисаров постарался? вот мужики, чтобы им было пусто, думают ниже пояса; даже такие сказочные мужики, как Степан Абгарович.)

– Никто, а зачем? Модель простая, строится за два часа, подставляем данные, получаем результат.

Душка, лапонька, умница, деточка бесхитростно смотрела на суровую начальницу и ждала новых поручений. Начальница погрузилась и задумалась о будущем. Во всяком случае, так рассказывал Степану ее помощник.

Сергиенкова решительно ошиблась; Мелькисаров думал исключительно головой. Никакого гона и страсти. Служебные романы вредят работе; попадаешь в любовную ловушку, упускаешь выгоду, твои приказы обсуждают, все ищут подоплеку: это раз. Никогда не знаешь, почему тебя выбрали – потому что *деньги* или потому, что *ты*. Трудно

богатому знакомиться; это два. И на работе – либо некогда, либо незачем. Это три. Создавая бизнес, живешь от сна до сна; щиплешь секретаршу не для похоти, а для ее же покоя: любимый начальник доволен, она при деле, все хорошо. А как только отладил процесс, переложил на плечи вороватых управленцев – в конторе делать решительно нечего. Разве что случается ЧП.

ЧП случилось.

По всем бумагам получалось, что владимирские ферросплавы работали в убыток – при запредельном спросе на магниты. Тамошнего директора, Кузовлева, Степан поставил сам – молодого, продвинутого, после МВА. Прежнего, советского куркуля, косноязычного, пьющего, недомытого, с красным картофельным носом, оставили доживать до пенсии замом по сбыту. Жулить новому парню не было смысла; он в самом начале большой карьеры, этот пост – всего лишь взлетная площадка; только безумец будет красть по мелочи, разрушая будущий фундамент собственного бизнеса. Но факт оставался фактом. Убыток – налицо, а концов не сыскать. Надо было ехать, разбираться.

Тома-чепчик к тому времени прыгнула еще выше, отвечала за все промышленные активы; с ней и покатили.

Парень, чистенький, с иголки, отчитывался четко. Лишние звенья убраны. Балласт сброшен. Откуда сквозит – не знает. Крадут? Скорей всего. Но как? Вывезти груз невозможно. Охрану сменили, наняли дополнительный пост, расположили в домике напротив заводских ворот, следить за конкурентами; без толку.

Степан ходил по цехам, недовольно косился, ловил любопытные взгляды рабочих. Цепкая Тома листала бумаги, стучала по калькулятору, недовольно трясла головой. А потом отпросилась до вечера, не объясняя причины.

Мелькисаров раздраженно отпустил.

Ближе к полуночи в номер к нему постучали. Маленькая Тома в темно-синем пальтишке, воздушный шарфик, светлые сапожки с меховой оторочкой по тогдашней моде (дочерна замызганные), – сияла от радости, прикладывала палец к губам, подмигивала, жестами торопила, только что не пританцовывала. Ну любимая собачка, и все тут. И чем-то похожа на молодую Жанну. Внизу их мрачно ожидал Потапыч (как точно звали прежнего директора, разжалованного в замы, Степан уже не помнил; пусть будет Потапыч). На завод не повел; поманил на обочину, в мелкий лесок. Было жалко английских ботинок и светлых зеньевских брюк; октябрь уже, под ногами чавкает мазутная владимирская грязь; это только на картинках –

белоснежный храм на Нерли, а в жизни свинарник и слитое масло.

Лесок примыкал к складскому забору справа. За шиворот падали мерзкие капли. От забора влево уходила боковая проселочная дорога; стоял грузовичок, мотор прогревался. Ноги окончательно увязли, жижа протекла в носки. Раздался непонятный звук, как будто экскаватор бьет по земле снарядом, в воздух взлетело что-то темное, тяжелое, ухнуло прямо в кузов. Через две минуты – еще. И еще. И еще.

Все, сказал Потапыч. Пора.

Увидав три смутные фигуры, водитель резво бибикнул и набрал мгновенную скорость, как какой-нибудь спортивный болид. С той стороны забора раздалась глухие крики, скрежет, топот; вспыхнул свет прожекторов.

– Всем стоять, стреляю!

Катапульта была само совершенство.

На одном конце пятиметрового бруса (внутри складского двора, у забора), крепился короб с магнитами; посередине, как на детских качелях, брус приподнимала жесткая основа; по противоположному концу со всего маху били строительной бабой. Короб уносился в небо и падал точно в кузов. Пять долларов килограмм, пять тысяч тонна. Четверо своих рабочих, сторонний водила, какой-нибудь тайный посредник; доходность, прямо скажем, неплохая.

Начальник охраны юлил; без него не обошлось, но доказательств нет. Он орал на понурых рабочих, демонстрируя хозяйское рвение:

– Следаки! Милиция! Уголовное дело!

– Отставить, – приказал Степан. – Работяги молодцы, хорошо думают. Всех оштрафовать на месячную зарплату – и перевести в управление.

Решение Томе понравилось. Ей сегодня все нравилось. Приятно сознавать, что ты первая, лучшая, хитрая, удачливая. Оставалось довершить игру. Она поманила пальчиком Потапыча. До Мелькисарова дошло внезапно, что Потапыч был похож на объевшегося карликового бегемота: косая линия лба, большие глаза навывкате, безразмерный зоб, про живот и говорить уже нечего.

– Вот, Степан Абгарович, знакомьтесь: этот человек помог мне во всем разобраться. Директор Стебеньков.

– Замдиректора, – поправил Стебеньков. – Директором у нас теперь товарищ Кузовлев.

– Директор, директор. Мы сейчас хозяина уговорим. Стебеньков-то поближе к земле, а Кузовлев слишком хорош для здешней жизни. А, Степан Абгарович? Переназначим?

– Почему же Стебеньков без тебя не действовал? Почему не накрыл воров сам, раньше? Или ты, Стебеньков, не знал?

Стебеньков засопел, заговорил не слишком внятно.

– Я знал, хозяин. Как не знать? Но пацаненок хотел управлять? Пусть управляет. Что ему мешать?

– Ладно, уговорили. Но чтоб следил теперь за порядком и поменьше крал. Поймаю – руки оторву.

7

Отмечать удачное приключение поехали в местный ночной клуб: только-только открылся, первая ласточка. Темно, собеседника еле видно; слышно еще хуже.

Рядом с высвеченным танцполом живой оркестр, перекупленный у областного ресторана: старая электрогитара, ударник, медные; резко поет невеселая дамочка с голыми плечами и пожухлой грудью, обжатой оборками.

За соседним сдвинутым столом гуляет компания. То ли помолвка, то ли зарплата, но сидят хорошо, обильно.

Объявляют первый танец; выходят только девчонки; парни, погогатывая, пьют. Одна выделяется сразу; гибкая, фигуристая, юбка – не бывает короче; танцует смело, даже слишком смело. Выбрасывает аппетитные ноги, округляет движением бедра, выпрастывает из-под кофточки белый мягонький животик: а тогда еще животики не обнажали. Степан следит за направлением ее взгляда; адресат заманушки понятен. Высокий, белобрысый, как бы растекшийся по стулу; провинциальный бонвиван.

На второй танец решаются уже не все; проигравшие девчонки возвращаются за стол, начинают усиленно обмахиваться, надрывно смеяться и бесшабашно пить.

Рядом с голопузой заманушкой – три неловких неудачницы; не сообразили вовремя исчезнуть, теперь отползать неудобно; напряженно перебирают ногами и ждут, ну когда же это кончится? Когда?

К третьему танцу площадка полностью расчищена; заманушка остается одна. И азартно ведет игру за сердце (скажем так) своего мужчины. Ей все равно, кто вокруг, что о ней говорят и что думают; есть она и есть он, а больше нет никого. Она решила быть сегодня восточной

наложницей; и она ею будет. Медленное, заунывное пение, бессмысленное треньканье гитары, пожилое звучание медных; девочка вьется вокруг воображаемого шеста, изгибается назад, все ниже, ниже, ниже; волосы касаются пола, полные ноги раздвинуты, наружу вывернуты черные кружева трусов, обнажены вкусные подробности ляжек, дан посул откровенного наслаждения.

Старания ее не пропадают даром; парень снисходит; вразвалочку выбирается на танцпол, лениво качается на месте, из стороны в сторону. Девочка начинает танец страсти, движется вокруг белобрысого, как маленький спутник по сужающейся траектории; ломкие руки взброшены вверх; тело клонится назад; она вплотную приближается к желанному объекту, вдавливаясь низом живота, продолжает извиваться...

«Белый танец!» – хрипло объявляет певичка; и тут же игра переходит в эндшпиль.

Девочки тянут за собой парней; победительная заманушка уступает им площадку, лениво идет к столу, обвивая своего красавца, просит его налить вина; даже Степану с его неудобного места видно, как тяжело она дышит, выложились до конца, себя не щадила. И тут наступает минута расплаты. Девушка в чем-то блестящем (полное декольте, голые руки), сидевшая тихо и скромно, ни разу на танцпол не выбегавшая, царственно встает и плывет навстречу давным-давно намеченной цели.

Белый танец! не может же он отказать.

Он – не отказывает. Обессиленная заманушка подавленно смотрит, как уводят *его* под ручку, плотно прижимаясь боком, обдавая смачным ароматом духов, которым *эта сука* облила себя; свежая, не пившая и не уставшая, в легком скользящем платье, все равно что без одежды, даже лучше. Супостатка облепляет партнера, распяляет его, тревожит, доводит до кондиции и подает условный сигнал музыкантам: а, понятно: все заранее договорено и оплачено. Завершается тягучее кружение, взрывается бешеный ритм; она бросает вызов – он мужчина, он ответит, он обречен плясать с ней рок-н-ролл. Мелкие прыжки, верчение на месте, выброс тела вперед, бросок через колено, откровенная имитация полового акта. Танцует она отлично; ясно теперь, кто здесь настоящий мастер, а кто был разогрев и подтанцовка.

Заманушка в отчаянии. Все, к чему она стремилась; все, на что была сделана ставка – рушится, ускользает непоправимо.

– Как ты думаешь, она сейчас сбежит? – Степан почти кричит, чтоб Тома-чепчик расслышала.

– Нет, попробует сыграть в подружки, – чтобы он расслышал, Тома

нежно притягивает его за мочку, щекотно говорит на ухо.

Она права; заманушка топает ножкой и движется к центру площадки. Белобрысый, отплясав свое, ретировался; теперь две соперницы вращаются друг против друга, как бы взаимно подыгрывая и как бы почти обнимаясь: женский сиртаки, танец ненавидящей любви. Постепенно девушки входят в раж; демонстрируют канкан, заголяются обоюдно, выставляют лоно на всеобщий обзор; визжат. Оттанцевав, бегут наперегонки к желанному; обтекают его с обеих сторон, тянут в подмышки, к декольте, поочередно подсаживаются на колени, хохочут до рези в ушах, как будто бы смертельно напились, а ведь обе совершенно трезвы.

– Как думаешь, кто из них будет сегодня с ним спать? Ты на кого ставишь? – подмигивает Томе Степан.

– Боюсь, что обе. Или вообще никто: парень перебрал, скоро скопытится, – хихикает Тома и панибратски треплет Степана за щеку.

– Хочу сказать. Ты сегодня всех переиграла. Всех. Даже меня. Ты гений, Тома.

– Я знаю.

– Пью за тебя, гениальная подчиненная.

– А я за *тебя*, мой любимый начальник.

8

Губы у нее были полные и мягкие, язык податливый и властный, поцелуй длился, длился, прожигал до нервных центров мозга, до содрогания в груди; маленькое тело вминалось в него, прорастало в нем, дышало и билось им; что за странное устройство человек: идет обмен слюны, слизи, пота, иногда недовышедшей крови, а внутри все почему-то тает, млеет, замирает, потом вдруг вспыхивает мгновенным светом и рушится на части.

9

Он не выпроводил Тому в ее номер, и сам – из своего – не ушел. Нарушил все неписанные правила; уснул вдвоем. Проснувшись, долго разглядывал молодую спящую женщину, влажную, припухшую, беспомощную, всем своим видом говорившую: а вот и я, никуда от меня не

денешься. Он не желал видеть женщин такими – и не видел; а теперь удивлялся собственному умилению.

Тома открыла глаза, просияла, проскользнула в душ, нырнула под бок:
– Ну как мы их? Ну как? Здорово, здорово, здорово! А о чем ты сейчас думаешь?

Вопрос был запретный; ничего, кроме ярости, вызвать не мог. А вызвал тихий поцелуй.

10

Эужен решил побыть романтиком. Он лежал на диване, подперев щеку, и болтал без умолку, поминая себя в третьем лице. Про то, как Эужен будет жить в Москве и Бухаресте, а может, и в Варшаве, когда Степан переведет им деньги, про то, как один раз в жизни изменил жене, и не потому, что очень-то хотел, а потому что женщина сама в постель залезла, а не мог же он отказать как мужчина. Про то, как в Кишиневе было хорошо при советской власти, большой был город, вина хоть залейся, шашлычок на каждом углу скворчит, город пропах копченым, угольным запахом, маринованными виноградными листьями, чесноком, зеленью, жареными перцами, и Мария Биешу поет изо всех приемников, и София Ротару тоже поет, и люди поют сами, прямо на улице, а надоест, так село рядом, в Молдавии все рядом, можно кабанчика зарезать, свежий кабанчик это тебе не магазинное мясо, а польешь его коньячным спиртом: охohoхо, потом пришли эти пис-с-сателишки, жидовье, демократы, по Днестру все обколосось, а половина родни Эужена осталась за Днестром, там, недалеко от Бельцов, ну и на войне жить можно, если человек умный, всем надо всё, и одежда теплая, и коньяк, и главное, много оружия: склады рвутся, в окопах люди гибнут, следов от них не остается, только запах распоротой тушки на солнце, но деньги, как говорится, не пахнут, теперь стало потише, деньги уже не те, надо искать новые рынки, ты же сам бизнесмен и должен понимать.

Степан валялся – подавленный, вялый; слушал вполуха. Заказала Тома; нежный чепчик, тонкая кожа, мякотные губы, огненный ум; заказала кому? этим вот, из подворотни? Тома, Тома, что с тобой случилось? Или – не она, а Мартинсон? Но ему-то зачем? Разве трудно было развести его на деньги по-другому, без полубомжей, которые с трудом запоминают роль и нуждаются в инструкциях по телефону? Тома и ее боров решили заняться

бизнесом на шантаже, а *этих* использовали как живца и уберут потом? Не похоже. Но не будет ответа – не будет и выхода. А ответа нет и быть не может.

Степан решил зайти с другого боку.

– Эужен, я одного не пойму. Ты, говоришь, оружием занимался?

– Еще как занимался! Эужена каждый в Тирасполе знает, и в Кишиневе тоже знают, а не так много людей, которых знают и там, и там. Удобно.

– Что ж ты себе машину приличную до сих пор не купил, едешь, прости господи, на груди железа?

– Но я же не дурак.

– Это я уже понял.

– Буду ездить по Москве на хорошей машине, всякий спросит: кто такой, откуда деньги, что делал раньше? Начнешь отвечать, запутаешься. А так – Эужен-работяга, простой хороший парень, ремонт-шымонт, то да сё.

Не пробивается. Еще один заход.

– А ты в Москву давно перебрался?

– Э, лежи, не твое дело. Давай адреса, а то пальцы начну ломать. По одному.

11

Когда он приезжал к Тамаре, первым делом она задавала паршивый вопрос: ты надолго? Не останешься? Хотя заранее знала, что нет; нельзя превращать исключение в правило. Горько шутила в ответ: ну что, вы к нам заехали на час? Привет, бонжур, хелло? И так из раза в раз. Принципиально. Прощаясь, внимательно оглядывала: не осталось ли следов? Теперь можешь идти.

Расстались они через год с небольшим.

Тома сама позвонила, назначила встречу в «Изуми». Повод был вполне формальный, деловой; она придумала, как выбраться из тупика: надо было передать два миллиона фунтов наличными, из Лондона в Малайзию – минуя банки; иначе срывалась важнейшая сделка. Курьер? Опасно. Чеки? Под контролем.

– Найди, Степан, исламскую хавалу.

– Кто такая?

– Что-то вроде перевода денег. Но без документов.

- Не может быть.
- Может. Твой человек должен быть мусульманин; есть у тебя такие?
- Подберем.

Идея Тамары была невероятной как все ее идеи; авантюрной; дерзкой. Степан так и видел, как лондонский порученец забирает в банке миллионы, опасливо грузит спортивные сумки в багажник; едет в район близ Гайд-парка; прячась от ветра, тащит тяжелую ношу в загаженный маленький офис. Там сидит такой смуглявенький, неспешный человечек, в восточных одеждах. Здравствуйте, говорит, я ваш хаваладар; тут полная сумма? я вам верю. Не считая, отправляет сумки в дряхлый платяной шкаф времен Чемберлена; над миллионами висят хламиды, халаты, длинные пальто...

Хаваладар заваривает зеленый чай, неспешно говорит с порученцем о жизни, о вере; почему не видел вас в мечети? а, так вы ахмадист? но это ничего, все лучше, чем быть евреем. Потом сверяет время: не разбудим ли хорошего и уважаемого человека? И набирает одному ему известный номер. Салям алейкум, дорогой! У вас товар, у нас купец. Две тысячи тонн, портрет королевы, надо будет дать через неделю. Как хорошо с тобой работать, слава аллаху. Жду пожеланий и распоряжений. Хаваладар открывает амбарную книгу, пишет арабской вязью – дату, сумму, город. И ласково прощается с клиентом.

Спустя неделю человек летит в Куала-Лумпур, ныряет из прохлады аэропорта в прохладу роскошной машины; мчится сквозь марсианский пейзаж под нечувствительно палящим солнцем – в центр столицы; поднимается на скоростном лифте в немыслимый пентхауз; тут одиноко сидит еще один смуглявенький неспешный человечек; они касаются щеками, глядят бородки, смотрят друг другу в глаза, неторопливо пьют зеленый чай; наговорившись всласть, неспешный человечек открывает зеркальный шкаф, в котором отражается нью-йоркский ландшафт малазийской столицы; там запечатанные чемоданы и тележка. Считать не надо! все по-честному, между своими: два миллиона минус цена услуги. Все просто, никаких перечислений и следов.

- Прости тупого. Я не понял. А в Куалу-то как они попадут?
- Никак. Хаваладар отдаст свои.
- Он сумасшедший?
- Нормальнее, чем мы с тобой. Когда-нибудь его клиент попросит оплатить британские контракты; хаваладар наберет нужный номер, скажет, э, друг! Я дал тебе два миллиона, помнишь? Помню; вот и запись на моей бумажке. Так ты потратишь эти миллионы как я скажу, а бумажку можешь сжечь. О'кей, аллаху акбар, как хочешь, дорогой! И это все.

– Тома, ты великая женщина. Ты мусульманка?

– Я атеистка. И нам надо бы поговорить.

Степан напрягся, мышцы живота окаменели, как если бы он ждал удара. Сейчас начнется. Размен любви на деньги, должности, поблажки. Доля в бизнесе? Партнерство? Дом? Какая разница. Он пойдет на все, о чем она попросит – и это будет означать разрыв. Прошрое перечеркнуто; он был элементом плана, сейчас в него воткнут победный флажок.

Тома смотрела в стол, водила пальцем по краю тарелки.

– Мне от тебя ничего не было нужно.

Вот, началось.

– Что же изменилось?

– Ничего.

Тома вскинула глаза, посмотрела на секунду беззащитно, он похолодел.

– Ничего не изменилось, ничего не нужно, но и не будет больше ничего.

– Не понимаю; поподробнее для тупых, пожалуйста.

– Я женщина, а ты мужчина. Для тебя все это приключение. Ну, чуть больше, чуть лучше, чем просто приключение, но все равно ты знаешь, где остановиться. И можешь. А я не могу. Я чувствую, что нравлюсь, что все искренне, и все такое. И мне с тобой хорошо. Но слишком хорошо. И от раза к разу все лучше.

12

Мелькисарову приснился дикий сон. Президент, нарядившись во фрак, отбивал чечетку и выделывал фортели с тросточкой; выражение лица отсутствующее, неподвижное, как положено чечеточнику. Степан Абгарович проснулся, приоткрыл глаза: на кресле рядом с ним чутко дремал желтоволосый; *эти* сторожили по очереди, менялись каждые два часа.

С утра Эужен обозлился. Накануне болтал без умолку, даже слегка покормил: «для порядка». Той самой говядиной, которую Степан припас для Переделкина. И резал мясо мелькисаровским ножом. Сегодня посадил на голодный паек; поддразнивая, чистил картошку в мундире, кромсал густо просоленное сало, вытирал жирное лезвие о Мелькисарова, проводил острием по шее, спрашивал внушительно, с киношной угрозой в голосе: ну

как, не надумал? ну думай. И сел покушать. Днем предупредил: время выходит, до утра у них не будет списка – у кой-кого не будет кой-чего. А если господин хороший думает тянуть резину, то дотянется; завтра вечером – молотком по голове, в мешок и на болото.

Обеда тоже не было; и ужина ему не предложили.

13

Ты мне нравишься, нравишься все больше, ты меня пробираешь до мурашек, я могу смотреть на тебя не отрываясь, я начинаю хотеть быть с тобой всегда, каждую минуту, каждую секунду, я ревную тебя к твоим поездкам и возможным встречам, я ненавижу твою жену, я знаю, что ни на что не должна претендовать, и ухожу. Ухожу от тебя, ухожу из компании: не смогу быть рядом и не с тобой. Ухожу сейчас, потому что будет больно, но пока не до смерти. Сегодня я еще держусь из последних сил, сохраняю свою отдельность. А завтра я в тебя до конца прорасту, и ты меня уже не сможешь оторвать. Но все равно оторвешь. Прости.

14

Степан закрыл глаза и отвернулся. Странная жизнь у слепого. Острые запахи, страшные звуки. Пьяное бормотание уродов, позвякивание вилок о тарелки, запах паршивой водки. Запахи и звуки почти начинаешь видеть. Вот голос Юрика ушел вправо и вверх, дверь открыли, потянуло свежим воздухом из прихожей; лучше бы не открывали: на этом фоне проступил протухший дух мужицких тел, дурных зубов, старых носков. Последние впечатления жизни. Разящее послевкусие.

Значит смерть. Что ж. Смерть – пустая абстракция. Пока ее нет, она есть. Потому что ты, живой, о ней думаешь, ее боишься, ее ждешь, ее оттягиваешь, а иногда ее торопишь, потому что жить страшно, или невыносимо больно, или смертельно скучно. В самом прямом смысле слова *смертельно*. А как только она пришла, ее уже нет. Потому что нет тебя самого со всеми твоими страхами и надеждами. Смерти душа не нужна, это лишнее, что ей с душой делать? Смерть это ты, твоё тело, твой пот, твои бесконечные бабы, твоя кислотно-желтая моча с пузырящейся белой пеной, твой жидкий стул, твой вросший ноготь с колющим заусенцем на большом

пальце правой ноги, злость на тупого брата, непонятная любовь к сыну, которого хочется вжать в себя, втереть и растворить, смутная тень жены, деньги, удобное кресло и лень у камина. Смерть живет, пока не настала смерть. И умирает она вместе с жизнью.

Самое страшное в смерти Мусы – как же он ясно теперь это понял! – была последняя мысль. Не про то, что его, Мусы, не будет. А про то, как будет жить его мальчик, увидевший гибель отца. Мысль о жизни, в которую врывается смерть.

Но как же хочется жить. Жить. Терпеть боль, испытывать скуку. Открывать глаза, закрывать глаза. Слышать хруст огурца на зубах, бульканье бутылки, ощущать тепло батареи, хотеть в сортир, уходить от преследования, даже попадаться в ловушку – все равно хочется! Как они будут его убивать? Пристрелят? Вряд ли. Шумно. Прирежут? Побоятся, вспомнят драку у лифта. Скорей всего и вправду влепят по башке тяжелым, проломают затылочную кость, сердце проткнут свинорезкой и увезут куда-нибудь в торфяные болота. Когда найдут и вытащат, жижа все пропитает, как смола, половину лица выест жирный болотный червь, в паху будут копошиться червячки поменьше, белые, с личинками. Тошнота.

Пока ты не умер, невозможно вычесть самого себя из мира, представить, что все вокруг есть, а тебя – нет. Жанна входит в квартиру, раздевается, принимает душ, ищет в шкафике прокладки, чешет языком с МарьДмитрьной, ругается с Василием, смотрит в окно на любимые крыши, а тебя – нет. Тёмочка закончил свой лицей, решает, куда податься, трясет своей челкой, злится на мать, прячется от своих фошистов, ругает жыдов, влюбляется в еврейку, строит бизнес, мечется в проигрыше, заводит любовниц, чешет за ухом твоего внука, чтоб активней сосал материнскую грудь, а тебя на свете нет. Где он живет, в России? в Лондоне? Ты уже не узнаешь, нету тебя, нету, и больше никогда не будет. Как ластиком стерли, крошки стряхнули, на бумаге остался резиновый запах, а тебя нет, нет, нет!

Умереть не страшно. Был и нету. Думать о смерти – кошмар.

Мелькисаров попробовал понять, что значит быть душой. Он ведь когда-то занимался йогой, в конце семидесятых было модно; только тогда это было игрой, а сейчас всерьез. Расслабился, распустил мышцы, отключил нервные центры, позволил венам накачаться кислородом, мягкие ткани стало изнутри покалывать, как будто кровь закипела, тепло побежало от затылка к позвоночнику,хватило надпочечники, проползло под колени, добралось по икрам в пальцы ног, там сосредоточилось, сгустилось. Он почти перестал ощущать свое тело, только запястья, затылок, таз, колени, икры и выступающие косточки стопы. Он больше не мешал окружающей

жизни, почти не занимал в ней никакого места. Только чувствовал, как постукивает сердце, ровно, спокойно, отдельно. Если бы не эти гематомы: где-то далеко, почти отдельно от него, тело продолжало ныть.

Он сделал попытку стать невесомым, зависнуть над реальностью, поплыть. И странное дело, получилось. Только не тело отделилось от пола, а пол отделился от тела, медленно сполз вниз, как разварившееся мясо сползает с костей; возникло полное ощущение, что внизу ничего нет, ничего нет и вверху; он медленно сдвигается отсюда, перетекает из полуосвещенного подвала в полную, беспримесную тьму.

15

Тома замолчала, опустила глаза, стала методично мешать пластмассовой трубочкой в своем русалочьем мохито. Степан был полностью раздавлен, потрясен. Залепетал невразумительное, позорное, сам потом краснел, вспоминая:

– Ну погоди, не спеши, подумай, взвесь. Остаешься пока в компании, хочешь быть вице-президентом, хочешь быть гендиректором, хочешь быть старшим управляющим партнером?

– Ты меня покупаешь? – нехорошо усмехнулась Тома. – Не продаюсь. Хотя вот что: заплати за ужин. Запомню тебя, Мелькисаров, другим, не сейкашним, не мелочным, не суетливым. А теперь – прощайте, Степан Абгарович. Вряд ли мы с вами увидимся. Разве что дела сведут.

Встала и ушла, чуть не плача.

Рана, нанесенная с размаху, болит сильней, зато затягивается легче. Степан надеялся, что переживет разрыв быстро; не тут-то было. Наутро он проснулся в четыре: сердце похмельно стучало, во рту было сухо, на душе слякотно, предчувствие полной катастрофы. Заснуть он так и не сумел; сидел до утра на кухне, пил травяной чай, курил трубку, сопел и злился, как толстый избалованный ребенок, у которого отняли любимую игрушку. Даже не отняли; он сам, дурак, ее завел, запустил, а она куда-то улетела, и найти ее в густой траве невозможно.

Жанну он возненавидел, будто это она во всем виновата; встретиться с ней сейчас было немыслимо. К семи утра он собрал вещички, оставил краткую записку, вызвал Ваську – и по тряской дороге, через Ярославль, укатил в Вологду. Как бы по срочным делам, на неделю. Остановился в обкомовской гостинице, дубовой, кондовой, пахнувшей советской властью –

и бесцельно бродил по чистенькому бедному городу, где имелось множество заснеженных церквей, чугунный поэт Батюшков с несоразмерной коняшкой, бестолковый базар и ни одного пристойного ресторана, только «Мишколец» в бывшем католическом соборе, с дополнительной сауной и глубоко несчастными блядами.

Вялая провинциальная жизнь успокаивала, расслабляла. Но. Появлялась из-за угла маленькая женщина с волосами, выбивающимися из-под шапочки вверх, – он вздрагивал. Замечал в чудовищном банкетном зале гостиницы «Октябрьская» нежный наклон спины – замирал на секунду. Тома не давала забыть о себе, напоминала постоянно: я где-то есть, и буду долго, но уже навсегда без тебя. Боль проваливалась в него, все глубже и глубже, как брошенный шарик в игровом автомате: поначалу мечется, бьется, устремляется вверх, дробно барабанит по гибкой пластине, а потом рывками катится вниз, уровень за уровнем, сантиметр за сантиметром. И чем глубже, тем больнее.

Через два дня он возвратился в Москву. Забросил вещи, заглянул к Жанне. Та пила свой вечный кофе со своей вечной помощницей, и было в ней что-то жалкое, по-животному беззащитное. А беззащитных Мелькисаров не любил. Беззащитен неудачник; неудачник боится судьбы – и как бы всем своим видом говорит тебе: не хочу ни за что отвечать, реши мои проблемы, а я потом тебя за это обругаю; нет у человека право на беспомощность. Только у ребенка и у старика. Может быть, он и сдержался бы и не стал бы Жанну добивать своим прямым рассказом про Тамару. Но та неловко повернулась – а когда она умела поворачиваться ловко, эта чертова аккуратистка?! – и локтем смела недопитую чашку. Чашка английская, хрупкая; разбилась не звонко и нагло, как положено биться посуде, а чахоточно, почти бесшумно и безвольно. По полу растеклась кофейная лужа. Жанна охнула, отскочила – и зацепила кофейник. Раздался медный гонг, к жиже добавилась гуща. Жанна стояла потерянно, несчастно.

– Ну вот что, Жанна. Должен тебе сказать. Помнишь разговор про гигиену? Я слово свое – не сдержал.

Жанна побледнела, обмерла. Ждет, наверное, что он объявит: ухожу, приготовься к разводу. Не объявит, не бойся. Но оплеуху ты все же получишь.

– У меня был настоящий роман. С любовью, а не только сексом. Сейчас все кончено. Но ты должна об этом знать.

Стоит, не шевелится и не отвечает. Ну как хочет. А он пошел.

Тому забывать он стал через полгода. А еще через полтора к нему на прием напросилась мадам Сергиенкова. Она была уже финансовым

директором; досиживала этот год, последний, и собиралась уходить: помянуть внуков на Кипре. Печальные были у нее новости. Из компании стройными рядами потянулись лучшие клиенты; они закрывали контракты примерно раз в неделю, как по расписанию. Сергиенкова бросила на Степана Абгаровича свой ласковый, постоянно на что-то намекающий взгляд и со сладострастным состраданием произнесла:

– Я знаю, кто забрал клиентскую базу.

Так ведет себя маленькая девочка, решившая в детском саду наябедничать на подружку.

– Кто же?

– Она.

– Она это кто?

– Она это она.

Мелькисаров все равно не понял.

– Да говорите вы без экивоков, Софья Нафтальевна.

– Тамара Василич.

Этого не может быть. Этого не могло быть! Но это было.

Служба безопасности, проспавшая увод клиента, резво бросилась проверять сигнал, искупать вину.

Выяснилось следующее.

Василич Т. В. создала фирму – один в один по их модели, предложила их партнерам лучшие условия, сманила к себе; но самое ужасное не в этом. Самое ужасное, что базу она могла вскрыть только будучи еще при исполнении, не позже 30. 06. 95, так как с 1. 07. 95 в целях улучшения условий хранения информации, составляющей коммерческую тайну, были изменены правила допуска. К ответственным лицам Василич Т. В. за соответствующим разрешением после указанной даты не обращалась.

Значит, до 30. 06. А простились они в сентябре.

16

Сразу после разговора с Сергиенковой Мелькисаров позвонил Тамаре. Трубку взяли без промедлений.

Голос у Тамары был хриплый, мокротный; она лежала с температурой. Но говорила спокойно, без нерва. Раздражения или смущения не было; отголосков прежней ласки он тоже не различил. Хотя бы остывающей, гаснущей. Дела? проблемы? объясниться? Приезжай, я ведь сама пока

невыездная. Продиктовала адрес; его слегка кольнуло. Тогда Барвиха не вошла в олигархическую силу, но уже зашкаливала по цене. Мелькисаров ясно помнил, сколько платил Василич; еще яснее сознавал, что так быстро обстричь украденных клиентов невозможно. Либо – либо. Либо она прикрылась чувством как шапкой-невидимкой и давным-давно перенаправила потоки. Либо у нее появился добротный покровитель; что для Степана было хуже – непонятно.

Поселок «Ветеранский» возник недавно; какие-то особняки стояли уже чистенькие, вылизанные; какие-то напоминали азиатский недострой: без крыш, с ощерившейся арматурой; несколько участков только-только поступили в разработку, из разных концов поселка доносились тупые удары строительной бабы, кругообразный визг циркулярных пил, слышен был запах гаснущего фейерверка: шли сварочные работы. Машину пришлось оставить на въезде, дорога была в таких марсианских колдобинах, что картеру несдобровать. По скользкой обочине бродили мужние жены – в дорогих плащах и деревенских резиновых сапогах; по весенней погоде детишек надо выгуливать, а хорошей обуви жалко. Мелькисаров и сам не отказался бы от сапог: совсем как тогда, во Владимире, ночью.

Тамарин домик был не самый большой, но и не самый мелкий; высокий фундамент, крупная кладка, среднеевропейский стиль. Из конуры метнулась собака размером с быка; белая, в нежных кудряшках, но как будто бы бесноватая; металась на краю цепи, вот-вот сорвется – и тогда конец. Дверь отворила то ли бурятка, то ли калмычка неясного возраста – ей могло быть и тридцать, и сорок, и пятьдесят. Мягко прикрикнула: «Молчи, Арно! свои», Арно дернулся еще разок, для порядку, и притих. А калмычка-бурятка покорно, почти обреченно повела его по длинному коридору – вот этому самому, как не узнать; он тогда заметил лубочные картинки – и, как выясняется, запомнил.

Тамара встречала его в салоне, полулежа в обширном кресле. Горло обмотано шарфом, неброский халат; косметики, кажется, нет. Ни малейшего желанья обаять, ни следа обычной женской тревоги: так же она хороша, как была? понимает ли он, что потерял? Но и никакой подчеркнутой дистанции. Коллега. Так встречаются с когдатошним коллегой. В меру дружелюбный деловой настрой. Проходите, гостем будете, чем могу.

Он не подал виду, что удивлен и расстроен; сел напротив, вынул списки клиентов, спросил: твоя работа? Если официально, то знать не знаю. Если между нами, то моя, – она ответила беззастенчиво. Это бизнес;

тут не до сантиментов. Мелькисаров выложил козырь, который считал роковым: база данных взломана за лето до ее ухода; она еще ложилась с ним, а уже готовила пути отхода. Получил встречный удар: что же вы, Степан Абгарович, такой большой мужчина, а женщин до сих пор не знаете? есть ли в Париже непродажные? – Есть – только они совсем уже дорого стоят.

– Можно я тебя спрошу о личном?

– Спрашивай, но для начала я приму лекарство.

Тома позвонила в медный колокольчик с витиеватой ручкой в виде Чарли Чаплина. Калмычка принесла питье и полотенце. Тамара выпила, мгновенно покрылась обильным потом, полотенце накинула на голову, стала похожа на свою, родную женщину, только что из деревенской бани: напарившись, сидит в предбаннике, пьет с милым мужем смородиновый отвар.

– Если все так конкретно, зачем была нужна прощальная сцена? Со сдавленным голосом, с полуслезой?

– А это была не сцена. Что чувствовала, то и говорила.

– И знала, что после этого кинешь? Что уже – кинула?

– А разве одно с другим хоть как-то связано? Я все ждала: когда ж ты, Мелькисаров, решишься порвать с семьей, уйти ко мне? Я ведь хотела с тобой не спать, а жить, сам знаешь, совсем другое дело. Ждала, ждала; не дождалась. И должна была себя обезопасить. Уж извини. Не любовь, так хотя бы клиентская база. А чувство – оно же никуда не делось. И не делось бы, если бы я не ушла. Потом само собой погасло, испарилось. Может быть, не до конца, но что теперь говорить.

– Не понимаю.

– Все ты понимаешь, Мелькисаров. Ты же сам так живешь.

– Я живу по-другому.

– Ага. И сейчас ты пришел поговорить о чувствах, верно?

– Сейчас я пришел поговорить о делах.

– А что ж тогда про чувства вспоминаешь? Ты давай, не стесняйся, начинай разводить.

– Добро. – Степан Абгарович как следует обозлился; раздражение в таких делах необходимо.

У Тамариной конторы есть клиенты. Но могут появиться и проблемы. Часа через два или три, одновременно в рязанское, смоленское и мытищинское отделения подъедут гости. Есть кой-какие подозрения; документы изымут, контракты сорвут. А завтра в московский офис заглянет пожарный, обнаружит отступление от инструкции одна тысяча сорок

восьмого года, пункт тринадцатый, примечание четыре а. И почему-то вдруг не станет договариваться. И опечатает контору. И клиенты скажут ай-ай-ай. Нет, потом, конечно же, все прояснится, станет на свои места, повесите огнетушитель, откроете сквозной проход, согласуете ремонт проводки. Но время – уйдет. И что ты станешь делать?

На это она ничего не ответила. И в бронзовый колокольчик не позвонила. Нажала крупную кнопку в стене; где-то далеко, на втором или третьем этаже, раздался противный звонок. Мелькисаров молча ждал последствий. Через минуту в комнату без стука, как свой, как хозяин, вошел суховатый мужчина. Примерно его ровесник, может быть, постарше. Пегие волосы, короткая стрижка, скучноватое, затертое лицо. Серо-голубые глаза; смотрит исподлобья, с легкой издевкой.

– Мартинсон. Георг Янович. Друг Тамары. Проблемы?

Тамара поморщилась. Сказала хрипло – голос вот-вот сорвется.

– Ладно, Жора, не надо цирка. Мелькисаров умный, он же понимает, что ты уже в теме. Давай, реагируй. Мы ждем.

Степан покрутил головой: где спрятана видеокамера?

– Не ищите, не найдете, мы же не любители. Давайте, Мелькисаров, пойдем в откровенку. Проблемы есть, претензии реальны. Но, как я понял, за вами личный должок перед Томой. Так что давайте считать, что это была цена вопроса. Согласны? Бьем по рукам, и больше ни один клиент от вас ко мне не переходит. Не согласны? Начнется война. Вы, я вижу, ходите под милицейскими; похвально. Навредить они смогут. Но мне все это фиолетово. Как закрыть дыру, я придумаю. Денег потеряю, верно; денег жалко, кто спорит; но счастье не в деньгах, счастье в победе. Я pošлю вам такую обратку, уважаемый Степан Абгарович, что малой кровью не отделаться.

Мартинсон говорил ровно, беззлобно и намеренно тихо, как старший по званию перед подчиненными: чтобы расслышать каждое слово, надо застыть и напрячься. В эпическом неспешном стиле он рассказал про Сергиенкову, каковая подписала бумаги на сделку с физтехом; разработка куплена дешево, перепродана китайцам в восемь раз дороже – «а было это, глубокоуважаемый Степан Абгарович, в одна тысяча девятьсот девяносто пятом году, в июле месяце; десятого числа совершена покупка, а уже двенадцатого произошла перепродажа».

– И что теперь? Все согласования были получены.

– Не все, не все, товарищ Мелькисаров. У одной почтенной организации имелись возражения; и даже штампик такой был поставлен на странице двадцать пятой, раздел второй: ДСП, секретно. Бумажку

подменили? Подменили. А это нанесение ущерба, шпионаж и сговор. Начнем не с вас, зачем? начнем с физтеховцев, они давно и безнадежно обнаглели, пора поставить их на место. Дойдем до Сергиенковой. Через нее получим комп на вас. Тут выемкой уже не пахнет. Тут запах разгрома и срока.

– Слушай, Мартинсон. Ты же знаешь: мы ничего не подменяли. Мы договорились. Кто штамповал бумажку, тот ее и вынул. Сам! без нас. И штамповали только для того, чтобы было о чем договариваться!

Степан начал терять терпение; спокойней, друг, спокойней; наломаешь дров, наделаешь ошибок.

– И вы готовы это доказать?

Доказать Мелькисаров был не готов.

– Ну вот видите, как все сердечно. Доказательств нет, шпионаж налицо, доверенность у Сергиенковой на подпись номер двадцать восемь, виза внизу: Мелькисаров. Кстати, чаю или кофе?

– Кофе.

– Американо? Эспрессо? Турецкий? Латте?

– По-венски, – буркнул Мелькисаров.

– Хорошо, – любезно-иронично согласился Мартинсон.

Калмычка принесла серебряный кофейник, фарфоровый сливочник, уютные венские чашки, ассорти из крохотных пирожных. Таких... умильных... по-женевски. Посмотреть со стороны – настоящая чеховская сцена: скудный свет из незашторенных окон, на ореховом столе матовое серебро, в белой просторной посуде ароматно чернеет напиток, от пирожных исходит сладостный запах; стоит непроницаемая тишина, слышно, как женские губы пробуют горячий напиток, не обжечься бы.

Допив свой кофе, Тома поставила градусник; она вообще вела себя незастенчиво, по-домашнему, будто бы они уже долгие годы живут вот так, все вместе, втроем; ее не задевает легкая стычка мужчин; они уж как-нибудь решат, как будут действовать в дальнейшем, и не станут ее вовлекать в ненужные подробности. Потрясающая выдержка; фантастическая женщина.

Ни о чем они тогда не договорились, но поняли друг друга хорошо. Поставили осмысленное многоточие, разошлись – как показалось, навсегда. Отток клиентов сразу прекратился, наезжать на Мартинсона он не стал, физтеховское дело не всплывало.

Через неделю Мелькисаров полетел в Женеву, по делам. Переговоры быстро провалились, на одну неприятность наложилась другая; он взял да и поехал в церковь.

Вообще-то батюшкам он не доверял. Хотя и признавал существование какой-то высшей силы. Называйте ее Богом, ради бога, он не против. Но сила есть, и это медицинский факт. Сила безличная: Бог думает про нас – не по отдельности, а в целом; он перекачивает страны по наклонной, сливает, разливает и химичит. Меняются устои и устройства. Раньше можно было за одну-единственную жизнь прочесть все книжки, написанные до тебя, и невозможно перейти из нищеты в миллионеры; теперь миллионеры размножаются делением, их стало как грязи, а книги, изданные в мире за год, потребуют затвора на сто лет. И все равно дочитать не успеешь. Был Советский Союз. И не стало. Не было мирового гиганта по имени Америка. Гигант появился. Китай прозябал, прозябал на обочине. И вызывающе процвел на пару с Индией. Бразильцы отплясали карнавалы и начали захватывать рынки. Это и есть Провидение. Ты чертишь линии, строишь графики; бац, оно направило народы по кривой, и тебя понесло, понесло; скорость нарастает по экспоненте.

При чем тут батюшки? Зачем они в этом раскладе? Неясно. Но когда тебе нехорошо и даже мерзко, и хочется во что-нибудь поверить, приходится переступить через условности. Надо съездить. Тем более что завтра Пасха.

В городе было два русских храма, старый и новый. Старый, как положено, холеный, белый с полноценной начищенной маковкой; новый – обычная вилла. Крест на крыше провели по документам как громоотвод; колоколенку оформили как зал для музыкальных репетиций. Сначала Мелькисаров посмотрел на фрески, колоритно почерневшие от свечного нагара. Потом походил по отсыревшей крошке возле виллы, понюхал жирные церковные розы в маленьком зимнем саду. И понял, что праздновать будет не с теми, а с этими. Просто так, не по какой-нибудь причине.

За сорок минут до полуночи он – возле церковной ограды. Мелькисарову везет; он успевает протиснуться в проем боковой двери и закрепить внутри по стойке смирно. Следующим места не хватает; они растекаются по участку, кольцом окружают маленькое здание. Слева жметя старушка – божий одуванчик: серебристо-фиолетовые букли, чистенькое личико послушной дочки первоэмигрантов. Справа маячит суровый гигант, похожий на чекиста из охраны, – весь день на консульских воротах, по выходным на озеро за рыбкой, чтобы экономить, экономить,

экономить, и вернуться из загранкомандировки своим ходом, в караване перегонщиков машин.

Консульских много – напряженные черты советских лиц ни с чем не спутать. Хорошенькие русские девицы в окружении французских ухажеров, довольных собой, подружками и обстановкой; середину храма занимают типовые русские программисты из глобальных компаний – сутуловатые, задумчивые, кто ноготь грызет, кто ковыряет в ухе; к ним жмутся робкие еврейские управленцы, холеные чиновники из штаб-квартир ооновских организаций; по углам стоят голодные таперы и проститутки, трогательно стыдящиеся себя. Поближе к алтарю – бизнесмены средней руки. Возле них в сосредоточенной молитве бывшие бандиты – когда-то их послали контролировать поставки поддельных часов, они привыкли к здешней жизни, бросили прежнее и решили осесть в тишине и покое. Прямо перед царскими воротами умиленно прикрывает глаза полнокровная дамочка в белой воздушной накидке – явно московского вида. А сквозь приоткрытую дверцу алтаря виднеется массивная фигура известного московского артиста: пшеничные усы, синие глаза навывкате, царственный ровный загар... Чем-то похож на Томского, но вальяжнее. И на Боржанинова. Но здоровее.

Тяжело дышать; время тянется подчеркнуто медленно; вот-вот откроется вечность, а вечности некуда спешить; обождёте, не растаете.

Из одного конца храма передают к свечному ящику деньги; из другого возвращают большие красные свечи; чтобы подхватить купюру или свечку, приходится закидывать руки; руки колышутся над толпой, как на молодежном концерте. Что тут начнется, когда придет пора передавать огонь, подумать страшно...

Но вот – щелк-щелк-щелк выключатели, неспешно гаснет хрустальная люстра, приглушенный свет пробивается через щели крашеного золотом гипсокартона, и по кончикам свечей врассыпную бегут огоньки. Что же это за горючий материал? Никакого потрескивания, как будто пламя химическое, ненастоящее. Люди поджимают животы, добровольно плющатся – и раздвигаются, хотя казалось – некуда; никто не подпалился: чудеса.

Через открытую дверь огонь передают на улицу, там тоже мерцают десятки свечей. Дробный огонь подсвечивает лица, отражается в блестящих глазах, дрожит; тихо, застенчиво звякает колокол; из бокового входа выползает череда служек – с хоругвями, фонарями, иконами; один зевает во весь рот и трясет головой, чтобы проснуться; хвост процессии замыкают милые упитанные мальчики, наверное, поповичи: в новых незаляпаных

стихарях, с цветными фонариками. Процессия скользит по узкому проходу – тонкому, белому, как прямой пробор посреди крашенных черных волос. Раздается массовый выдох, и пробор исчезает.

Тишина, нетерпеливое дыхание, замедленное потрескивание свечей.

Вдруг за худосочными царскими воротами начинают что-то петь. Один голос утробный, с явным французским акцентом; два другие потоньше, помазнянистее, русские; и еще один русский голос им подпевает, как-то обособленно, самостоятельно – сипловато, тонко, по-бабьи. Наверное, большой актер.

Вос-кре-се-ни-е Христово видеви-ше, Ааангели поют на небесех, и нас на земли сподооооби чистым сердцем Тебе слаавити...

И еще раз, то же самое, громче, увереннее, как-то даже требовательнее, потому что теперь уже подпевают все, звучным, многократно усиленным шепотом: *Воскресение Христово видевише, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити!*

Двери дерзко разлетаются настежь, люстра вспыхивает в полную мощь, и храм опять расступается, но уже не узким пробором, а широкой, просторной дорогой, по которой важно шагают высокий худосочный диакон и коротенькие полные священники. Актер выходит боковой дверью; пристраивается в хвост. Никто не чувствует себя придавленным, зажатым, всем хватает места; все поют не сдерживая голоса, полным дыханием, храм гремит: *Воскресение Христово видевише, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити!*

Поют охранники и программисты, проститутки и служивые, поют студентки, эмигранты, таперы, лабухи; ухажеры подпевают голосом, без слов: аааааааааа, ааааа аааа... Всем хочется верить (а кому-то, наверное, верится), что вот, Христос воскрес, и они сами видят, как отвален от гроба камень, и там сидят настоящие ангелы в длинных белых одеждах, и значит, всех нас, по-разному богатых и бедных, устроившихся и не вписавшихся, но, в общем, одинаково несчастных, приголубят, пожалеют, полюбят, спасут. Мелькисаров не понимает, что это значит – спасут, но охотно поет со всеми, подавляя слезы и самому себе изумляясь. Все видел, все прошел, а гляди-ка...

Наконец-то по щекам бьет свежий воздух: начинается крестный ход. На улице поют намного тише, полушепотом, чтобы владельцы близлежащих вилл не возмущались. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Тссс! И свечи, свечи: не подпалитесь! Тесной вереницей прихожане идут за хоругвями и маленькими цветными фонарями – мимо свежих розовых кустов и диких яблонь, надувного детского бассейна,

скрученного шланга для полива; крошка приятно прокатывается под ногами; правильный ты сделал выбор, Абагарыч: в старом храме было бы не так. А впрочем, кто его знает.

После крестного хода виллу словно проредили. Становится слишком просторно. Сквозь сверкающую, искрящуюся службу слышится урчание отъезжающих машин. Царские ворота распахнуты, диакон и священники по очереди выбегают из них, быстро обходят храм по кругу, сладко кадя драгоценным дымом и шумно поздравляя:

Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

Все крестятся и подпевают. И это длится долго, долго, долго, но время летит незаметно.

Сверкание, искрение, торжественная суэта вдруг сами собой замирают, хор умолкает, оставшийся народ дружно складывает руки на груди и гуськом течет навстречу медной чаше, из которой старший священник ложечкой достает причастие; диакон промокает прихожанину губы кумачово-красным полотенцем; прихожанин целует чашу и, слегка закатив глаза, отходит неспешно в сторонку. Мелькисаров никогда не причащался, не понимал, зачем это делают и что это вообще дает; но тут, размякший после длинной службы, подобревший и повеселевший, говорит сам себе: почему бы нет? и занимает очередь последним.

Суровый, сухощавый дьякон, поднеся к его подбородку алое полотенце, интересуется – с акцентом:

– А ви, брат, исповедался?

– Нет. Я не знал, что обязательно надо. – Мелькисаров виляет, как школьник на уроке.

– Ньет. Ви отойди, пожалуйста, в сторонка. Вон туда. Батьюшка сам подойдет.

Мелькисаров встает у левой дверки, смиренно ожидая своей участи.

Из бокового входа появляется батя, – который помладше, не главный. Лицо осунувшееся, но очень довольное, глаза черные, быстрые. В руках маленькая книга и большой металлический крест.

– Пойдем в уголок, к подоконнику, там не помешают.

Положив книгу и крест на подоконник, низкорослый батя чуть склоняется навстречу Мелькисарову, и разворачивает ухо. Ухо тонкое, прижатое, изнутри прорастает несколько сильных черных волосков. Приходится неудобно изогнуться, чтобы стать поближе к священному уху.

– Откуда родом?

- Из Москвы.
- Как христианское имя?
- Степан.
- В Москве-то где спасаешься?
- Не понял?
- А. Терминологией не владеешь. Захожанин?

Мелькисаров смущен. Его пробивают, проверяют на свойскость, а он ничего путного ответить не может.

– Так, чувствую, дело серьезное. Ты когда исповедовался в последний раз? То есть вообще – никогда? Бедняга, как же ты ухитрился? А в церкви бывал? Крещеный? Уже неплохо. Про пост и канон лучше не спрашивать, верно?

– Ну да, лучше не спрашивать.

– Не постился, не исповедовался, и сразу вот так, причащаться... Что, очень худо?

Священник отворачивает ухо, смотрит в глаза, прямо, твердо и весело. И Мелькисаров отвечает очень просто, как сказал бы брату, если бы тот не был такой дурак.

– Да, нехорошо.

– Ну, давай говорить откровенно. По-правильному я бы должен тебя поздравить со светлым Христовым Воскресением – и погнать метлой. До исправления и перевоспитания. Походи, дескать, на службы, почитай, обратись. Но я по молодости лет такого же, как ты, страдальца, погнал на Пасху, и за дело погнал, между прочим. А он пошел и повесился, негодяй такой. И до сих пор снится почти каждую ночь. Молча стоит и смотрит. Я ему во сне говорю: ну что пришел, иди давай, не мог я тебя причастить, не по правилам. А он стоит. Что делать? Так вот до смерти моей и простоит, наверное... Ладно, Стефан. Все не так, все неправильно, но давай уж ладно, под мою ответственность. Залезай под епитрахиль. Да склони ты пониже башку, честное слово, не стукну.

Мелькисаров сгибается до упора. Священник набрасывает колючую, пропитанную ладаном полосу расшитой ткани. Кладет на затылок тяжелую руку. Чуть заметно треплет и крестит, сухо стучая щепотью по затылку.

– Ты в духовном смысле никогда еще и не жил, а сегодня смерть побеждена... аз же, недостойный иерей, властью убо мне данной, прощаю и очищаю... чадо Стефане... Вылезай, Степан, на свет Божий, целуй крест и Евангелие. Сейчас вот вынесу чашу, пошире откроешь рот, примешь причастие и после приложишься к краю потира. Ну то есть чаши этой самой. И вот тебе маленькая иконка, называется складень, смотри: тут и

Господь наш Иисус Христос, и Пресвятая Богородица, и Николай Чудотворец; с праздником, брат; спрячь в карман, не потеряй: у тебя ведь нет, наверняка!

Священник стоит уже на боковой ступени, купольное дно сосуда, похожего то ли на медную вазу, то ли на огромный металлический бокал, нависает над головой Мелькисарова. Он делает все, как ему велено; во рту у него кусочек размокшей мякоти, пропитанной густой жидкостью; Степан Абгарович ждет либо равнодушия, либо чуда; не происходит ни того ни другого. Просто становится легко и беспечно. Сидишь дома, сам себя загоняешь в страх, не включаешь свет, не разогреваешь обед, а тут щелкает замок, звякает ключ: мама пришла!

– Стой, куда помчался? Иди запивочки прими.

К сладкому вину, разогретому в медном чайнике, полагается обильный кусок белого пресного хлеба. И Мелькисаров вынужден признаться сам себе, что никогда ничего вкуснее не пил и не ел. Разве что сибирский черный хлеб с балтийской килькой из консервной банки и булку с пожелтевшим крупным сахаром за чаем, да и то не факт.

На часах полчетвертого; через два часа рассветет. Свежо, сыровато, прохладно. Пора бы уже и домой. Но подходит старушка с фиолетовыми буклями, чуть картавя, по-местному, приглашает разговеться, в домик клира.

– Да я же не заказывал место.

– Тут вам не ресторан, чтобы заказывать. Есть деньги – бросьте на тарелочку при входе, нету – просто заходите. Сегодня не праздновать грех.

Домик клира – еще одна вилла, в глубине участка; тарелочка – хорошенькое блюдо. Мелькисаров бросает сто франков, поверх десятков, двадцаток, монет – и проходит. Свет люстры слепит; столы как положено, ломаются; пылают красные тонкие свечи; в центре – корзина с крашеными яйцами, всех мыслимых и немыслимых цветов, с узорами и переводными иконками – заранее жалко разбивать; над корзиной высятся узкие коричневые куличи, похожие на боярские шапки из фильма про Ивана Грозного, к ним жмутся шатры отформованных пасок; вольно раскинулся желто-серый балык в росе из капелек жира; тихо лежит ветчина с размягченным, пластинчатым салом, сбоку от нее – голландская селедка во всем маслянистом блеске; обособленно держатся сыры – савойский томм, как будто присыпанный хвоей и пеплом, тягучий реблошон, оранжевый монастырский камамбер.

Место на раздаче занимает московская дама в белом платке и с благостным блеском в глазах. Старушка с фиолетовыми буклями хочет по-

хозяйски обслужить гостей; вроде бы сама готовила, самой бы и командовать; не тут-то было. Бейсбольное движение бедра, и старушка отлетает в сторону.

Мелькисаров насыщается глазами и как-то сознает, что ничего не хочет. Ни пасочки, ни кулича, ни сыра. Для порядка просит соленый помидор, яйцо и ветчину – и отправляется за рюмкой водки. У стола с напитками – шесть рядов по двенадцать бутылок, с размахом – стоит его священник и смеется:

– А это что за межконтинентальная батарея? До Америки долетит?

Настоятель читает молитву, все ему подпевают, снова кричат «Христос Воскресе!», и начинают пировать. Старушка с буклями ест скромно, застенчиво; кусочки у нее на тарелочке мелкие. Батюшки радостно тяпают замороженной водки, и почему-то кажется, что любят они не водку, а этот бархатистый налет на бутылке. Лабухи тянут вино, и лица у них густо краснеют. Известный московский артист наслаждается правильной русской кухней; только эмиграция ее и сохранила. Из крохотной стеклянной рюмочки пьет зеленоватую хреновуху, из маленькой серебряной чарочки смуглую перцовку, из граненого стакана – настойку на ореховых стенках, крепит! Пробует мелкие грибки, на один укус, рассыпчатую кашу с белой рыбой, кряхтит, раздувает широкие ноздри; есть в нем что-то боярское, древнее, но чуть-чуть напоказ.

Мелькисаров сначала стоял напряженно, боялся: бытовое веселье подпортит дело, распылит счастливую легкость; ничего подобного. Все едят и пьют, болтают и шутят, поповские дети чавкают, охранники отпрыгивают в сторону, закапав жиром новый галстук за пятнадцать франков; суета; а все равно как будто все еще длится то, что началось недавно в церкви, просто по-другому, по-домашнему. И он тоже начинает есть и пить, понемногу, не жадно, но с удовольствием.

Небо в окнах постепенно светлеет; намечается скорый рассвет. Артист оттирает губы, прочесывает щеточкой усы, ласково манит чернявого регента, просторно его обнимает; низкорослый регент тонет в его подмышке, раскинутой парашютом; затягивает тихо-тихо, почти неслышно, но как-то так внушительно, что все перестают стучать вилками по тарелкам и разворачиваются в сторону артиста. Он сильно и уверенно ведет своим сильным, высоким голосом:

Жили двенадцать разбойников...

Бородатый регент гудит:

И Кудеяр-атаман.

Женщины жалобно подстанывают:

Много разбойники пролили
Крови честных христиан...

Душевно, с едва заметной иронией, все вместе завершают:

Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим!
Так в Соловках нам рассказывал инок честной Питирим.

Хор нестройно ведет рассказ о грешном Кудеяре; регент чувствует музыкально неладное, оглядывается: за его спиной диакон, закрыв глаза, вновь самозабвенно водит ножом из стороны в сторону и энергично сбивает строй. Продолжая дирижировать левой рукой, регент изгибается и правой отнимает нож. Диакон открывает глаза, изображает жестом смущение: прости, брат регент, виноват, больше не буду; вся комната уверенно гремит:

Днём с любовницей тешился,
Ночью набеги творил.
Вдруг у разбойника лютого
Совесьть Господь пробудил!

Регент погружается в мелодию; нож отобран, строй сбивать вроде бы некому, но слышны подавленные, неразорвавшиеся смешки. Глядит по сторонам: диакон на цыпочках прокрался к столу, вытащил огромную вилку из остатков поросячьего бока, и машет ею, решительно не попадая в такт. Регент грозит диакону кулаком; тем временем баллада подходит к развязке. Кудеяр отправился в монастырь, Богу и людям служить; рассказчик монах Питирим и оказался бывшим Кудеяром.

Прихожане рады, как будто бы узнали об этом только что, и громко совместно итожат; особенно стараются вчерашние бандиты:

Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим!

Так в Соловках нам рассказывал инок честной Питирим.

...В воскресенье Мелькисаров позавтракал затемно: весь день проспал. В сонном теле ломота, сознание заторможено, живет своей отдельной жизнью. Ты вроде внимательно смотришь вокруг – видишь ресторанный зал, приглушенный свет, хорошо одетых людей, – но эти образы тебя не задевают, стекают по краю сознания, как вода по стеклу. До ноздрей доходит приятный теплый запах; секунд через пятнадцать понимаешь: это суп.

То, что было прошлой ночью, кажется далеким, нереальным. Мелькают световые пятна. Московская дама, покрытая белым, фиолетовые букли, пшеничные усы, жаркие свечи, яркая люстра, все подались налево, и направо, и снова сомкнулись; сладко пахнет весенняя ночь; выбегает батюшка: Христос Воскресе; поют.

Во время вечернего завтрака Мелькисаров дал себе честное слово: в воскресенье – снова ходит в церковь. Почитает нужную книжку, подумает о жизни, и всерьез, по-правильному поговорит со священником. Но книжку было взять неоткуда; через неделю он в храм не собрался – откровенно говоря, проспал. Еще через неделю пришлось на денек слетать во Франкфурт; немецкий брокер мог освободить лишь вечер воскресенья, а в будни ну никак. В конце июня он опять попал в Женеву; вдруг вспомнил: надо в церковь! Время есть. И пошел в ресторан.

Месяц-другой свербела противная мысль: да пересиль себя, сходи; постепенно свербеть перестало. Он просто прикрепил над кроватью раскладную иконку, подаренную тогдашним батей. Просыпаясь, глядел на нее и говорил, непонятно кому адресуясь: Христос Воскрес, доброе утро! А ложась: Воистину Воскрес, спокойной ночи!

18

Медитация закончилась провалом. В разгар возвышенных переживаний схватило живот. Чувство невесомости исчезло, заныло отлежалое плечо, в кишечнике заворковали газы, в желудке начались рези и колики.

Мелькисаров стряхнул с себя мистический полусон, не открывая глаз, позвал:

– Эужен, срочно веди в сортир, терпеть не могу, обделаюсь!

Молчание.

Все спали. Эужен – на животе, свесил ногу с дивана, как объевшийся бульдог; Юрик кемарил, закинув голову, крупный кадык катался по крошечному, почти лилипутскому горлу, раздавался могучий храп; Кнстянтин по-детски положил кулачок под щеку.

Под табуреткой четыре пустые бутылки, разит недоеденным луком.

Думать некогда. Будь что будет. Это его шанс. С Богом.

Жить!

Степан осторожно, по-кошачьи, цапнул собственный нож, измазанный салом, проскользнул по лестнице наверх, нырнул за дверь. Сел на корточки, зажал коленями деревянную ручку, лезвием рассек веревку; нож тихо положил на верхнюю ступеньку. Не щелкать, не греметь, не суетиться – и не спугнуть судьбу: все на кону, или банк сорвешь, или погибнешь.

Холод ударил по раскисшему телу. Тапочки пришлось сбросить, пятка угодила в промерзшую лужу, треск, ледяная резь. Заворчал, залаял, загремел цепью Арно; не спустили, молодцы! но сейчас всех перебудит. Скорее, скорее к забору. Негнущиеся пальцы сами собой прощупывают гладкую поверхность: есть ли малейший зазор? Два с половиной метра не перемахнешь. Выступов нет. Зацепиться можно лишь за проволоку с легким пропущенным током, как на европейском пастбище вокруг выпаса. Зачем же ток пропускать изнутри? Неважно. Трогаешь металл – начинает рывками дергать, как будто глубоко внутри тебя расстегивается порченная молния, зубчик цепляет за зубчик. И на это плевать. Колючки разорвут кожу? И тут уже все равно. Даром он в юности занимался городским скалолазанием?

Лай превращается в хриплый вой, пенная собачья слюна, наверное, летит во все стороны. Молчи, Арно, молчи, сука, кобель некормленный. Молчи!

Иээехх, иээть, аааааа!

Во что же превращается промерзший песок на ледяной гальке! Бог ты мой, как больно. И все равно – бежать. Богатые вроде люди живут в округе, а жлобы, на фонарях нормальных экономят. Ваша же безопасность, не только моя! Поворот. Поворот, поворот. Центральная улица; вот оно, спасение; вот он, его ангел: тяжелый глазастый «мерс эlegant», женская версия. За рулем мерцает блондинка, типовой вариант подружки. Девочка, погоди, ты разве не видишь, что я машу руками – я, избитый, пятидесятилетний мужик, неожиданно сбежавший от смерти, возьми меня, пожалуйста!

Машина прибавила скорость, исчезла за поворотом.

Ангел забоялся.

Еще б ему не заботиться. Час ночи, полутемная дорога, сумасшедший бомж трусит по обочине – с распущенными космами, на босу ногу. А бомжу не хочется умирать, ты это понимаешь, девочка? И можешь ли ты это вообще понять? Что ты знаешь про смерть? Сейчас спохватятся. Нагонят. И конец.

Азарт остывал, надежда слабела, нарастала вялость. И вдруг, как в самой настоящей сказке, ему опять повезло. На пустой дороге снова показался автомобиль. И не один. Впереди семерка «БМВ», длинный перед как высунутый язык, за семеркой джип охраны. Не остановятся ни за что. И, подпустив кавалькаду поближе, Мелькисаров бросился наперерез: так мальчишки бросают бульник на счастье, на кого Бог пошлет. Визг тормозов, drobный топот полусапог по гравию, крик: «Лежать! пристрелим!». Лежу, милые, лежу, не шевелясь... зачем же по почкам? Больно!

«Куда лезешь, мразь черножопая, обкурился, сука, лежи, не шевелись!».

– Не бейте, ребята, я русский! Меня похитили, похитили, похитили, похитили! Спасите!

– Щас мы тебе покажем русского! Оттаскивай его в сторону!

Только не это. Отбросят в кювет, укатят, и верная смерть! Степан заставил себя вскочить, бросился прямо на кулаки и приклады, в гущу боли:

– Спасите же!

Искры из глаз. Прямой удар. Нокаут.

– Оставьте его.

Из машины вышел хозяин.

– Можешь встать? Молодец. Рассказывай. На чьей даче работаешь, что случилось, кто на кого наехал, чего вы там не поделили.

– Какая дача. Говорю же, похитили, бежал, надо срочно вызывать милицию, утекут! Отвезите меня в домик охраны, я сам уже не дойду.

– Фамилия как? Документы есть?

– Мелькисаров. Откуда им взяться, посмотри на меня.

– Да уж. Мелькисаров, Мелькисаров... Тот самый, «Авель плюс»?!

– Было такое.

– А я Хромов. Элитные коммуникации. По-старому золотарь. Говно по трубам прогоняю, качественно и дорого. Хорошенькое дело. Быстренько в машину, Мелькисаров. Стеценко, жми на разворот.

Господи, все-таки Ты есть! А смерти нет. Пока, во всяком случае.

Жанна положила голову на Ванино плечо; плечо было твердое, деревянное. Гибкость выветрилась без остатка, сплошная зажатость. Попыталась поцеловать его в губы – он смущенно показал глазами на зеркальце заднего вида: неудобно, посторонний за рулем. Она слегка надулась, он придумал выход: плотно, жарко взял ее руку, переплел пальцы – сильно, до боли, и тем самым передал чувство. Так и ехали, за ручку, смотрели по сторонам и шептались на ушко.

Ты мой?

Твой.

Мой без остатка?

Остатки-сладки.

Нет, скажи, без остатка?

Без остатка, без остатка; только знаешь что? хочу тебе сказать...

Скажи!

Я передумал. После.

Нет, ну скажи.

Тс, тихо, водитель услышит.

Пускай услышит! Нам-то что?

Сегодня вечером...

Ну что – сегодня вечером?

Так, ничего.

Ваня! Ты меня пугаешь. Только не вздумай сказать, что решил меня бросить!

Да какой там бросить. Все наоборот. Что бы сегодня вечером ни случилось, с выводами не спеши, отложи до завтра, до нашей встречи, хорошо?

А что сегодня вечером случится?.. Ванечка! я поняла! ты, мой сладкий, ты, мой лучший, ты ревнуешь. Поревнуй посильнее, как же мне хорошо!

Ваня вылез из машины у метро, жалко помахал рукой; какой-то он подавленный, не светлый. Что ж, у мужчин свои переживания. А ей теперь необходимо внутренне собраться. И заявиться в «Ностальжи» привычной Жанной. Без привкуса воли и запаха счастья. Уютной, достойной, слегка неуверенной, домашней и очень приятной.

Никогда еще еда не была такой желанной. Разве тогда, в пасхальной церкви, на запивке. Половинка вялого огурца с черным хлебом – божественна. Хрустящая сушка – восторг. Крепкий чай, обжигающий небо – пробирает насквозь. А свежий бинт еще приятнее, чем свежее белье. Только обломанный, продольно треснувший ноготь на левом мизинце противно слоился при любом прикосновении. Степан попробовал ноготь обкусать, но не вышло, а ножничек в сторожке на выезде – не было.

Они сидели пили чай, обсуждали, что делать. Использовать охрану Хромов не позволил; вторжение на частную территорию, оснований нет, его не задевали; если что случится, пацанам не сдобровать, охранную лицензию отберут. В центральном милицейском офисе на Огарева не подходили, не подходили, не подходили, не подходили, не подходили; подойдя, ответили: все целы, трупов нет? а, ну это в Одинцове, позвоните, там разберутся.

В Одинцове *там разобрались*. Дежурный зевнул: подъезжайте, пишите заявление, рассмотрим. И выдернул шнур из разъема: не мешайте, товарищи, спать.

Завести на тему своего старлея? Это дело. Но Степан телефона не помнил, а трубка осталась у *этих*. Симку они выбросили сразу, а корпус заценили: ух ты, со стразами, круто. (Чичваркин подарил «Вертю» на юбилей; а что? прикольно.) Жанна была вне зоны действия сети; интересно, как же они среагировали на его исчезновение? Сидели в пустынном зале, с ненавистью смотрели друг на друга, уклонялись от единственной важной темы: что же все это значит?

А молдаван отпускать нельзя. Ни в коем случае. Без них на Тому с Мартинсоном не надавишь; не надавишь – конец. С крючка уже не спустят, подставят, посадят, а то и уберут. Терять им нечего, они попали.

– Вот что, Хромов. Спасибо тебе. Ты меня спас, я твой должник. Сделай еще одно доброе дело: пускай твои ребята довезут меня до дому. Я сюда до утра вернусь своим ходом. А ты, – он обратился к вечному сторожу поселка Никифору, в шерстяной фуфайке, носках поверх штанов, – пешим за ворота не пускай, а голубую четверку, номер не помню, удержи. Любой ценой. Денег не пожалею.

«Лендровер» охраны был массивный, жесткий; разгонялся медленно, тяжело. На расспросы изумленного водителя (*ну, ёкрнбабай... во, тля, дела... о, как в жизни-то бывает*) Степан отвечал односложно, нехотя; про себя –

думал, прокручивал варианты.

21

Когда они, через полчаса, въезжали во двор на Покровке, план в голове сложился, оставалось лишь его осуществить.

Глава десятая

1

Душ, фен, макияж... Сделать маникюр не успеваем, но волосы приведены в порядок, глаза слегка оттенены, и никакой помады! Или все-таки ладно, совсем чуть-чуть. Кто сегодня зван? она не знает; Степа снова напустил туману, не умеет он по-простому. Что за повод? увидишь, увидишь; кто приглашен? зачем же знать заранее? Это, мать моя, маскарад, будешь угадывать, кто там прячется под маской. Ладно, Степочка, смирится; недолго терпеть осталось. Платье будет темно-синее, ночное, с открытыми плечами, несмотря на зиму; шею оттенит старинное колье. Черные брильянты, отсвет белого золота; правильная женщина серьезного мужчины.

Ну и где же он сам, этот серьезный мужчина?

По домашнему не отвечает, мобильный отключен, дома нету. Хотя следы недавнего присутствия остались. В коридоре и кухне натоптано, повсюду следы безразмерных ботинок; вечная история. Интересная выходит ситуация. Она – из Ваниных объятий, он – от *этой*. Которая на самом деле *та*. А *эта*, нынешняя, про *ту*, давнишнюю, не знает. И Анька вряд ли догадалась; Анечку ждет неприятная новость, такие перед ней откроются *барвихинские дали*... по крайней мере это – хорошо. Мелькисаров сейчас приедет, сделает вид, что внимателен, обходителен, и Жанна тоже ловко притворится: Степа, ну куда же ты запропастился? *Врать навстречу* – даже весело, хотя и нервно; лихое удовольствие, как при обгоне на скользкой дороге; минус на минус – получится плюс; два взаимно радушных обмана встретятся, чмокнутся, отправятся на маскарад.

Вообще-то пора бы ему объявиться, время вышло, цигель-цигель, ай-лю-лю, как папичка любил приговаривать. Рублевка сегодня пустая, ей ли не знать. Никак не может оторваться от барвихинской подружки? Что теперь прикажешь делать? Идти самой? или дождаться Степана?

Пять минут, пятнадцать, полчаса... Что такое, в конце-то концов; она ему кто, забытая вещица в камере хранения? Цуцик на привязи? Пускай догоняет. Одеваемся. Мстительно отключаем телефон. Помучается хоть полминутки.

Жанна! вперед.

У подсвеченного входа в ресторан к ней подскочил какой-то мужичок в армейской куртке, с меховым воротником. И начал щелкать фотоаппаратом, ударяя вспышкой по слизистой глаз; особенно больно было в уголке, в той набухающей точке, где когда-то пришивали сетчатку.

Жанна инстинктивно прикрылась рукой, прикрикнула:

– Вон пошел! Кто такой? Кто сказал?

А фотограф, не смущаясь и продолжая приседать и щелкать, ответил:

– Ваш муж сказал, господин Мелькисаров! Улыбочку, прошу вас, вы не пожалеете, мадам, поверьте!

Лучше бы этот муж не опаздывал и не возвращался к старым бабам. Улыбочку? вот вам улыбочка и гордо вскинутая бровка.

В раздевалке она повязала атласную синюю маску с раскосыми прорезями для глаз; собиралась войти как обычно, бочком, а вошла решительно, размашисто. Можно сказать, ворвалась. И, ворвавшись, замерла. Оторопела. И, то ли из-за маски, которая была – как шоры, то ли под напором ощущений, но сразу отключилось боковое зрение. Видно было только то, что по самому центру, в болезненном фокусе, прямо перед ней, лицом к лицу. А перед Жанной была – та самая красотка с фотографии. Никаких сомнений, колебаний; тут не поможет закрыться французская шляпка с довоенной вуалью и перышками а-ля Сара Бернар. Холеная, спокойная дрянь. Давлетьярова, кажется? Даша? По щекам ударил жар; на глаза изнутри надавили будущие слезы; не плакать, не смей, не сейчас! Она закрутилась, свинтила себя – и твердо подошла к столу. Легко, непринужденно присела, милостиво кивнула официанту, придвинувшему стул.

– Если кто не знает, то я Жанна Мелькисарова.

И опять едва не ослепла. Но теперь уже вполне физически. Фотограф, подкравшийся слева, продолжил свою гнусную работу. Как в кино про будни уголовной полиции. Обнаружен труп, снимайте же, снимайте!

Через несколько секунд она смогла наконец оглядеться – сквозь яркие круги перед глазами; и все оказалось еще ужасней. Между улыбающейся Яной (кошачьи ушки, черные рисованные усики вразлет), которая прекрасно знает, откуда только что вернулась Жанна, и тошнотворной Аней (шамаханская царица, лишь бы плечи с грудью показать), которая напрасно думает, что Жанне неизвестно про ее любовные потуги, – сидел понурый Ваня в костюме Пьеро. Жабо, манжетки, колпак... Раскрасился-то,

раскрасился... разрисовал свою младенческую мордочку... фигляр. Черные подглазья, синие слезы, ярко-белые щеки и красные педерастические губы. Сдвинулся в тень, скукожился. Но глаз не опускает, смотрит прямо. Значит, он был заодно со Степаном? и вот на что трусливо намекал в дороге? Добрый вечер... как мелко-то у вас в визитке... Иван Павлович...

В этой ситуации одно из двух – дать волю оскорбленным чувствам и с ревом убежать отсюда; стыдно! или превратиться в лед, сидеть со светским видом, притворяться: все у меня отлично, гораздо лучше, чем у вас; я ко всему готова, потому что давно разгадала. А что разгадала-то? что разгадала? сейчас раскроются карты, узнаем. Здесь и Забельский, здравствуйте, Соломон Израилич; как вам идет быть Шейлоком – и ты, оказывается, сволочь. Зачем-то затесался Котомцев в декоративной синей бороде: что же вы сегодня такой молчаливый, уважаемый Петр Петрович, вы же профессиональное трепло? Потрясли бы своей бородой, придумали бы что-нибудь. Наверное, затем вас на сегодня и позвали. Вы-то, небось, думали, что чисто так, по дружбе, откушать икорки? Или вам баблоса подкатали? шуты гороховые не гуляют забесплатно? А это что за пергидрольная щепка с лисьей маской? Очень приятно, рада познакомиться, с вами, Ульяна.

Жанна смотрела на них, они – на нее. Исподлобья. Смущенно. Даже Котомцев, который никогда и ничем не смущался. Вид у всех дурацкий, скомороший. Как пьяные актеры областного театра, собравшиеся в общей примерке после утренника, чтобы отметить детский праздник, но, увы, не хватило денег, зарплату задержали, халтурку оплатить забыли, сидят, облизываются, размазывают краску.

Помпезный, говорливый зал сегодня был пуст. Французские шторы на масштабных окнах траурно приспущены, мерцает тяжелая люстра; вдоль стены, как средневековая охрана, непроницаемо стоят скупающие официанты в суровых фраках и официантки с полуголыми ногами, блеск и нищета куртизанок. Праздник тут или поминки? По центру расположен стол – просторный, овальный; накрыт до небрежности щедро, без учета ресторанных правил; чувствуется Степина воля: паюсная – и соте, над русскими соленьями-моченьями – ледяная горка с плошками килограммовых камчатских устриц; по соседству с безразмерным осетром – цветастый фазан, пестрый, как нарядное деревенское платье.

Фазаньи перья, разверстанные во все стороны, сейчас казались почему-то особенно неуместными.

– А Степа – где? – наконец-то спросила Аня.

Помолчали бы, Анна Романовна, – подумала Жанна, и сказала:

– Не знаю, Анечка. Дома его что-то нет. А тебе он разве не звонил?

– А мне – почему?

Вот мерзкая женщина.

– Наверное, сурпрайз готовит, – заключила Яна. – Особенный костюмчик примеряет. Давай, подруга, принимай бразды правления, ты вроде как хозяйка, без тебя начинать было неловко, а кушать давно уже хочется.

Правильно сказала – *вроде как*. Ладно же; хозяйка так хозяйка: подавайте.

Затекшие официанты охотно потеряли мрачность, им стало хорошо, привычно: клиент расселся, можно шевелиться, подливать, подкладывать, обслуживать. Только некому скомандовать насчет торта; а торт без команды не велено нести. Отложим до конца мероприятия.

Иван, Забельский, Даша: все раскрыто? Степан поймал их за руку и приготовил месть при посторонних? или это случайность? не случайность, конечно! или Забельский устроил вечер примирения? но почему же не предупредил? и почему же Иван не признался? зачем заранее просил – не торопись, отложим все до завтра? Сидит такой понурый, безразличный.

Ответов не было. Была мелкая дрожь, которую так трудно скрывать, но обнаружить – нельзя. А гости, посвященные в интригу, решительно не знали, что им делать: безжалостно скрывать причину, притворяться, что пришли на светский раут? готовить почву для скорейшего саморазоблачения, играть в намеки и посылы? Ну Степан, ну актер, ну и выкинул номер!

– Дамы и господа, леди и джентльмены, товарищи! – Котомцев все же взял инициативу на себя; огладил синюю бороду, почмокал. – Нальем и приступим. При этом я решительно не знаю, что сказать. Вроде бы какой-никакой профессионал, сценарии придумываю дай боже (он произносил – «дай боже»), в театры не хожу, ибо в начале второго действия вижу ружья для развязки, скучно-с, про книжки что и говорить, их вообще разучились писать интересно. Но! милостивые вы мои государи и милые вы мои государыни. Степан Абгарович зафиндилил так уже зафиндилил. Все нити действия в его руках, а где его руки – пойди разбери. Не могу я разгадать, что он тут затеял. Не мо-гу. Зато когда все развяжется, мы хлопнем себя по лбу и воскликнем: как же можно было не понять? Ручки-то вот они! Талант! пропадает талант, чессло. И какой же мы сделаем вывод? Давайте-ка дождемся демиурга. Рано или поздно он придет, поскольку что-то такое затеял. Мы не догадываемся – что. Тем интереснее будет узнать. А пока он не соизволил появиться, станем соучаствовать в задуманном им действе. Не

зная пока что чем кончится. Мы, собственно, так и живем! Верно говорю? Давайте же выпьем за Степана Абгаровича, жизнедеятеля, праксителя и работодателя! Ура, товарищи! Маски, я вас знаю!

Все сказали нестройно: ура. И выпили. И закусили. И выпили еще. И опять. Фотограф исчезал и появлялся, как фантом; то нет его, то вот он, практически из-под стола, сверкает окуляром, бьет по глазам и по нервам. Разговор никак не разрастался, не захватывал; каждый думал про себя: куда же Степан подевался? И чем более нервной становилась атмосфера, тем спокойнее и веселее гости утешали Жанну. Да не волнуйся! Мы же его знаем! Скоро будет! Пей, отдыхай и жди!

Но Степан не появился ни перед горячим, ни перед десертом.

Ровно без одной минуты полночь в зале выключили свет, дамы охнули, и на тележке засверкал фейерверком безразмерный белый торт: распорядитель пира, не дождавшись условного знака, на собственный страх и риск приказал: несите! Торт повторял причудливые формы непостроенной Башни Советов: ряды колонн и входов по спирали устремлялись вверх, уровень за уровнем, за этажом этаж; на самой вершине закрученной башни стоял сияющий сахарный Ленин; смешной, нелепый, а все-таки немного inferнальный, чем-то похожий на те гипсовые статуи вдоль канала; в руке у Ленина был флажок, и на флажке горела надпись: 1-е апреля.

– А, первое апреля, ну конечно! – словно бы с облегчением простонал Котомцев и хлопнул себя по лбу: дескать, тертый калач, а так легко попался на удочку.

– День дурака, теперь понятно, – все радостно ухватились за подсказку. – Вот он, розыгрыш, а мы-то волновались. Ловко Степа сделал нас, нечего сказать!

Жанна тоже изобразила радость.

Фотограф пустился вокруг торта в присядку; вспышки сверкали одна за другой.

3

– Жанна, открой: я ключ не удержу.

Впервые в жизни он звонил по домофону.

– Степа?! Степа! Что с тобой? Что стряслось? ты куда пропал? Почему не удержишь?

– Все потом, открывай скорее.

4

От полуночи до трех она жила в аду. Торопливо съев первоапрельский торт, – с жадным отвращением, – гости разлетелись. Как ветром сдуло. Бросили Жанну – в ожидании полного ужаса. Даже очередь в туалет не образовалась: никто не смывал макияж, не освобождался от бород, колпаков, усов и ушек. Гардеробщик прятал глаза, подавая пальто и принимая чаевые; только бы не ухмыльнуться, только бы не ухмыльнуться. Трусливо хлопали двери машин; ряженные пассажиры рявкали: вырुливай и уезжай! скорее! И только после этого срывали маски, с ненавистью швыряли их на сиденья. Одна только Дарья, никуда не спеша, преспокойно сняла свою невинную вуальку, поправила прическу перед зеркалом, беззастенчиво-сердечно попрощалась с Жанной и неспешно поймала чужую машину; конечно! некому сегодня оплатить ее шофера.

А Жанна шла пешком. Совершенно одна. Не мог же Ваня проводить ее при всех. Но и не звонил. Уехал на своей служебке – как в воду канул. Что было обидно и странно.

Только войдя в подъезд, она сообразила – почему. Поскорей вдавила кнопку мобильного, с трудом дождалась, когда он загрузится, набрала Ванин номер сама.

– Ау, ты где? уже умчался?

– Умчишься тут. Доехал до Покровки, белила стер – и вышел. Стою теперь, как студент, на углу, тупо прозваниваю твой номер. Как ты? Он пришел домой?

– Еще не знаю. А ты не мог бы объяснить мне, что все это значит?

– Нет, Жанна, родная, я – не мог бы. Не мой секрет, не моя игра. Пусть лучше Степан Абгарович сам тебе расскажет. Многого и я не понимаю. Особенно сегодняшнего фортеля.

– Ваня.

– Жанна?

– Или ты мне говоришь, или мы расстаемся.

– А если скажу – не расстанемся?

– Попробуем.

Долгая пауза.

– Тогда давай так. Поднимайся к себе и зайди к Мелькисарову. Если он

дома, пускай сам объясняет. А ты решай, перезвонишь мне после этого, или нет. Если же Степана Абгаровича нет, спускайся и ступай к итальянцам, возле... нашего с тобой катка. Я буду там; жду полчаса; ты либо приходишь, либо звонишь. Надеюсь, что они еще не закрылись.

5

Итальянцы не закрылись. И как же было хорошо в тепле! Ботиночки ведь тонкие, пижонские, не для пролетарских подворотен. Пальцы на ногах оттаивали, ныли, а стопа, пониже пятки, жутко чесалась. Хоть расшнуровывай и скреби пятерней. Ну вот, уже чихнул. Будь здоров, дорогой. И не кашляй. Вообще-то мог и раньше сообразить, насчет кафе. Как только вышел из этой служебки. (Сегодня в полночь карета превратилась в тыкву; машина ему двадцать восемь минут как не положена; спектакль отыгран, опускайте занавес.) Но слишком тяжело дался ему этот вечер, выпотрошил практически до дна, соображалка отключилась. Такого провала у него еще не было. Даже в гнусном поселковом клубе Щельково, когда Машкина шпилька застряла в расщелине, между паркетинами; корпулентная девушка Маша с размаху обвалилась на него, сиськи его облепили, и он долбанулся затылком, из носу пошла кровь; испачканная Маша лежала на нем, и зал до антракта не мог успокоиться, хохотал, хохотал, а играли, между прочим, «Бесприданницу»...

Иван сидел за столиком у окна, смотрел на высвеченную церковь и на свое расплющенное отражение – как будто бы компьютерная графика смонтировала храм и ресторанный столик, а поверх напылила его – дурацкого актера с недосмытым гримом. Галстук стянут, рубашка расстегнута, лицо тупое. Чего бы он сейчас хотел? Чтобы она его простила? Чтобы прогнала? Или чтобы пленка отмоталась обратно, от конца к началу, и можно было бы остаться в милой тихой Костроме, без этих шестнадцати тысяч, которых он теперь все равно не получит, а лето уже загублено, и Хомушкин не даст ему увольнительную с гадостных пароходных гастролей по Волге...

Что хуже? Все хуже.

Ну даже, допустим, они помирятся. Даже. Допустим. А дальше-то что? Его нечастые наезды в Москву, по вызову? как вызывают дорогую девочку на ночь-другую в Дубаи? Или она осчастливит визитом костромскую

губернию? Не смешите, я вас умоляю! А если такое случится, тут и наступит конец. В Костроме, как в деревне, все на виду; их застукают, расколют, узнают, кто такая и откуда, а главное – чья; да ты, Иван, альфонс?.. Может, женишься на миллионщице? а? что? слабо?

Слабо, слабо. А не слабо, так вовсе непонятно. Он – при ней – кто? Разменная фигура? Актер, исполняющий *ролю* влюбленного мужа? Вот тебе, Ванечка, тысячу на расходы, примерь костюмчик, хо-ро-шо! пойдём в ресторан, и возьми-ка, Ванюша, кредитную карту, тихонько, под столом, а то неудобно, не поймут, если я расплачусь. Кстати, может быть, откроем и тебе – свою, отдельную, с лимитом? И всюду, где они появятся – гнуснейшие улыбки, понимаем, понимаем, телу не прикажешь; здравствуйте, спутник г-жи Рябоконь. Вот сад, вот уборная, а вот закуски; налейте себе рюмочку, располагайтесь! Жанна, ты позволишь? нам надо перемолвиться наедине. Не скучайте! Кстати, вот и комната прислуги.

А сын? Вернется ведь когда-нибудь и сын? Ноль внимания, фунт презрения; ну мамочка, ты учудила.

Но еще страшнее и тошнотней – представить, что прямо с завтрашнего дня она для него превратится в закрытую тему. Сэр! простите, сэр! а вас не велено пускать. И никогда, никогда, слышите, никогда он больше ее не увидит. Не прижмет, не приласкает. Жизнь без нее. Он справится, конечно, но – тоска.

Ох, попал, попал, попал... Да что уж... Как будет, так и будет. Надо настроиться на трудный разговор – и хотя бы теперь не ударить в грязь лицом.

6

Прежде чем начать рассказ и покаянное признание, Иван достал из пальто навигатор, включил:

– Прости тупого, я не сообразил, надо было раньше посмотреть, где прячется от нас Степан Абгарыч.

Свинцовый шарик лежал неподвижно, как суслик в норке. И эта норка была в Барвихе. У той самой Тамары Василич.

Иван рассказывал не сбивчиво и не заламывая руки, не картинно. Он явно обдумал и взвесил, как будет открываться перед Жанной, и эта спокойная простота удержала ее от истерики. Если бы он отшучивался, или оправдывался, или говорил со слезой, она бы не дослушала. Встала бы,

рванула шубейку – и ушла. С концами. Без надежд на примирение. А так – сидела смирно; холодея. Ее посчитали, решили разозлить, развлечь и возбудить; человек, которого она приняла за своего, единственного, был нанятым актеришкой, за небольшие деньги, а будто бы неверная подруга – всего лишь частью проекта, претенденткой на лучшую роль второго плана; а девушка по вызову и оказалась – девушкой по вызову, всего лишь, и не больше, причем совершенно – перед ней – невиновной; а Котомцев по заказу мужа поставил реалити-шоу про Жанну и ее непроходимую глупость; и все они знали, зачем пришли в ресторан, и внутренне смеялись над ней, наивной дурочкой, и с нетерпением ждали развязки; но Степан переиграл всех и превратил свидетелей – в полных подкидных дураков, потому что в конце концов посмеялся над ними, над их готовностью смеяться над Жанной; правда, и ее Степан не пощадил.

Иван предположил, что Степа (*Степан Абгарович*) с самого начала задумал вернуться к *той...* Тамаре. Но боялся, что вас... что тебя... наведут на мысли о мести и полном разделе. Нарисовал жестокую схему. И заранее направил всех по двойному, тройному следу. Чтобы Жанна не искала адвоката, заранее подсунул своего. Чтобы не наняла настоящего детектива, предложил подкидного. Через Ивана подсылал ей снимки с Дашей, зациклив Жанну на ложной измене. Затем запутал ситуацию Аней, перенаправил ревность и обиду. Для этого использовал Ульяну. Все логично, так? Укладывается. Проверил через Соломона, готова ли жена залезть в его главные файлы. А когда во всем разобрался, устроил вот такой прощальный ужин. Приветики, вы капитально сделаны, все как один, а я пошел, прощайте.

Нет, не похоже, не похоже.

– Ты знаешь, Иван, я не верю. Степан – безжалостная сволочь, бессердечная болванка, мозги как шестеренки. Но он – не зверь. И ты – не зверь. Ты самая обычная скотина. До тебя доходит? самая обычная. Обычней не бывает. А что на самом деле происходит, я отказываюсь понимать. Слышишь меня! наотрез.

– Жанна. Постой. Я мерзавец, да. Но я актер. У меня такая работа, пойми. Играть. Как работа Степана – делать деньги. Я нанялся тебя разыгрывать в сюжете. Но твоими чувствами я не играл. Меня пробило, я за тебя зацепился, и ниточка надорвалась, и ткань поехала. Как на женских колготках. Думай про меня что хочешь, действуй как знаешь. Но я тебя полюбил. Никому не говорил такого, только в детстве. А тебе скажу. Прости меня, если сможешь.

Сидит такой понурый, обреченный. Того и гляди поползет на брюхе,

вилая хвостом.

– Иди-ка ты, Ваня, до дому. Знаешь, я сейчас не соображаю. Ничего не чувствую, отупела. Даже не могу сказать, захочу я тебя еще увидеть или нет. Захочу – позвоню. А пока, на всякий случай, знаешь что? прощай. Расплатись за кофе и ступай. Или опять кошелек потерял?

– Зачем ты так?

Это правда. Зря она так. Сколько раз потом прокручивала сцену, столько раз испытывала стыд. Гадкий, едкий; но еще гаже было чувство позора, прожитого в «Ностальжи». Они смотрели на нее и знали; она смотрела на них и не догадывалась. Они тоже опозорены, раздавлены и смяты? Но ей от этого не легче. А Степа? Кем оказался он? Привычный мир рассыхался, крошился, ссыпался пылью вникуда. Увидев первый снимок, сорочанский, она решила: хуже не бывает. Выяснилось, что бывает. Когда обнаружилась Аня. В ресторане стало ясно, что и это не предел. А придя домой, засев на кухне и пропустив через нервные клетки сегодняшний Ванин рассказ, она поняла, что значит быть прижизненно убитой.

В таком состоянии нервические девушки бегут на кухню, вываливают баночки, коробочки, пакетики, запихивают пригоршнями в рот, скорей, скорей, чтобы не успеть передумать. Обмирая от ужаса, запивают сладковатые таблетки мужниным коньяком. Не для того, чтобы расчетливо приблизить конец, а только для того, чтобы коньяк обжег, ударил по нежной слизистой, отвлек внимание от главной страшной мысли: мамочка моя, да что же это будет. Но Жанна не девушка. Не филологиня. И не истеричка. Она омертвевшая женщина, сомнамбула, собственная тень. Сидит, уставившись в серую точку и ждет непонятно чего.

7

Примерно полвторого ночи навигатор пробудился, замигал. (Ваня позабыл его на столике у итальянцев, а Жанна взяла – и выключать не стала; странная привязанность к источнику кошмара.) Кончается заряд? нет, медленно шевелится шарик. Еле-еле, как будто обладатель телефона передвигается пешком, не на машине. Жанна стала за ним следить, как котенок за солнечным зайчиком. Шарик скатился за границы поселка; застыл на трассе, минут пятнадцать обождал на месте, вдруг покотился быстро-быстро. Выбрался с Рублевки на кольцо, опять остановился и опять

чего-то подождал, тяжело дернулся – и двинулся ровно, мощно, напрямиком. Вдаль от Москвы, на юг.

В ту самую секунду, когда зазвонил домофон, маячок уже огибал Калугу и следовал по федеральной трассе номер три на Брянск.

8

Ночь ужасов и откровений продолжалась.

Степа, который был сейчас в Калуге, стоял перед ней. Измочаленый, небритый, пахнувший кровью и гноем; пальцы распухли, не гнутся; губы негритянские, раздутые; сквозь доморощенную перевязку на затылке проступает красное; похож на привокзального бродягу. Вошел и быстро, отрывисто, невнятно произнес: Жанна, я все знаю, все понимаю, но давай отложим на потом. Лучше скажи, Иван тебе оставил навигатор или уже забрал? Оставил? Хорошо. Ты проследила, где маячит? Третья трасса? Через Киев на Умань, а там Кишинев? Эх, не успел я, боюсь, улизнули. А самое начало отследила? Как они выбирались, подробно? Стояли-ехали, стояли-ехали? Тогда надежда есть, что побежали без машины, врассыпную – и не все проскочили на трассу, к попуткам.

Кое-что он все же объяснил, полужесткими, в разрывах между телефонными звонками.

– Похитили какие-то молдаваны. Набирай Василия, немедля. Условия дикие, понимания никакого. Не подходит? Звони ему домой. Заказала, видимо, Тамара. Отключен? Беги ко мне, второй ящик справа, там договор на меня, а в договоре номер, я ему еще один мобильный выдал, круглосуточный, без права отключения. Я буду в ванной. В верхнем среднем найдешь ученическую тетрадку, как раньше за две копейки, на задней обложке еще один номер, неси.

Вернулась Жанна через три минуты; Степан грузно лежал в ее розовой ванной; горячая вода поднималась снизу, медленно покрывая тело: он не обождал, пока вода наберется, некогда.

На десятом звонке отозвался Василий.

– Слушаю, Жанна Ивановна.

На заднем фоне – ватный женский голос: «Вася, кто?».

Шипение: молчи!

Степа держал трубку двумя пальцами, большим и мизинцем.

– Ты что, у этой? А машина где? А кто тебе сказал, что к бабе можно

ездить на машине? Ладно, Вась, подробности письмом. Ты где территориально? В Одинцово? Так это пятнадцать минут. Бери из гаража монтировку и мчи в Барвиху, поселок «Ветеранский», там ты не был, поищи на карте; станешь страховать на входе, пока мы будем вязать. Кого вязать? моих похитителей. Каких похитителей? Тех самых. Которые за нами в «четверке» катались. В общем, бегом за руль и марш на дело.

Зря он его так. Вася – трусливый. Пока доедет, может помереть от страху; надо было прямо сказать: ездай для страховки, на всякий пожарный, никого там уже нет. Но – обозлился, шуганул. Теперь поздняк метаться. Что же дед-вахтер мышей не ловит? Упустил. Договорились ведь, и денег обещали дать, а он – профукал...

По второму номеру отозвались быстрее. Голос твердый, отчетливый, как будто человек еще и не ложился.

– Слушаю.

– Лейтенант, узнаешь? Мелькисаров. Проблемка, Роман Петрович.

Степа кратко рассказал, в чем дело. Объяснил, что кто-то уже успел сбежать. Все или не все – неизвестно. И тем не менее попытаться бы надо. Свою машину они, видимо, оставили в поселке. Предупредил: возможно, там будут спущены собаки. Подытожил: записывай адрес.

Сдал трубку Жанне и сказал: вызывай такси.

– Никаких такси не будет, Степа. Я тебя отвезу сама. Так решено. И даже не пытайся спорить.

Мелькисаров посмотрел на жену изумленно. В другое время он бы подумал: что за железные нотки? Но сейчас было некогда думать. Сейчас решался вопрос о жизни и смерти. И он ответил:

– Ладно; делать нечего; иди, Рябокоть, запрягай.

9

Ворота были заперты, что хорошо. Но сторож мирно спал, что очень плохо. Вышел не сразу, ежась и похрустывая косточками. Клялся и божился, что глаз не сомкнул. Ругаться было бесполезно, надо действовать; если даже время не упущено, то идет оно на минуты.

Старлей отобрал у сторожа карту поселка: третий левый поворот, дача пятнадцать. Вперед, робяты! хотя надежды никакой.

Ворота поддались не сразу, замок был правильный, серьезный.

«Четверка» – под ближайшей яблоней; понятно. Собака гавкает

утробно, что и говорить: кавказец; но ампула сработала мгновенно, уложила псину поперек дороги.

Дом пуст, и в коридоре никого.

Один наверх, другой в салон, двое в подвал.

А в подвале валяется мужичонка. Маленький, поросший дикой шерстью, как молодой кабанчик. Видимо, свои его будили-будили, пинали-пинали, но так он основательно упился, что бесполезно мычал и валился набок. Бросили на произвол судьбы – и дали деру. Вот чудачки. Живой свидетель, как же так можно работать?

Ребята попытались привести кабанчика в чувство, сунули под нос нашатырь; кабанчик на секунду очнулся, что-то в его крохотном мозгу мелькнуло, он дернулся и от страха опять отключился. Брючина потемнела, на полу образовалась лужа. Старлей брезгливо отодвинулся:

– Вяжите, тащите наверх, пускай долеживает в ванной. Хотя нет. Стоп. Неправдоподобно. Мелькисаров бы его не дотащил – он говорит, что пальцы перебиты. Пускай валяется тут. Свяжите руки обычной веревкой, неловко, как если бы связал Абгарыч. Мы одинцовских сейчас подтянем, оформим задержание на них. Иначе будет некрасиво.

Что тут валяется, в углу? рюкзак? а в нем вещдоки? Оружие забрали; обойму забыли, тупицы; кошелек Мелькисарова, куча карточек, наличных денег нет; фотоаппарат, примитивная цифра, домашние три мегапикселя. Что за снимочки? Степан Абгарыч; девушка: видная, достойная девушка, не поспоришь; опять Степан Абгарыч; приятная дама с витиеватым юношей; обойдутся одинцовские без аппарата. Хватит им обоймы с кошельком и квартальной премии за *невисяк*.

10

Разговора по душам не получилось.

– Сейчас обсудим?

– Не, попозже.

– Так что же все-таки стряслось?

– Накинулись, прибили, увезли.

– Ну-ну. Шел, поскользнулся, упал, очнулся – гипс, открытый перелом.

Что требовали?

– Так... сам до конца не понял.

– А Тамара тут при чем?

– Пока не знаю. Завтра объясню. И тебе потом задам какие-то вопросы.

– Задавай.

Прозвучало с вызовом. Что естественно. Охолонет, тогда и объяснимся.

Мелькисарову было тесно. Его «восьмерка» – у Василия; «мини-купер» Жанны, маленький, но просторный, удобный, недели две назад торжественно свезен на свалку; они забились в крохотную «пунто», взятую напрокат, пока подгонят новую машинку. Мелькисаров отодвинул кресло до упора и все равно как следует не уместился. Подтянул колени и сидел неловко, как сидит переросток в старой школьной форме на задней парте – парта мешает, руки-ноги торчат из костюма, вид бестолковый, дурацкий.

Он устался в окно: опять открывалась дорога справа, как во время Дашиных поездок; но дорога пустая, серая. Редко-редко зеркальце вспыхивало, ярко било по глазам и гасло: их возмущенно обгонял солидный обладатель старенького джипа; они по привычке ехали в крайнем левому ряду, нарушая дорожный ранжир. Жизнь пока не пробудилась от спячки; в тесных поселках, где дорогие дома утыкались друг в друга, еще не зажигали свет; свежая поверхность залива, совсем недавно сбросившая лед, была темна и неподвижна; одинокий гаишник скучно стоял возле поста ДПС. Должно быть, проснулся с похмелья; решил подышать.

Жанна вела машину методично, всматриваясь в предрассветную серость и повторяя про себя: не спать, не спать. Радио вяло шутило ночные шутки. Остановились на музыке ретро. Заполошно шумел *скорпионс*, проникновенно ныл Фред Мэркьюри, суетились *би джиз*, простуженным голосом чаровала мужчин Далида... Как в их далекой юности, на томской вечеринке.

Зазвонил телефон.

– Жанна Ивановна? Это Роман Петрович. Старший лейтенант. Мы с вами говорили час назад. Передайте, пожалуйста, трубочку супругу. Мелькисаров, ты как, далеко? Километров пять? Годится. Ну Абгарыч, в целом ты должник. Двое ушли, но один остался. И пикапчик их тоже на месте. Но, Абгарыч, тут такое дело. Ты нас не видел, мы тут не были; ты никуда не уезжал...

– Петрович, дорогой, я же помылся-побрился, как же я не уезжал?

– Понял, спасибо, что предупредил. Сейчас попачкаем ванну, шампунь разольем. Запомни, Абгарыч: ты не уезжал. Увидел, что остался один похититель, пьяный в зюю, повязал его, позвонил в Одинцово, ментам, потом сообщил любимой супруге и пошел культурно искупаться. Нельзя же

супругу встречать в таком угрюмом виде. Уголовное дело заведем через местных. За это допрашивать будем мы – под их протокол, но узнаем все, что захотим. Я уже договорился.

– Хорошо, за мной не заржавеет. А что заказчики?

– Это уж прости, Степан Абгарыч. Уровень – не наш. Поселок, я так понимаю, солидный. Показания мы добудем, а дальше ты сам. На одинцовских не надейся, они будут работать версию художественной самодеятельности. И правильно сделают. Бывай, Абгарович, ни пуха.

11

Я, Вушкэ Константин Ионович. 1975 г. р. Молдаванин. Неженат. Имею сообщить. С 1994 г. занимаюсь нелегальным бизнесом. Сначала поставлял поддельные сигареты типа «Дьюти-Фри» из г. Дубосары в г. Одесса и далее в г. Москву. После этого перешел на почву вооруженного конфликта, линия «Молдова-Гагаузия» и «Приднестровье». Остался одним кормильцем, сестра без мужа, трое детей. Являюсь посредником между российскими производителями вооружения, молдавскими правоохранительными органами и непризнанными органами власти на непризнанных территориях респ. Молдова. Так как я являюсь молдаванином по национальности (по отцу) и при этом имею русских родственников в г. Бельцы (материнская линия).

По образованию и роду деятельности работал разнорабочим на винном заводе в с. Кодру. Во время навещания родственников в г. Бельцы, в ноябре 1993 г. я познакомился с гр. Лотяну Эуженом Ивановичем, 1977 г. р., молдаванином по национальности, уроженцем г. Бельцы. Лотяну предложил мне вступить в преступный сговор с целью незаконного обогащения. Познакомил с Кириенко Юрием Исааковичем, 1976 г. р., евреем, гражданином непризнанной респ. Приднестровье.

Лотяну поручал мне провозить на территорию РФ сигареты, а потом боеприпасы под видом ТНП (товары народного потребления). Лотяну встречал нас в г. Тула, обеспечивал погрузку на складе в/ч № 34786. И улетап из г. Москвы самолетом в г. Кишинев. Кириенко сопровождал меня в поездках. С патрулями объяснялся Кириенко. Он же решал вопросы с пограничниками. Я был только исполнитель, сообщить подробностей не могу. Со мной расплачивались наличными после каждого рейса. В долларах США. Триста долларов за рейс.

Зимой 1999 г. гр. Лотяну сказал нам, чтоб мы ехали в г. Одинцово Московской обл. Здесь он познакомил меня с гражданкой Василич Т. В. и ее сожителем гражд. Мартинсоном Г. Я. Они имели дело в прошлом по поддельным сигаретам. По версии Лотяну, оружия в Приднестровье стало слишком много, его теперь хотят продавать обратно, по ценам значительно ниже рыночных. И Василич с Мартинсоном нам в этом помогут. У них возникли проблемы с деньгами вследствие тяжелого экономического кризиса 1998 г. А у Мартинсона неприятности на службе и он временно отстранен от основной работы. При помощи вышеозначенных граждан мы стали возить оружие обратно. Выгрузка производилась в г. Астрахань, г. Адлер и г. Владикавказ. Дальнейшие маршруты осуществлявшегося передвижения доставленного по назначению груза мне неизвестны.

Осенью 2006 г. Лотяну сообщил нам, что больше рейсов пока не будет. Спрос на товар упал, Василич и Мартинсон не могут расплатиться с нами, а мы не можем расплатиться со своими. Денег за последний рейс я не получил и вынужден был вместе с гр. Лотяну и Кириенко в срочном порядке переехать в г. Москву. Поэтому я испытал глубокую личную неприязнь к гр. Василич и ее сожителю. И согласился поехать в Одинцово, вместе с Лотяну и Кириенко, чтобы постоять (т. е. без особого насилия объясниться) у гр. Василич с Мартинсоном.

Во время объяснения Мартинсон предложил вариант решительного решения возникшей проблемы. Мартинсон писал на большом листе бумаги план. Будучи исполнителем, в детали не вникал. В целом мы должны были похитить старого знакомого Василич, гр. Мелькисарова С. А. С целью получить от него самовыкуп и адреса его незаконных клиентов, чьими денежными средствами он по их поручению управляет в порядке неуплаты законных налогов и сборов.

Гр. Мартинсон обещал прикрыть нас со стороны своих возможностей. Взамен мы должны были списать имеющийся долг и выплатить гр. Мартинсону еще 10 процентов от полученного дохода.

Установив в феврале с. г. наблюдение за домом гр. Мелькисарова, с помощью аппаратуры прослушивания и средств наружного наблюдения, предоставленных гр. Мартинсоном, мы установили в результате наблюдения, что он останавливается дома как в гостинице. Т. е. живет в отдельной пятикомнатной квартире. Иногда уезжает по делам. Наблюдали вдвоем с гр. Лотяну. Гр. Кириенко подъехал позже. Потом мы установили, что Мелькисаров всегда постоянно имеет при себе другого наблюдателя. Который следует за ним в серой машине марки «Мазда», используя цифровой фотоаппарат.

Мы тоже стали фотографировать. Это была идея гр. Лотяну. А также под видом авторемонтников познакомились с водителем Мелькисарова, Аксененко В. П., г. р. мне неизвестен, житель пос. Тарасовка по Ярославскому ш. Предложили ему задешево выправить хозяйскую машину «Ауди». И достать справку якобы с сервиса о дорогостоящем ремонте. Чтобы он мог отдать ее хозяину. И сэкономить на разнице. Аксененко стал нам полностью доверять.

С помощью средств технической связи и бесед с гр. Аксененко было установлено, что между супругами Мелькисаровыми нет супружеского доверия. Женой нанят детектив, с которым, как мы выяснили, ее муж знаком, и сам встречался с ним неоднократно. В этих условиях было трудно выполнить поставленную задачу. П. ч. воспользоваться отсутствием обоих хозяев не представляется возможным, а также из-за машины сопровождения («Мазда»). Однако мы заметили, что преследование осуществляется не всегда. Это дало возможность срочно начать операцию.

Мы захватили гр. Мелькисарова. Получить от него сведения на его клиентов не удалось.

Архив видеонаблюдений был спрятан мной лично в подвале дома гр. Василич. В рюкзаке. С левой стороны. Кто забрал фотоаппарат цифровой из рюкзака, мне неизвестно.

Куда и в какой именно момент направились гр. Лотяну и гр. Кириенко, не знаю.

С моих слов записано верно.

Вушкэ К. И.

г. Одинцово Московской области.

12

В суматохе милицейских процедур, на фоне бессонной ночи они не сразу поняли, что Вася – не приехал. Ни через час, ни через два, ни через три. В семь утра шаткого, трезвющего Кнстянтина одинцовские впихнули в свой новенький «Форд» – и увезли; можно было возвращаться. На морозном апрельском воздухе Степана поколачивало; пока шло разбирательство, Жанна успела подремать в машинке, прогрелась и была куда бодрее. И все равно – о Васе вспомнила только на полпути. Как молния ударила: а где же?.. Притормозила, скатилась на обочину, растолкала Степу.

- Степа! а где же Василий?
- И правда. Мало нам приключений; не случилось ли что? Телефоны отзывать не хотели. Все три. И даже запасной, который был без права отключения. Жанна спросила устало, почти равнодушно:
 - Что, Степа, объявляем всесоюзный розыск?
 - Нет, Жанна, хватит, едем спать, – ответил он еще равнодушной. – Завтра выясним все как есть, и тогда будь как будет.

13

Роман Петрович был доволен и встревожен.

Почему доволен – объяснимо. Он немного опасался Мелькисарова; тот слишком хорошо торгуется, слишком быстро считает, как бы не обошел на повороте. Но в этот раз Степан Абгарович был мягок и сговорчив; цену обсуждать не стал, отсчитал наличными запрошенную сумму и словно бы забыл о лейтенанте – впился в протокол допроса. Читал азартно, прищурившись, непрошитые листы растопырил веером, как козырные карты.

И тревога была понятна. Если задержанный Вушкэ не врет (а похоже, он хитрить не мастер), то дело принимало нехороший оборот. И одинцовские ребята так считают. Они свое слово сдержали, позволили снять показания; кадровик Ковернантов, который у них решает проблемы, тихо сидел в уголочке и в полудреме слушал ответы подследственного. Как только молдавана увели, Ковернантов открыл глаза и попросил: Роман Петрович, будьте ласка, уважьте, заберите протокольчик, неправильный он получился. Мы потом передопросим Вушкэ, сговорились? Чтобы вышло помягше, помягше.

Протокол пришлось не приобщать. Мелькисаров будет недоволен. Поэтому старлей решил сработать тихо, по-двойному; сначала взял от заказчика денег за труд, потом передал ксерокопию показаний, пусть почитает, а под конец – как разговор пойдет, либо сообщит о Ковернантове, либо промолчит. В конце концов, одинцовские сами себе хозяева, могли подшить листы, а потом подменить. С них и спрос.

Мелькисаров дочитал, разложил листочки по столу, размял руками заспанное лицо.

- Протокол, я понимаю, не подшили?
- Не подшили. – Ушлый, догадался.

– Что ж сразу не сказал? Думал, не догоню? Тут, собственно, два варианта. Либо я сейчас же усажу обоих, и Тамару, и Мартинсона, либо они меня сотрут. Чирк – и нету. Ты это понимаешь, лейтенант?

– А может, зайти на них? Торгануться?

– Ты умный человек, Роман Петрович. Не будут они торговаться. Зачем им всю оставшуюся жизнь висеть на волоске? Проще раз – и закрыть неприятную тему. Так что береги, пожалуйста, Кнстянтина. Береги. Это мой единственный шанс. Я попробую забрать его в Москву, в центральный офис. Нам с тобой надо сутки еще продержаться.

– Попробуем, – безнадежно пообещал Роман Петрович. И чтобы как-то сгладить впечатление, передал бандитский фотоаппарат. Дескать, на досуге проглядишь и позабавишься.

– И вот что, лейтенант. Куда-то пропал мой водитель, вместе с машиной. Должен был подъехать в Барвиху, параллельно с нами; но не приехал, и где он, теряюсь в догадках.

– А машина какая?

– «Ауди», «восьмерка», не старая, не новая. Трехлетка.

– Так она ж у подъезда стоит. Странно стоит, неловко. Поперек пешеходки. Кто-то торопливо парковал; как заехал, так и бросил.

Василий и взаправду торопился. Слету перебросил машину через бордюр, пулей влетел в подъезд, сунул все ключи в почтовый ящик, и был таков. На переднем сиденье оставил телефоны и записку: «Простите, Степан Абгарович. Я увольняюсь. Боюсь. Денег за последний месяц не надо. С уважением бывший водитель В. Аксененко».

14

День завершился. Суета окончилась. Господитыбожемой, сколько он всего успел!

Побывал на перевязке, до костей пропах спиртовым раствором, йодом, мазью против воспалений.

Обзвонил своих скрытных клиентов, дал им сигнал о грозящей опасности. Эужен и Юрик исчезли, маячок перепрыгнул украинскую границу и в районе Чернигова тихо угас, но схема тройного ключа им теперь понятна, остальное – детали, никто пока не может дать гарантий безопасности.

Поднял старые связи, продумал линию защиты. Белодомовский

чиновник в новую эпоху не вписался, сидел в полуотставке при Совбезе, но все-таки звонком помог, связал с приемной замминистра; тот поставил дело на контроль и обещал, что завтра Вушкэ перебросят в город.

В промежутке нужно было объясниться с Соломоном, Ульяной и Анной; про Тому-чепчика он никому не сообщал, рассказывал про похитителей, принимал сочувствия как поздравления, обещал повидаться как только, так сразу. На минуту свиделся с Котомцевым, передал заслуженный гонорар; постановка провалилась, но Котомцев в том не виноват. С Ухтомским тоже было бы не худо расплатиться, но костромское дарование на связь не выходило; похоже, испугалось и ушло в недолгий актерский запой. Не беда; пропьет наличность и прорежется.

Вечером, шатаясь от усталости, Мелькисаров прихватил свои альбомы, молдаванский фотоаппарат – и заглянул в квартиру Жанны. Чайку попить, погладить по головке, вместе посмотреть, что там насняли эти уррроды, и попросить, чтоб не сердилась. Финал оказался смазанным и неловким, замысел пошел насмарку, Жанна оскорблена, задета за живое; но можно расписать в подробностях, что было бы, если бы... Жанна не дура, поймет и оценит.

Но квартира – пуста. Записку искать бесполезно, звонить не имеет смысла. В таких случаях записок не пишут, телефон не включают. Ситуация прозрачная насквозь, незачем гадать и напрягаться. Слишком сильным оказалось унижение. Решила наказать. Намекнуть на возможность разрыва. Что ж, имеет право рассердиться и послать сигнал обиды. Как-нибудь потом разрулим, не сейчас.

Снова страшно захотелось спать. Обвальню. Лечь немедленно – и провалиться в темноту без снов. А в полседьмого раздался звонок. Жанна объявилась? Нет, не Жанна. Лейтенант. Хихикает, но при этом серьезен до катастрофизма.

– Хренотень, Абгарыч. Хренотень. Хмырь повесился.

– Что?!

– Ну это фраза из кино, не помнишь? Короче. Полчаса назад Вушкэ найден в камере мертвым. Версия – самоубийство. Абгарыч, схватись тебе надо бы, Абгарыч. Все пошло по плохому сценарию, тут я уже не помогу, прости. Держись, удачи тебе.

Так он с Жанной и не поговорил. Счет времени пошел на часы и минуты. Даже бояться уже было – некогда. Только действовать, действовать.

Мелькисаров, разумеется, всегда был наготове; делаешь деньги в России – обзаведись многократными визами и несколькими паспортами; один хранится дома, другой упрятан в банковской ячейке, третий в сейфе у надежного посредника; четвертый в боковом кармане: мало ли как обернется. Вот Миша Живило, дай бог ему здоровья; в «Пушкине» сидел и кушал борщик; вдруг ему позвонили; он ложку отложил, марш-броском в «Шереметьево», и – успел. А всех подручных – взяли, посадили.

Но в этот раз обычный путь не пригодится. Если команда по нему пошла (а как ей не пойти? Мартинсон хотя давно уже *бывший*, но связи у него остались), в аэропорту извинятся, попросят проследовать с ними. Через Украину на машине? Пятьдесят на пятьдесят, что перехватят. Остается действовать через Арсакьева, поднять его генералов, пускай они по своим каналам выйдут на гэбэ. Вечное правило самозащиты: не можешь обыграть противника – попроси помочь; клин выбивается клином. В «Ночи перед Рождеством», любимая детская книжка, страстный кузнец Вакула долетел до столицы на черте; да здравствует встреча искусства и жизни: службисты Мелькисарова накрыли, они же его и спасут.

Арсакьев бранчевал в «Мариотте», с часу до двух, ежедневно. Третий столик по левую руку от барной стойки. Обычно ему подавали мутно-розовый супчик из раков, полубокал хорошего вина, бутылку минеральной с газом, прозрачно-золотые дольки тонкокорого лимона – и стандартный набор сыров, твердый, мягкий и творожный. Он быстро выхлебывал супчик, покамест горячий – и потихоньку жевал сыры, попивая легкое вино; с удовольствием смотрел по сторонам, наблюдая за яркой гостиничной жизнью – и ждал визитов.

Все знали; по-другому Арсакьева не сыщешь; дома он не принимал, позволял себе ходить без телефона, с помощником встречался раз в неделю, по средам: там же, в «Мариотте», полвторого. В остальное время принадлежал исключительно сам себе; что хотел, то и делал, кому желал, тому звонил. А если не желал, то сажал Анатолия рядом, и часами крутил кино, по ходу комментируя героев, постановку и сценарий. Или ходил по музеям. А наскучит – путешествовал по Африке, страна за страной; коричневая карта континента была истыкана флажками; неосвоенных мест почти не осталось.

В этот раз Олег Олегович был занят. Мелькисаров присел за соседний столик и прислушался. Нервная девочка, лет двадцати (практикантка?)

брала интервью. Подпускала в голос хрипотцы, показывала знание предмета. Арсакьев беззаботно объяснял ей: такие вот мои воззрения на жизнь, историю и эт-самое, политику.

Очередь дошла до Мелькисарова. Арсакьев обрадовался: как там музыкальный агрегат? Наладили? Не воеет, эт-самое? Потом внимательно послушал, понял, что все куда серьезней. И погрустнел. Раньше он отказывал лихо, без промаха, как хороший стрелок разбивает тарелочку влет: почти не целясь, навскидку. Теперь не то; два пенсионных года не прошли ему даром. Говорить решительное нет – неуютно; что, Мелькисаров сам не понимает, в какое положение ставит Арсакьева? Чем ему придется отплатить за эту просьбу?

– А я чем заплачу, если не выскочу?

Долгое молчание. Больничный запах мятного чая. Тихое позвякивание ложечки. Недовольный вид. Борьба с самим собой.

– Ну ладно.

Хороший он старик, настоящий.

16

Ему сказали – возьми документы, фотографии (скопируй старые, чтобы все было без кровоподтеков), подъезжай в Данилов монастырь, стой там на выходе и жди. Он стоял, ждал, немного мерз. Бородатые мужчины бодро шагали ему навстречу, женщины в черных платках энергично семенили, путаясь в длинных юбках; подойдя поближе, окидывали Мелькисарова опасливым взглядом, тут же делали вид, что идут себе дальше; обойдя со спины, поспешно поворачивали и ныряли в монастырские ворота. Их можно было понять; мохнатый мужик, дорогое черное пальто, ярко-голубой тончайший шарф, из-под него сияет широкий ворот свежей рубашки; а на физии – лиловые потеки, левый глаз опух, губа ободрана, покрыта темной коркой, руки перевязаны бинтом. Бомж, переодевшийся в бутике. Или сумасшедший богачей. И еще неизвестно, что хуже.

Вдоль белого забора лежали остатки черного снега, по асфальту стекали потоки мерзлой воды; апрель набирал обороты. Прошло десять минут, пятнадцать, полчаса; наконец, из внутреннего дворика монастыря выехал потертый «Лендровер»; передняя дверца открылась:

– Садись. Как сам? Меня зови Иван Иванович.

За рулем сидел мужчина очень средних лет, в неброском костюме и тихой, обыденной внешности. Уважительно-насмешливо посмотрел: «Серьезно поработали. Но заживет. Не звери». Они отправились на третье кольцо; о деле речь на заходила, рано; они спокойно, по-соседски говорили о всяких важных пустяках. Что жена, как бизнес, а с деньгами? Ходишь в церковь? нет? а напрасно.

Доехали до кладбища в Калитниках, запарковались; вдоль трассы несся ветер, в котором остатки холода смешались с первой весенней пылью; внутри ограды было тихо, мирно, полный штиль. И как-то по-особому, кладбищенски уютно. Галька приятно шуршала. Свежие могилы пахли молодой землей, новые ограды – масляной краской. Жизнь, добровольно примиренная со смертью.

Иван Иванович вел неторопливо и уверенно – к какой-то заранее намеченной цели. Отыскал участки с одинаковыми гранитными постаментами; скорбно постоял.

– Тут наши ребята. Афган. А теперь давай рассказывай. Слушаю беду твою.

Мелькисаров рассказал, в чем было дело. Без утайки. Собеседник понимающе кивал; в нем не было демонстративного сочувствия, но и делового равнодушия тоже не было. Он четко входил в обстоятельства, как входит в них хороший диагност. Здесь болит? а в почках отдается? стул по утрам какой? слизи много? крови нет? И мирно взвешивал резоны – про себя.

Степан Абгарович шел рядом, ожидал вердикта. Нервничать было уже бесполезно; как сложится, так сложится. Можно было наблюдать – и думать о стороннем. Интересно, как люди этой профессии ухитряются размыть себя, расфокусировать? Не человек, а неопознанный шагающий объект. Завтра Мелькисаров попробует вспомнить, представить себе его лицо вживую – и не сможет. Округлое, но не толстое. Уши небольшие, аккуратные. Правильный прикус. Серо-зеленые глаза, слегка припухшие. На полголовы ниже Мелькисарова. Но это ни о чем не говорит! Набор бессмысленных примет.

Давным-давно, когда его мама родила, он был отдельный, единственный, ни на кого не похожий. Ребрышки торчали. Нос пимпочкой сердито морщился, глаза сияли во все лицо. Стал половозрелым подростком; наверняка его как-нибудь перекосило, правая сторона обогнала в развитии левую, волосы торчали в разные стороны, девушки не соглашались целоваться, потому что изо рта куревом пахнет, а он так хотел! После армии пришел откормленным, грудки по-бабьи выпирали из тесной

доармейской рубашки. Было, было в нем что-то характерное, наверняка.

А потом – раз, и человек стал сам себя менять. Под выбранную роль. Тихо, внимательно беседовал с веселыми журналистами, вербовал их, отправлял в прикрытие; а сам сидел в каком-нибудь посольстве, взаперти. Старался лишний раз не выходить в опасный город; жена ему в загранкомандировке не полагалась; перед закрытием посольской лавки он плотно закупал советские продукты, ел по вечерам пельмени, слепленные поварихой тетей Тоней, или Валеи, или Олей, по выходным позволял себе печеные рулетики из бекона с черносливом; и думал, думал, думал. За этих пустозвонов-журналистов, которые должны сверкать и хорохориться, чтобы заводить знакомства, тусоваться и приносить ему в зубах добытую бумажку, снимок, звукозапись. Для анализа и шифровки. А про него никто не должен знать.

Поэтому он берет в руки ластик, и медленно, не суетливо, стирает себя. Был четкий штрих – остается пустой прозрачный след от грифеля, процарапанного бумагу. Были плотные тени – сохранился лишь намек на штриховку. Нет объема, характера. Есть только слабо намеченный контур.

– Наверное, мы все-таки возьмемся.

И без малейшего пафоса, без попытки оправдания и осуждения он объяснил клиенту – почему. Мартинсон, конечно, не фигура. Связи у него остались, это мы видим. Но если бы на кнопки давил не он, запутавшийся отставник, а кто-нибудь внутри самой системы, то уже никто бы не помог. А так – есть некоторый шанс пересидеть и обождать, пока буря затихнет. Рано или поздно люди честно отработают старые долги перед Мартинсоном и скажут ему: стоп, довольно, квиты. Тогда можно будет вернуться и как-нибудь решить проблемку миром. И еще одно соображение. Не надо вводить Мартинсона в соблазн. Сгоряча наломает дров, и так уже пошел на смертный грех, потом остынет, пожалеет, а будет поздно; надо бы дать ему время одуматься. Ты все-таки крещеный? и мы не басурмане.

Они прошли центральную аллею насквозь; повернули к выходу. К воротам подогнали катафалк; на старую тележку водрузили новый гроб, отделанный по всем правилам прощального искусства – темный матовый лак, благородная классическая форма, сливочно-бежевые позументы; гробовщики в свежих синих комбинезонах покатали тележку навстречу могиле. Толпа родственников с венками, кипами роз и портретом молодожавого покойника покорно следовала сзади; если кто-то отделялся от толпы и вдвигался вперед, к тележке, гробовщики ласково, как пастухи теленка, водворяли торопыгу на место: не положено, такой ритуал.

Провожающие покорно отступали: со смертью лучше не шутить, а здешние – знают закон.

Иван Иваныч и Мелькисаров посторонились; процессия свернула по тропинке влево. На выходе они услышали поспешный стук молотка и зубоврачебный посвист электрической отвертки; утробно завывала женщина, и вскоре все было кончено.

По пути назад условились о встрече: послезавтра на том же месте, в то же время. Мелькисаров получит документы на свежее имя, скорее всего армянское или еврейское – по внешности; виза будет медицинская, на лечение последствий автокатастрофы – пострадали позвоночник и желчный пузырь; а стоимость услуги, не поверишь, Мелькисаров, меньше миллиона деревянных плюс еще шестьдесят четыре тысячи триста пятнадцать рублей: стоимость билета в первый класс, под квитанцию. В аэропорт его доставят правильные люди, проведут через контроль, даже ручкой махнут на прощание: до встречи. Но пока отправляйся куда-нибудь за город, и никому – слышишь меня, никому! – не звони!

Глава одиннадцатая

1

Положено было расстроиться, напугаться; он испытал облегчение. Бесплезная надежда – как дурная бесконечность; дробит и перемалывает нервы. Все мерещится выход; может быть, вот так попробуем? или так? чем черт не шутит. А черт – не шутит. Ты это понимаешь и все равно понапрасну надеешься. Но если надежда исчезла, значит, зачем суетиться? Накатывает чувство размягчения; не ты управляешь процессом, а судьба управляет тобой. В этом размягченном состоянии хочется обабиться, пролить умиленные слезы и всех полюбить – без разбору.

Суетится Загородный проспект; воняет бензиновым перегаром, а тебе – свежо, просторно, и мысли всё такие твердые, ясные, их даже думать не нужно, вспыхивают сами. Итак, план действий. На дачу ехать невозможно; дачный адрес Тамаре известен. И в какой-нибудь пансионат – нельзя; данные паспорта вводят в систему, в систему можно запросто войти – если по нему дана команда. Но есть хороший вариант. Что там хороший! роскошный. И поедет он туда не на машине. Машина тю-тю; с ней придется попрощаться. Мелькисаров только поигрался в маячок, а Мартинсон играть не станет. Где-нибудь на днище, или на крыше, или в салоне авдюши наверняка уже подклеена мелкая плоская штучка; через эту штучку прямо в космос идет непрерывный сигнал: я земля! я земля! Мелькисаров на связи.

Что же; чем хуже, тем лучше. Продолжим осваивать жизнь, станем поближе к народу. В метро спускались; пора возобновить знакомство с электричкой.

Киевский вокзал шелестел целлофаном; цветы были повсюду. По пути к платформам колеблющимся строем стояли тетки и бабки; они профессионально радовались теплему солнцу, ясному небу: весенние ливни – помеха торговле. В ведрах томились хрусткие голландские тюльпаны, первые в этом году: привычные желтенькие, девические розовые с белой бахромой, фиолетовые, вычурные, словно бы растрепанные по краям лепестков; попадались и тонкие ирисы; только два или три ведра были туго забиты похоронными гвоздиками, – а ведь раньше, при Советах, ими в основном и промышляли. Наверное, все это как-нибудь пахло, но бодрый

дух весны был намного сильнее, отбивал, поглощал, растворял в себе цветочные ароматы.

До отправления калужской электрички оставался час; Мелькисаров вернулся на привокзальную площадь и окунулся в цветочное царство. Бесчисленные лавки с черными худющими хозяевами и белыми просторными торговками ломились от наглых роз, застенчивых лилий и все тех же тюльпанов, на пять рублей дешевле, чем у теток; в закрытом пространстве цветочный дух загустевал, наркотический привкус тяжелой сладости стекал по запотевшим окнам: хозяева ежеминутно прыскали из ядовито-ярких распылителей, в воздухе дымился пар. Было в этом что-то юго-восточное, вьетнамское, камбоджийское: влажность сто сорок процентов. Покупатели толклись, как пчелы на излете августа; протягивали деньги хозяину, тот огорченно кивал, показывал глазами: ей передай, я, слушай, теперь иностранец, мне деньги руками нельзя. Продавщицы принимали купюры, слюнявили сдачу, а барыш бросали в ящик. Хозяин мгновенно выхватывал деньги, суеверно поплевывал на них – тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, перекладывал в нагрудный карман: э, вот теперь по закону.

Казалось, он идет в цветочном облаке. Пьяное чувство, веселое. И затаенное. Даже в душном вагоне привкус лакированного дерева скамеек проступил не сразу; обоняние сопротивлялось, память о чудесном запахе была сильнее реальных ощущений.

Зимние рамы уже были свинчены; компания разгоряченных студентов приспустила окно. Через пять минут щелку прикрыли: пожилые пассажиры заругались; но вагон успел задышать. Топили, впрочем, все равно по-зимнему; люди стали стягивать шарфы и шапки, начали сбрасывать куртки; толстый парень напротив остался в рубашке и все равно равномерно потел, засыпая. Сквозь льняной карман расплывчато светился и гас телефон, отключенный от звука; кто-то упорно звонил – и не мог дозвониться. Должно быть, жена или девушка: под покровом ткани вспыхивал и таял чей-то портрет, вспыхивал и таял; получалось очень по-киношному, образ нежного и любящего сердца. Только жаль, что кармашек не слева, а справа.

2

Путь неблизкий, заняться нечем. Мелькисаров вынул фотоаппаратик; так и не собрался пролистать молдавские картинки; самое время.

Экранчик мелкий, плохо видно, неудобно.

Вот их двор, стоянка, выезд; размечен видеоплан отступления. Вот предательский Вася выбрасывает ноги из машины: сейчас он постучит подметкой о подметку, стряхнет налипший снег, и тронет. Вот они втроем, перед вылетом Тёмы в Женеву; Мелькисаров с напряженным видом обустроивает вещи в багажнике, Жанна заискивающе смотрит на сыночка, тот воротит морду; ничего, перегорит и повзрослеет. Как долго, сволочи, готовились. Он выходит от Ульяны; задумчивый; блаженная улыбка идиота, все проморгал. Дашкинс... Академия наук... а это уже интересно.

Милая его жена, верная и преданная Жанна стоит у подъезда с актеришкой; и как стоит! головку поднимает вверх, как канарейка, а он склоняется к ней. Мелочи не разобрать, но глаза наверняка закрыты: поцелуйчик! Нет бы в щечку. А целит – в губы. Ай-ай-ай, Иван: без приказа пересек черту. На поход в ресторан попросил разрешения (и денег – тоже попросил), а насчет поцелуя смолчал... Переигрываешь, мальчик...

О, как. О, как. Опять выходят из машины вместе. Приторный запах измены? Или просто рядовой полуроман? Легкое взаимное увлечение? Что там говорили шибздики про загород и любовника?

Надо будет с ней поговорить.

3

Мужчина бредет сквозь толпу; едет в машине; сидит в ресторане; плюхается в кресло кинозала. На ухе – рогулька телефона, взгляд отсутствующий, он мыслями не здесь, а где-то там, на линии далекой связи. Но мозг работает в автономном режиме; поступают скрытые сигналы тревоги: десятки, сотни, тысячи женских образов; сознание классифицирует их, подсознание производит отсев. Дебелая, волоокая, блондинистая, страстная; тип твой, но совершенно не тревожит, расслабься. Черненькая, маленькая, юркая, пахнет влечением, что-то смутное задевает; типаж, однако же, не близкий. Эта симпатичная, да пошлая: сквозь полупрозрачный костюмчик в обтяжку проступает красный лифчик, темнеют черные трусы; с такими вкусами далеко не пойдет. Та корчит из себя не пойми кого; кабриолет подарен наглым папиком, вместо номерного знака имя «ЛИЛЯ». Эта слишком хочет познакомиться: Бог подаст. Вот набожная, пресная, в платочке, юбка до пят. Мимо кассы. А вот неплохая девочка, но рядом с хорошим мальчиком; ты опоздал, мой друг.

Роятся образы, пахнут помадой мимолетающие губы, спиртом обдает дешевый парфюм, магазинным привкусом – дорогой; тут же в нос шибает дух приемной, борделя, булочной, художественной мастерской, подкисший запах кормящей груди, подростковый лосьон от прыщей, старческий аптечный привкус корвалола, раздается пережженный запах лука и чеснока: прыгает, как мячик, тугая деревенская баба, и никакого ей дела до нас. Ее округлость – для другого. И румянец во всю щеку. И лук с чесноком. Она цепляет тебя краем глаза, и тут же сбрасывает в утиль; козлоногий господин, не труженик, денег тыщи, наворовал, что с него взять? ничего, пускай идет себе дальше, подождем своего, работающего, из народа, лукового горя, чесночного счастья. Ступай и ты, женщина, с миром.

Зато вот эта девочка, темные волосы, роскошные татарские глаза, маленькая грудь, развернутые бедра, пролетая вдаль, тебя отметила, царапнула кошачьим взглядом: подобное притягивается подобным, равное тянется к равному. Ты богат, а я красива; ты умен, а я хитра; ты потерт, а я свежа; ты умеешь впахивать от зари до зари, я умею делиться радостью; только все равно не судьба, не сейчас, не с тобой.

Люди протекают сквозь людей: мужчины скользят сквозь женщин, женщины сквозь мужчин. Почти никто никого не цепляет, никто ни с кем не соединяется: идет беспрестанный отсев, вечная отбраковка, мириады отсечений. Но вдруг совершается сцепка, завязывается узелок. Еще один, еще, еще. Миллион раз мимо, одно попадание; одно попадание – миллион мимо. Девушка, зачем вы спешите? Может быть, попробуем поговорить? Не знаю, мужчина, не знаю.

Наверное, сверху, оттуда, где нам никогда не бывать и откуда никогда не смотреть, все это похоже на ткацкий цех; на бобинах накручены нити, сходятся и расходятся механические веретена, сплетается тонкая узорчатая ткань, и так без конца.

Но это, к сожалению, не все. Вы пронырнули первую волну; берегитесь второй. Сойтись ведь не значит остаться. Ах, ты чавкаешь противно и храпишь? что ж тебе все деньги, деньги, деньги, полюби меня сначала просто так! ты не можешь покачать ребенка, да? эти вечные твои подружки! твой футбол и твое казино! ты постишься, я-то тут при чем? не хочешь брить подмышки? признавать мое пространство? дышишь в постели пивом, и хочешь, чтоб мы спали часто? не принимаешь виагру или ходишь на сторону? писаешь на сиденье? смотришь свой идиотский «Комеди клуб» – для ублюдков, вырожденков, кретинов? Дура, дура, дура! Сам дурак.

Из большинства отсеялось меньшинство; из меньшинства половина

рассталась. Тут начинается самое трудное, самое страшное. Совместный жизненный путь. Долгий. Непредсказуемый. Полбеды, если время застоя; вы совместно загнаны в угол, покрываетесь симпатичным мхом, обрастаете ягелем, а под лежащий камень вода не течет. А ну как время перемен? Год пролетит незаметно, два пробегут, пять; через семь они попытаются поговорить на кухне, а не о чем им говорить. – Не знаешь ли, какой сегодня индекс? Ась? Ты не помнишь, где у Пришвина про кота и его ус? Что? Какой сегодня тренд? Восходящий? Какой сегодня праздник? Двенадесятый?

Они уже переплелись, обручились в прямом, не переносном смысле; общий дом, общие дети, общие беды, только радости – врозь. Расставаться, начинать все заново – лень. Оставаться и владеть существованием – тоска. Да пребудут вместе, пока смерть не разлучит их. – Господи! Лучше тогда не жениться. – Кто может вместить, тот вместит.

Из миллиардов отсеялись миллионы, из миллионов остались тысячи, из тысяч сохранились сотни. Из сотен отобрались единицы; они-то и оправдывают брак. Произошло невероятное и невозможное. Мужчина и женщина встретились; мало того. Преодолели неодолимый конфликт двух разных видов, мужского и женского; мало того. Прошли огонь, воду и медные трубы; и этого тоже – мало. Потому что они друг друга любили, любят и будут любить. Открывается дверь, за ней уличный сумрак и слышится соседская ругань; закрывается дверь, внутри дома тихо, светло и пахнет борщом. Лучшая женщина в мире жучит лучших на свете детей; лучший мужчина на свете улыбается ясно, он ласков и тверд, и с ним хорошо; у лучшей собачки во всей природе сам собой тарабанит по полу хвост, а самая лучшая кошка мягко огибает ноги, оставляя на брюках шерсть.

Какое блаженство быть своим в мире, где каждый чужой; какой восторг не притворяться, потому что любят не за это. Тут тебе и кущи, и Кедрон, и Афон, и Рим, и Москва. Входи, счастье мое. Оставайся, радость моя. Добавки хочешь? Ну как знаешь.

4

Расслабленный, обмякший Мелькисаров наблюдал за суровым народом, которому все нипочем: нужда так нужда, богатство так богатство, лишь бы жить не мешали; любовно глядел на вагонных торговков, с их

веселыми накрашенными лицами и стальными голосами, которые сильнее, чем стук колес и шум вагонной болтовни: уважаемые пассажиры, всем вам счастливого пути! предлагаем вашему вниманию книги кулинарного искусства, которые позволят каждой женщине быстро и экономно повести домашние хозяйства! на прилавках города Москвы книга стоит приблизительно двести-триста рублей, мы же предлагаем ее сегодня, внимание, всего за семьдесят пять рублей! кто заинтересовался, может ознакомиться поближе. И, легко подхватив клеенчатый баул, несет себе сквозь тесные проходы. Чем не девятнадцатый век, не русская женщина, не Толстой и Некрасов и кто-то там еще?

И в то же время – Мелькисаров слишком ясно понимал, что с ним сейчас происходит и что с необходимостью последует за этим. Сердце трепещет, вот-вот закапают слезы, а ум разбирает причины и следствия; от себя-то не уйдешь. Есть медленно пьянеющие люди. Ноги перестали слушаться, заплетык языкается, вокруг – посинелые рожи, сопливые губы, одна и та же история рассказана по десятому кругу, но мозг, сопротивляясь алкоголю, не дает уйти в отрыв, бухгалтерски фиксирует детали. А внутренний голос бормочет: не забыть поставить воду к изголовью, завтра в восемь тридцать позвонить Петрову, вечером летим в Новосибирск. Удовольствия нет, а похмелье – будет; лучше вообще не пить.

Холодный, четкий Мелькисаров наблюдал за Мелькисаровым – раскисшим, и посмеивался над собой – про себя. Народничек. Добролюбов с Чернышевским. Послушай лучше, что говорит вот эта мать калужского семейства, твоя ровесница, вот этой дочери, сверстнице милого Тёмы; послушай, о чем кудахчет.

– Да ты что ж, так и отдала? Так и отдала? Там же мелочью было двенадцать рублей, нет, тринадцать, а сдачу не взяла? Надо ж было бы пересчитать. Там двенадцать пятьдесят было, дескать, отдайте пожалуйста. Как же так, доченька, с деньгами надо аккуратнее.

Расслабленный, сентиментальный Мелькисаров сердился на себя сурового и едкого, упрямо заставлял себя разглядывать летучие пейзажи заоконного русского мира: останки церкви на кладбищенском холме, закисший пруд, обросший по краям домишками, как старый пенёк трухлявыми древесными грибами; нутро сжималось от жалости к людям и от полной невозможности помочь. Другой Мелькисаров, спокойный до твердости, усмешливо предлагал: посмотри на свалку вдоль дороги, на пустые глазницы заброшенных зданий, на ржавый, исковерканный «Москвич», который здесь заброшен навсегда; сорок минут от Москвы, а кажется, война окончилась вчера; забор, а на заборе надписи:

«Социализм или смерть! Путин с нами! Оля – блядь!»

В середине вагона расселись двое в черном, при длинных сальных волосах. Одному лет восемнадцать-девятнадцать, другому двадцать с небольшим; оба добротнo накачаны пивом и все равно продолжают пить – через не хочу. Черные сапоги зашнурованы; ноги брошены на скамью. Чтобы казаться развязнее, младший растекся по сиденью; крохотный плеер переключен на динамик, и звук докручен до упора. Мощный перестук колес и расшатанный ход электрички не в состоянии забить дребезжание песни: *постигая такое, что не хочется жить, наблюдает за нами небес синева...*

И дальше – надрывно – про путеводную ярость, про то, что бредим настоящим и знаем, что вчера все было падшим, и продолжаем увлеченно и решительно спать. Переключись на черно-белый режим! Переключись на черно-белый режим! И убивать! Постигая такое, что не хочется жить...

Звук забивал сам себя, вспыхивали только отдельные слова: солнышко, забытье, добровольные могилы, и снова отчетливо слышно: переключись на черно-белый режим! Переключись на черно-белый режим! И убивать!

Пацаны кричали друг другу: офигенно круто, нереально! Мимо брел полубомж, стыдливо спросил их: свободно? Что?! Громче! Свободно ли? Нарвался на резкий ответ, короткий, как пинок под зад: занято, проползай!

Музыка клокотала. Пассажиры были недовольны, и чем старше, тем недовольней. Оглядывались, морщились; беременная молодуха разжевала бумажку и засунула в уши; но пацанву никто не осадил.

Мелькисаров дозрел до скандала, однако не успел вмешаться.

– Осторожно, двери закрываются! следующая станция «Лесной городок». – Звук сам собой захлебнулся и смолк. В затихший вагон протиснулась женщина – под сорок, без краски, простая; при ней две девчонки, одна старшеклассница, другая, скорее, студентка. Длинноволосые немедленно скинули ноги на пол, распрямили наглые спины, поменяли выражение лица. Не отморозки и нахалы, а добрые веселые ребята, ну выпили малёк, нормально-дело, с кем не бывает.

Женщина садится рядом с ними и оказывается мамой или теткой, а девчонки смеются и жмутся к парням, но без каких-то этих самых, а по-родственному, как сестры, как свои. Начинается уютный разговор. (А скамейка и вправду была занята.)

И вокруг все снова становится тихо и мирно, умирительно и пасторально; вон батюшка с матушкой едут; одежды светские, но выправка поповская, и платочек на ней характерный; на коленях – плетенные домики кошек; сквозь темные прутья испуганно смотрят усатые морды, глаза

сверкают черным светом: страшно, но хозяева хорошие, в обиду не дадут.

Мелькисаров смотрел, смотрел, думал, думал, и незаметно уснул тем поверхностным дорожным сном, когда накатывают образы, сквозь них протекают реальные звуки, ты роняешь голову на грудь, резко вскидываешься и продолжаешь спать, сознавая, что спишь, а проснуться не можешь. Он голый стоит на дешевой кровати, чуть ли не пружинной, из советского детства, и какие-то мохнатые его ласкают, и он понимает, что это не весь он, а только его тело, а за телом наблюдает его же душа. «В этот день в Иерусалим вошел Христос, уже ставший известным благодаря знаменитому воскрешению Лазаря». Радио. Мужик напротив перенастроил телефон на радио. Тело хочет уйти, а мохнатые не отпускают, и душа плачет, как девушка после первой неудачной ночи: пустите, ничего не хочу больше! Сиплый голос профессиональной скандалистки: мама у меня чумовая, а я ему... а он такой... Через скамейку, напротив, понятно. Мохнатые ласкают, жмутся, щекотят, тело вот-вот содрогнется. А мне лениво на звонки отвечать!

Голова все-таки упала на грудь. Мелькисаров сумел собраться с волей, выскочить из тошнотного сна, открыть глаза. Напротив сидит полубабка, из той неизбывной породы русских женщин, которые не старые, не молодые, лет с тридцати до самой смерти одного и того же *примерного* возраста. Сидит и смотрит, не отводя сочувственного и уважающего взгляда.

– Ох, бедный, это кто ж тебя так изукрасил?

5

Машина ковыляла по проселочной дороге, проваливаясь в ямищи, ямы и ямки; через полчаса условно-проезжий путь оборвался. По темному, невысохшему полю протоптана узкая тропинка. Надо было по-другому заезжать, но кто же знал? Таксист извинился, торопливо взял денег, рыхло развернулся, выметнув грязь из-под колес, и был таков. Пришлось проползать по осклизлой земле в городских ботинках с кожаной подметкой, рассчитанной на перескок из автомобиля на подогретую дорожку приличного заведения.

Солнце собиралось закатиться; свет перед сумерками четкий, видно далеко, да и пространство тут свободное, деревьев мало, как на юге. Непаханое поле спускалось к тихой широкой реке; за рекой разбредались холмы. Жизнь вокруг покатаая, вольная. Умом понимаешь причину: колхозы

завалились, деревни и села спились, молодежь уехала, природа нетронута; красота, оплаченная катастрофой. Но глазу радоваться не запретишь. Дома не лепились друг к другу, не сбивались в кучки, дворы были разбросаны бесхозяйственно, щедро, почти по-сибирски. Одинокó мыкнула корова, никто ее не поддержал; ни коз, ни лошадей не слышно, только страдальчески кудахчут куры и лениво отзываются петухи. Не пахнут, не скотоводствуют. А дома покрашены. Недавно. И крыши перекрыты серой жостью. Чем, интересно, живут?

Степан Абгарович постучался в ворота.

– Открывыто! – пропел ему старческий голос.

На завалинке сидел высокий дед – со следами былого пьянства, но решительно трезвый. На землю вывалена груда толстых прутьев; прутья густо поросли вербными коконами. Дед увлеченно плел. Но не корзину, а нечто объемное, безразмерное, похожее на греческую амфору или цеппелин.

– Кто будешь? Что ищешь? Откуда фингал?

Дед спрашивал, не отвлекаясь; он не прекратил работу, не проявил нормального сельского интереса; быстро зыркнул на гостя, скорее для порядка, чем для дела. Мелькисаров спросил: здравствуйте, а Недовражина где искать?

– Барина? а барин у себя. Ты что ли журналист-приколист? Камера где? съемочная группа что? и почему так поздно? электричество отключили; запасной аккумулятор есть? а что у тебя с дедалайтом?

6

Недовражин не обрадовался и не удивился; принял все как должное и ни о чем расспрашивать не стал. Захочет Мелькисаров поделиться – сам приступит, а нет – не надо. Что любопытствовать. Обнял, усадил за незыблемый, из древнего дуба сколоченный стол; спустился в подпол.

Кухня мерцала чищенной медью, посвечивала тусклой латуной. Повсюду здесь сияли самовары. На старом буфете, на подоконнике, на печке. Всех видов и размеров. Огромные, плечистые, на два ведра, труба с одышкой; мелкие, округлые, похожие на казанок; тонкостенные барские; грубые простонародные. А на полу стояли деревянные кунштюки, размером с пятилетнего ребенка: лихо рубленая кенгуру, из живота торчит детеныш; сосновая растресканная хрюша; к лавке прибилась стая жирных

уток, с длинными восточными носами...

Недовражин принес самогонки, усиленной зеленоватым хреном, выложил сало на тряпочке и миску бочковых огурцов (вот у кого в подполье, наверное, запах правильный, живой); по-бабьи прижав к животу трехлитровую банку, скovyрнул проржавевшую крышку и слегка обколол ободок. Кусок стекла отскочил на край столешницы, сверкнул неграненым алмазом: необузданная красота.

– Ну, Степан Абгарович, за встречу! Сейчас пропустим по рюмочке, баню пойду протопить, а завтра у нас будет большое крестьянское действо, милости просим. Все-таки Вербное; вовремя вы приехали.

Шутит он или всерьез? Говорил Недовражин твердо, основательно, но эта привычка поглядывать вкось...

– Закусывайте помидоркой, Мелькисаров; помидорка знатная, такую вам на рынке не сторгуют, такая бывает только у мамы. И у моих кулебинских хозяек.

Помидор был бесподобный. Хотелось чавкать, обтираться рукавом. Кожица дошла до стадии последней полумякости, тает во рту, но не рвется; под ней перетекает мякоть, почти живая, вот-вот начнет пульсировать; умеренная соль перемешалась с острым перцем и пробрала помидорную плоть целиком, до последнего дробного семечка, до тонких жилок сердцевины. Далекий привкус сельдерея, навязчивый аромат смородинного листа... нёбо, разогретое самогонкой, сладко обожглось, и лоб пробило бисерным потом.

А все-таки счастье, наверное, есть.

Они ограничились рюмкой; после бани будет мятный чай, а после чая еще пропустим. Мелькисаров спросил: ну что, за дровами? Недовражин удивился: за какими такими дровами? Куда? Дрова просыхали в парилке, за печкой; вспыхнули сразу, горели страстно; маленькая печка тут же раскалилась, на второй закладке прогрелся предбанник, на пятой в парную было не войти.

Недовражин скинул одежду; распахнул форточку; простыней, как мехами, разогнал жар.

– Париться подано!

Мгновенно просияв над пламенем, вода ударилась о стены, брызнула в разные стороны. Раздался влажный запах эвкалипта. И злобно зашипели камни. И снова зашипели. И снова.

– А вы не пивом? – спросил Мелькисаров из последних сил, сжимаясь в комок.

– У бани свой порядок. Пиво на второй заход.

Наступила священная тишина. Сначала вспотели надбровные дуги. По носу щекотно скатилась массивная капля, звонко шлепнулась о полочку. Через минуту потекли плечи, за ними заблестела грудь. Мокрый пар пробирал до костей, пришлось затаиться, застыть неподвижно и довериться власти жары. Ненужные мысли ушли, эмоций тоже не стало; только неглубокое дыхание, гневный клекот огня, низкий свет.

Мелькисаров не выдержал первым. Скользнул вниз, ожегшись о наждачный воздух, выскочил в душевую, рухнул в ледяную бочку, зашипев, как раскаленный гвоздь, и со звериным рыком вылетел в предбанник.

Потом они пили травяной чай; заедали земляничным вареньем, слегка засахаренным, просто прелесть; говорили. Пошли на второй заход, пивной; снова пили чай и говорили. Третий, мятный – и опять говорили за чаем.

Недовражин рассказывал – мирно, неспешно.

7

В девяносто пятом заболела Оля. Она тоже была томичкой, из федоровцев. По-плохому заболела, безнадежно. Ее сверлили, резали и облучали; не помогало. Она жила от провала к провалу. Первый год держалась молодцом, зажимала свой ужас в кулак, читала лекции студентам, шумно принимала аспирантов – с кухонным застольем, бутербродами, на праздники даже с вином. Потом организм отказался от зубов и волос. Ей поставили протезы – неудачно, пришлось заказывать мост на присосках и чмокать, а по большей части ходить без него; щеки впали, она повязала платочек; стала молодой старушкой. Кожа гладкая, лоб сильный, покатый, глаза черные, живые, а рот пустой, и череп беззащитно-гол.

Оля стала стесняться собственных лекций, перешла на полставки, консультантом; аспиранты все еще приезжали, она варила им свой знаменитый крепкий кофе, но сидела в уголке, против света, чтобы не особенно были видны следы ежедневного страдания. Скулы обтянулись, стали восковые.

Через три года она затруднилась ходить. Бродила по квартире без подпорок, по стеночке; потом сдалась. Достала из кладовки мамину палочку, легкую, лакированную, с потертой коричневой ручкой и черным резиновым набалдашником. Недовражин вернулся с работы, а Оленька сидит на кровати, держит на коленях палочку, и плачет.

Больше аспирантов не было; первая группа, инвалидная пенсия, методичная подготовка к неизбежному.

И тут случилось, можно сказать, настоящее чудо. Как назовешь иначе? Денег у них, ясное дело, не было. В один прекрасный день (прекрасный день, прекрасный! и случилось это, как на радость, в сердцевине яркого сентября) им позвонил Сережа Деткин. Тот самый, что когда-то составлял акафисты, он еще женился на Ане Кошкиной, тут же произвел тройню, и все смеялись, что Кошкина стала Деткиной, чтобы деток рожать, как кошка. Деткин жил в Подмоскowie, занимался конфетами: жизнь заставила, сам бы он ни за что.

– Старик! – пробурчал Деткин. – Все понимаю, но попробуй не сдаваться. Тем более что нечего терять. Мне тут долг погасили участком, под Калугой, и дом есть бревенчатый, почти новый, и газ, и вода. Мне не нужно, а вам пригодится. Теплый сортир замутим, ванную поставим, и езжайте-ка вы с Олей на природу. Хватит шастать по врачам, никакого толку. А медсестра для уколов и там есть. Раз в десять дешевле, чем в городе. Правду говорю, езжай.

Они подумали, подумали, решили: отпустят врачи – поедем.

Врачи отпустили. Даже, кажется, обрадовались. Зачем доживать в неприятной квартире, где все пропиталось болезнью и ожиданием смерти? (И нас от мороки избавите.) Потихоньку, за отдельную плату, выписали морфий – на случай ухудшения – и отправили восвояси. Уже следующим воскресеньем Недовражин снес на руках исхудавшую Олю вниз, усадил в переднем кресле, как ребенка, пристегнул; пристроился за Деткиным и покатил по Киевскому шоссе. Оленька смотрела во все глаза.

Навстречу им открывалась великая подмосковная осень. Медленно распространялось солнце, разноцветные листья сияли насквозь. На обочине, через каждые сто метров, стояли грибники: год был без яблок, но грибной, в народе говорят – к войне. Недовражин посигналил Деткину, затормозил: ты себе еще прикупишь на обратном, а нам ночевать: прихватим ведерко прямо сейчас.

Корзина стояла сто рублей; ведро сто пятьдесят, три ведра на триста. Недовражин думал купить корзину, но не удержался и взял три ведра. Белых. Такие они были твердые, уверенные в себе, сухие и свежие, с прилипшими иголками. В старом багажнике припахивало ацетоном, поэтому грибы они сложили сзади, на сиденье; осторожно, чтоб не мялись. Весь оставшийся путь вдыхали еловый лес и думали о картошке с грибами и луком.

Пролетели Шемордино, отвернули от Оптиной пустыни, обогнули

Калугу, добрались до места.

- А как жена пешком дошла через поле? Или на руках донес?
 - Тут заезд имеется, по правую руку; твой таксист не знал.
- Мелькисаров с Недовражиным перешли на ты – и сами не заметили.

Деткин пошел разговаривать с местными; Недовражин и Оля сели на крылечко и молча приняли решение: будем тут жить. Жить.

Как потом перевозили вещи, строили сортир и ванную, мирили таджиков-строителей с местными – неважно. Важно другое. Проводив благородного Деткина, они вывалили все грибы на стол, вдвоем почистили их (что значит почистили? кто же чистит боровик? срезаешь ножку, кромсаешь бахрому на ободке у шляпки, и пополам, и в соленую воду, и готово). Жарить ничего не стали, отложили кучку на засолку и сварили целую бадью насыщенного супа, в котором грибам было очень тесно, а перловка – едва заметна; и тихо, долго хлебали вдвоем.

В воздухе толклась осоловелая случайная муха, на полу валялись полые трупики желто-черных ос, в колонке сипел синеватый газ. Платок съехал; Оленька его не поправляла. А потом, впервые за последний год, вообще сняла: что уж теперь. Оля прижалась к его плечу, а он гладил ее лысую голову, и боялся слишком сильно нажать неправильный бугорок на затылке, как мужчина боится потрогать младенческий родничок. Тонкая кожа была чуть шершавой, слегка влажной.

Такое не забудешь, даже если захочешь. Такое остается навсегда.

На поправку Оля не пошла. Но и сползать под уклон перестала. Новая боль не проявлялась, а с прежней она стерпелась без наркотика; медсестре, недовольной тетехе с отекающей шеей, Недовражин разумно продолжил платить. Что ссориться с деревней? и мало ли, не дай бог, пригодится.

Оля сама добиралась до речки; Недовражин сколотил скамейку. Жена сидела тут подолгу, и, не плача, наблюдала, как мирно, без мучений тает ее жизнь. Вот осень почернела; вот зима прорвалась снегопадом – и тут же отступила, стаяла; вот все-таки взяла свое, отгородилась от мира матовым льдом и сверкающим настом; а вот уже запахло тающим мороженым, и значит, впереди весна. Детали и подробности меняются, как стекляшки в детском калейдоскопе, но местность неизменна, неизбывна. Это сдвоенное чувство разъясняет тайну жизни и смерти доходчивей, чем философии и батюшкины проповеди. Сначала ты живешь внутри пейзажа, а после сходишь, как старый снег. Ни ужаса, ни страха; счастливая покорность неизбежному.

В городе такого чувства не бывает, оно технически недостижимо. Там ты мечешься с места на место, если здоров. И заперт в четырех стенах, если болен. В окно смотри не смотри: крысиные ряды машин ползут по вечно-серой Волоколамке, смена времен года определяется по градуснику. Нет незабываемой точки обзора – нет понимания хода вещей.

8

– А это в какие годы было?

Они уже сидели в доме. Расслабленные, пили земляничный чай из самого древнего недовражинского самовара: чайная машина, музейный экземпляр. Пахло сосновой шишкой, солеными рыжиками, моченым яблоком.

– Годы? По цифрам? не сразу и вспомню. Оля умерла в две тысячи третьем, на Покров; царствие Небесное. Земля уже мерзлая была, могилу пробивали трудно. Значит, перебрались в девяносто восьмом. Или девятом. Нет, все-таки восьмом.

Пока Оля наблюдала за ускользающей жизнью, Недовражин решал проблему обустройства – их совместного в Кулебино, и лично своего – в профессии. Уезжать в Москву надолго он не мог; на лекции (два раза в неделю плюс курсовые и дипломники) не проживешь; откуда было брать распроклятые деньги? Тут им снова повезло. Недовражина свели с людьми из фонда; он выцыганил грант на школьный учебник по мировой художественной культуре, потом на методичку, затем на вузовское пособие; так они продержались три года, а поскольку сильно экономили и сельская жизнь дешевле, что-то осталось в заначке.

Наладить отношения с местными было труднее. Они почти не работали – негде, и, как им положено, пили. Если бы самогонку! нет, политуру, которая дубит нутро и выжигает мозги без остатка. Выпив, начинали дурить. У пенсионеров были наличные деньги; по пятым числам приезжал почтальон. У сорокалетних денег не было. Но были недопропитые силы. Семидесятилетняя Федотовна прикормила механика Витю. Тридцать четыре года, высокий, белобрысый, разболтанный: походка на шарнирах. Весной он жег ей траву и рыхлил землю, лето проводил задом вверх, окучивал картошку; гладкая спина, поросшая мелкими кустиками блеклых волос, прогорала до угольной черноты. Осенью и зимой помогал по хозяйству: мыл полы, готовил макаронны с мясом и парил

старуху в бане. После бани Федотовна ходила по соседкам, позевывала, прикрывая корявый рот, и сладко намекала, что тело у нее сохранилось живое, сливочное (она задирала юбку, показывала; правда, сливочное), и Витя ничего, умеет. А забеременеть уже и не опасно.

Ее ровесник, дядя Ваня, любивший приговаривать стихами, оплачивал пенсией сыновнюю покорность и право на старческое самодурство. Сын его, Коля-маленький, обязан был по вечерам стрелять ворон и подбрасывать рваные тушки бабам, чтобы утром дядя Ваня мог бродить по деревне, слушать матерную ругань и радоваться. С похмелья самое оно, бодрит.

Медсестра Новоделова, женщина трудной судьбы, при зарплате и в полном соку, позавидовала Федотовне. И перекупила Колю у отца. Уговорила поселиться у нее. Коля ответил: а что ж? и тут же переехал. Ночью ничего не смог. Медсестра сказала ему обидное. И с утра он запил по-черному. Брел, шатаясь, поперек бетонки, мотался вдоль реки, по-звериному выпрыгивал из-за куста, пугая соседей; на четвертый день явился к медсестре и сказал: дай денег. Или выпить. Та обиженно его послала. Он предупредил: повешусь. Она ответила: а мне-то что?

Коля сказал: ну смотри. Саданул дверью.

Через пять минут Новоделова слышит во дворе: ииийк! Выбежала; на дубе висит Николай и дергается. Взвизгнула, схватила сапожный нож, перерезала ремень и откачала. Все-таки медсестра; профессионал. Коля постепенно отошел, но в уме слегка повредился. Не гнать же его было после этого? Так и стал он жить у Новоделовой, как большой человеческий пес. Постреляет ворон, приберется в доме, постирушки сделает и спит возле печки.

Ссориться с соседями было бессмысленно; мириться – незачем. Оля с Недовражиным жили среди селян, как заживо погребенные – в царстве теней. Ни помощи, ни вреда. Но постоянное чувство опасности: что и когда им в голову взбредет? что померещится спяну? Ночью в деревне городскому человеку страшно; за окнами полная темень, дом живет своей жизнью, побряхтывает, стонет; то на чердаке загремит, то крыса начнет обихаживать подпол, смачно крошится деревянная опора, и кажется, что кто-то пилит и сверлит, а потом начнет убивать.

Чем бы дело кончилось – Бог весть. Но тут произошло второе, можно сказать, чудо. Недовражин съездил в город, распечатал рукопись пособия, отправился сдаваться в фонд. Получил инвентарный номер: представлено вовремя; теперь отправят на рецензию, проведут через экспертный совет. Денежки – в январе. В январе так в январе. Животы от голода не сводит;

заначка есть. На выходе столкнулся со старым знакомым, Белужским; тот ведал при фонде искусством. Белужский рассеянно, сквозь мысли, посмотрел и буркнул: здравствуй. Но вдруг очнулся, сосредоточился на Недовражине, и заинтересованно сказал:

– А ну-ка стой! Ты у нас искусствовед?

– Искусствовед.

– В деревне живешь?

– На селе.

– Пойдем обедать.

В отличной фондовской столовой кормили вкусно и недорого; подавали на синих тарелках, наливали в желтые чашки: фирменный стиль. Оказалось, что Белужский проворонил время, *не освоил бюджет, предназначенный для развития местных сообществ*, и теперь ему нехорошо. Прямо сказать, херово. Но выход есть. Но выход есть. Придумать за неделю что-нибудь такое, пространственное, коллективное, русское, но в продвинутом западном духе. Чтобы простые люди делали, а сложные тащились. Такое вот, большое. Поля, леса, а среди них штуки.

– Придумаешь, а?

– Да что же тут можно придумать?

– Посочиняй, докрути, денег срубишь. Соседям поможешь, они тебя полюбят. И меня спасешь, а уж я тебя не забуду.

– Видел бы ты этих соседей.

Недовражин представил себе дядю Ваню перформансистом, а Федотовну – куратором. Смешно.

– Врешь! искусство лечит, ты попробуй. Хуже не будет; ну не выйдет и не надо, мы тебе второй транш не погасим, ограничимся половиной, тоже деньги, поди плохо. Через неделю, а?

И Недовражин согласился.

9

Оля долго смеялась. Прикрыла беззубый рот, хохотала. Животики надорвешь. И для смеху предложила: а давай построим кукольную страну? Твой папа столярничал, ты и сам вполне себе умелец; местные плести лозу не разучились; вдоль речки полно ивняка, по весне пускай подрубят, вымочат, и сплетут – дома, магазины, церковь, вал, городские ворота. А еще феодальную крепость. А еще небоскребы. Кулебино оно такое...

разбросанное, запросто можно между избами поставить – где маленький замок Ив, от слова ива, где плетеный Авиньон (и здесь различается *ива*), а где Нью-Йорк из прутьев. Нет, а правда. Надо попробовать, любопытно. Поиграться в добрую игру. А пока, до весны, нарисовать план, как следует подготовиться, документы через фонды провести.

На следующий день Недовражин пошел по избам.

Федотовна слушала отрешенно и молча, как большой недовольный начальник слушает подчиненного: врет небось.

– Домики?

– Домики.

– Сплести?

– Сплести.

– За деньги?

– За деньги.

Тишина.

Дядя Ваня был в досаде; подурневший Коля ворон больше не стрелял, похмелье развеять было нечем. Он по-бухгалтерски сдвинул очки на лоб и твердо сказал:

– Деньги вперед.

– Вперед не дам, пропьешь и ничего не сделаешь.

– Бесплатно птички поют.

– Ну я же говорю: потом – сполна.

– Сполна бутылка вина. А посередке – бутылка водки.

Недовражин понял намек. Принес дяде Ване чекушку. Тот, булькая, выпил из горлышка и предложил: означенную сумму пополам, вторую часть – по сдаче, первую, помалу, ежедневно. Вечером. Но чтобы с утречка дядь Ваня был как огурец.

Пройдя село насквозь, Недовражин всех уговорил. Хотя уверенности не было, что они – не затаились. Смотрели хмуро, прищурясь; что-то в уме делили на два, на три, на десять. Одна только мясотелая медсестра захлопала, как девочка, в ладоши: буду занозы вытаскивать и порезы йодом заливать, а то в медпункте делать нечего. Даже красивых огненных банок никому не поставишь. Пьющий народ не болеет. Разве что споткнется и расквасится. Эй, Коленька! будем большие игрушки плести? будем, будем, мой сладкий. Нет-нет-нет, иди, не слюнявь, не сейчас.

В середине августа явилась комиссия. Белужский в центре, с ним искусствовед Бабанова, художник Тулик и куратор Медовая. Бабанова была женщина красивая, но нервная, зыбкая, губы на всякий случай слегка поджаты, в ожидании возможной обиды. Куратор Медовая всегда жила

напролом; шла уверенно, дерзко, раздвигая грудью плотный воздух. Тулик был пострижен под монаха, с тонзурой и челкой, очки носил огромные и стильные, стальные, бороду – поповскую, лопатой; очень выразительно. Недовражин расчетливо повел гостей споднизу, вдоль речки, чтобы зрелище раскрылось сразу, общим планом, а лишь потом проступили детали.

Замысел удался; взойдя на холм, столичные остол– бенели.

Между старыми избами, давно некрашеными, вдоль покосившихся заборов, стояли плетеные, то худощавые, то пузатые здания, в человеческий рост. В их колченогой красоте была настоящая мощь; сквозь сельский пейзаж, как летние опята сквозь трухлявый пенек, проросла страна из ивняка. По левую руку толпились острые небоскребы, вид сверху. По правую тянулся крепостной вал. Вокруг стилизованного замка паслись крупные деревянные куры, выпиленные из толстых чурбаков; сосновые свиньи валялись в канавах; возле пятиглавой церкви молитвенно поджала ногу цапля; на кривых деревянных качелях сидел искусственный ребенок, похожий на кургузого Буратино.

А на задворках искусственных городов, возле реальных калиток из мелкого штакетника стояли местные пейзажи и пейзажики – и смотрели на гостей с таким же потрясенным интересом, с каким приезжие москвичи глядели на сплетенную страну.

Оля из дому не вышла; спряталась от посторонних.

Восторженным гостям устроили гулянку; они пообщались с народом, потом отсели за отдельный стол и славно, щедро напировали в своем кругу. Тулик заливал стакан за стаканом, становился злей и веселее; Бабанова пила и говорила: ой, я сейчас опьянею. И видно было, сколько в ней нерастроченной женской силы. А куратор Медовая побожилась, что подтянет медийщиков; тема продаваема, она-то знает.

Первыми в деревню приехали немцы. Высокий худощавый парень с троекратной серьгой в правом ухе отвел дядю Ваню на берег, записал монолог про то, как жили, значит, при советах, а потом не стало жизни, и теперь вот она возвернулась. Дядя Ваня прекрасно понял, чего от него ждут; говорил простонародно, с сердцем. Рассказав о Недовражине, прослезился: «Я же пил, и ничего не видел в жизни. Только сейчас глаза-то открылись, на старости лет. Благодаря искусству. И Михалычу».

За немцами приехали французы, с культурного телеканала «Arte». И англичане были. И фотографы из журналов. Селяне приободрились, пить стали с промежутками, скромными запоями, по недельке, дней по десять; яркие журналы с интервью и фотографиями местных знаменитостей

передавали по цепочке, из семьи в семью...

Недовражина прозвали: барин. Завидев издали, с очевидным удовольствием и театрально, как видели в старом кино, ломали шапку на морозе. Но стоило ему заикнуться о новом проекте (следующий грант уже не то что предлагали взять – навязывали!), как село напряглось и предложило встретиться на сходке.

Собрались в заброшенном правлении. Дом не топили много лет, он отсырел и начал припахивать плесенью; снаружи был жаркий и яркий сентябрь, внутри пробирало до дрожи. От общества выступил дядя Ваня. Он не пил уже целый месяц, поэтому держался чуть высокомерно. Объяснил причину недовольства. Заграница снимает, журналы берут интервью, а это отрывает от работы и вносит беспокойство в жизнь. Но тут интересный вопрос. Где деньги? *Гонорары* – где? Второй вопрос. Они завоевали *популярность*. А почему за второй *проект* им предложены *прежние начисления*? Кто забирает *маржу*? Вот проблема.

Недовражин скучно объяснял им, что никто ему не платит. Ни телевизионщики, ни фотографы. Что он получает свое как придумщик, они – свое как рядовые исполнители.

Напряженное молчание. Не верят.

В конце концов он разозлился, саданул кулаком по столу, заорал: пошли вы, тра-та-та, к такой-то матери! не хотите жить по-человечески, свинячьте по-прежнему! и без вас обойдемся. Встал, чтобы уйти, и услышал покорное, нежное: Константин Михалыч, да ты чо? мы спросили. Мы люди сельские, простые, если ошибаемся, поправь. Спасибо, научил; когда приступим?

Скоро Кулебино обросло гигантскими плетеными ковчегами. В раздвинутых кустах, на деревьях, на крышах, в канавах, даже на реке – повсюду были гнезда деревянных птиц. В них прятались кукушки размером с маленького борова, через край выглядывали гладкие утки – в половину человеческого роста, грандиозные вороны и даже один птеродактиль.

Потом ударили морозы, повалил снег; белый сияющий фон довершил их общее дело: Кулебино стало заснеженным царством.

10

За вторым проектом последовал третий. – Бунты прекратились. – По

району прокатился слух, что в Кулебино появились деньги; в село приехал чечен Искандеров, молодой, веселый, бородатый, с незаметной женой и четырьмя нахальными детьми. Искандерова прозвали черножопиком, но не гнобили, а он не наглел. Открыл продуктовую лавку, стал через день завозить свежий хлеб, два раза в неделю мясо, а в большом прозрачном морозильнике у него среди пельменей лежали розовые креветки, покрывшиеся ледяной коркой и похожие на червей, застывших в луже. Правда, их никто не брал.

Поселяне привыкли к славе; ездили на выставки в столицу; побывали в Берлине. По приезде на новое место разбивали стильный бивак: плетеные дома, качели, башни, ажурные фаллосы, дырявые скульптурки; в тенечке домашняя кухня, сало, самогон (где позволяли) и неприменный борщ; от посетителей отбою не было.

Тем временем тихо и застенчиво умерла его Оля.

Страшная вещь – человеческая жизнь; ты заботишься о самом близком, дрожишь при мысли о его неизбежном уходе, просишь Бога еще потянуть, ну еще, ну немного; а как только сохляя земля покроет гроб, и вырастет холмик на могилке, и соседи прольют свои пьяные слезы на поминках, ты вместе с чувством неизбывной разлуки получаешь чувство легкого освобождения; при мысли, что все, что конец, навсегда, безнадежно – трясет и колотит; а в то же время сердце как будто снимают с железной привязи. Но лучше про это не думать: иначе становится жутко.

Недовражин мог теперь хотя бы ненадолго сняться с якоря и пожить в движении, чтобы насладиться жизнью сквозь печаль. Его давно заманивали в Европу; но какая могла быть Европа. А теперь он полетел в Италию, на месяц, продемонстрировать кулебинское видео; ездил по роскошному заброшенному Югу, по уравновешенному Северу, восторгался Сциллой и Харибдой, растворялся в перепадах Таормино, курил вонючие тосканские сигары, выедавая дымом все живое и летучее; итальянские студенты и студентки ликовали. Вернулся с подарками: набор сигар для дяди Вани, баночку трюфелей для медсестры Новоделовой, пьемонтские брелоки для Коли-дурачка...

А село встретило молчанием и запахом жженого дерева. Поперек дороги остро торчали горелые сучья – все, что сохранилось от плетеной страны; гнезда были сбиты и раскурочены, а деревянные птицы прострелены из Колиного ружья. Село осталось без хозяина, тут же растерялось и упилось до полусмерти. Индейцы, потерявшие своего Чингачгука. Искандеров предпочел на время съехать; магазин стоял пустой.

Недовражин понял, что попался. На неделю уехать он может, на две

опасно, на месяц – табу. Он создал сельский перформанс; перформанс ожил, чавкнул и его поглотил. Только ножки торчат из проекта. А если вдруг эпоха переменится? народные штучки выйдут из моды? он заболит – как Оля – помилуй Господь? или жизнь развернется в другом направлении, он полюбит, женится, уедет? Все возможности перечеркнуты. Нельзя болеть, влюбляться, уезжать; только бежать, бежать, бежать по кругу, как белка в колесе. Бить лапками без остановки. Притормозишь – порвет в клочки. Или другой выразительный образ. Монастырь. А он отец игумен-беспоповец. Никто не постригал, не принимал обетов, а все равно – с креста не сойдешь... А крестьяне все играют в барина и крепостных; знали бы, какой ценой игра оплачена...

Так он теперь и кочует. Каждый вторник уезжает в город, чтобы не отстать от жизни. Каждую пятницу возвращается, чтобы не лишиться общего дела. И ничего не переменишь, как будто дал пионерскую клятву.

Недовражин захмелел, говорил торжественно и нечетко. Но сохранял самоконтроль. Поэтому себя и оборвал.

– Мелькисаров, спать пора. Уступаю тебе комнату, сам лягу здесь.

– Недовражин, прости за нахальство. А негде постелить отдельно? Ты по-своему псих, а я по-своему. Мне тоже надо в келью, чтобы совсем одному. Я перекантуюсь в бане, ты не против?

– Окоченеешь. Тепло уйдет, часа в четыре поползет сырая изморозь, зуб на зуб не попадет.

– Дровишки-то остались? Подтоплю.

– Не угори. И не забудь проветрить.

11

Степан проснулся, подтопил, к шести промерз до основания, в семь вывалился из парилки в предбанник: тут еще холоднее. Зато на улице – благодать. Земля затвердела; солнце упорно било в нее, а разрыхлить не могло. От реки доносился запах ледяной воды. Сразило ощущение незаслуженного счастья: целый день впереди, столько всего еще будет!

Недовражин уже ушел; дверь открыта, на столе записка: «Навожу порядок, завтракай сам». Мелькисаров ограничился чаем и затиркой из черной смородины: аромат божественный, всесильный, как будто ягоду перетерли только вчера. А когда прибирался на кухне, заметил новехонький смартфон – брошенный среди ножей и вилок. Попробовал включить.

Батарейка работает; сигнал не ловится; зачем же тогда ее подзаряжать?

Недовражин был у дяди Вани. Во дворе, среди разбросанных плетеностей из вербы, кучковалась съемочная группа; оператор нависал над камерой, как тяжелая чайка над рыбой; в сторонке, зевая, стоял помощник и улавливал солнечный луч в серебристый мягкий отражатель; пышная красавица сияла синими глазами; дядя Ваня охотно позировал: в белой холщовой рубашке под новеньким ватником, подсвеченный золотистым лучом, он без малейшей суеты, сосредоточенно и глубоко осматривал свое творение и думал, что бы в нем еще улучшить.

– Дядя Ваня, – интересовалась красавица, заранее зная ответ. – А что для вас значит – искусство?

Дядя Ваня отвечал привычно, со слезой:

– Я же пропил всю свою жизнь, что я мог видеть? Только на старости лет прозрел. Михалыч, мне так доплетать или эдак?

– Стоп, снято! – скомандовал оператор.

Дядя Ваня охотно ссутулился и, позабыв об окружающих, сел доплетать боковину *проекта*. В угол рта он сдвинул папироску, от дыма прищурился, стал похож на старого мастерового: то ли сочная картина Перова, то ли жизненный мрамор Антокольского. Красавица мигнула оператору; тот понял с полуслова и снова нырнул в окуляр.

Костя объяснил, что сигнал в низине не ловится, только на взгорье, там, где раньше стояла церковь; в ней потом был местный элеватор, вечно перегретый подгнивающим зерном, а теперь торчал зазубренный фундамент: в конце восьмидесятых стены раскололи на кирпич.

– А так, конечно, пользуйся.

Степан поспешил на вершинку, а медийная толпа переместилась к медсестре; у нее вдоль штакетника стояли странные одутловатые плетения, что-то среднее между дирижаблем, кактусом и членом. Потом был двор неумной Федотовны – с кривыми коробами и опорными балками, похожими на курьи ножки. Подъехали немцы, французы; подтянулись культурологи; голоса горожан звучали глухо, низко и ровно, голоса кулебинцев звонко, высоко, разнообразно; село зашумело, засуетилось; близилось время обеда.

12.

Устроившись в удобной выемке фундамента, Мелькисаров зашел в Интернет, загрузил свою почту; с чужого телефона не опасно. В грудку спама закопалось письмо от Томского.

«Старик! Наслышан. Мутновато. На Украине ночью найден труп Лотяну. Нож – охотничий, с анаграммой. Свою СБ я зарядил, докладывают

– не спеши. Попал под раздачу. Держим связь!»

Час от часу не легче.

«Старик! порядок, понял, жду, спасибо».

Вдавлена мягкая кнопка, электронка уже в Москве, и в эту минуту с веселым треском на экранчик падает еще одно письмо.

Жанна. Почему-то руки слегка затряслись.

«Дорогой Степа».

Плохо дело. Обиделась по-взрослому. Кто же станет мужу писать, как любовнику в самом начале романа – «Дорогой». Степа, Степка, Степочка, милый, любимый С. И эта точка в конце обращения. Хорошо еще не запятая.

«Дорогой Степа.

Мне очень тяжело писать».

Еще бы не тяжело. Тяжелей, наверное, чем ему читать. Когда выкладываешь близкому начистоту, что наболело, всегда возникает тошнотное чувство.

«Дорогой Степа.

Мне очень тяжело писать.

Не знаю, где ты, что ты. Хоть бы записку оставил. Впрочем, ведь я тоже не оставила.

Мы прожили с тобой почти что двадцать лет. Я и не помню себя – без тебя. Я давно уже не знала, какая я – сама по себе».

На этом месте положено капнуть слезой. Но почему не написать – «живем»? Почему – «прожили»?

«И думала, так будет навсегда. Можешь сейчас рассмеяться, но я женщина, я верю в эту ерунду, про любовь до гроба, и про то, что они жили долго и счастливо, и умерли в один день.

Степа!»

А, вот уже и просто *Степа*; хорошо.

«Степа!

Мы с тобой последние годы жили все отдельно и отдельно. Пока Тёмочка был рядом, это было не так заметно: дети, они как паутинки, оплетают; мы были повязаны с тобой – через него. Потом Тёмочка уехал. Ты так решил. Я не спорю. Наверное, по каким-то там своим расчетам и раскладам ты был безусловно прав, когда настоял на отъезде. Нужно думать о его судьбе, о будущем. Но живем-то мы с тобой в настоящем. Вот здесь мы живем. А потом умрем, и нас не будет. Но пока мы есть. И я – живая. Когда уехал Тёмочка, я вдруг поняла, насколько же я одна. Ты хороший, умный, с тобой так интересно, но все-таки ты сам по себе. И я

сама по себе. А хочется быть вместе».

Ну вот, он тогда не ошибся в диагнозе. Все было сделано правильно, Жанна; кто же мог предугадать Тамариных уродов. Кто мог знать, что первое апреля обернется свинством. Если бы он был там... все бы сгладил. Да, Жанне стало немножко больно. Но зато потом наступит облегчение. Хирургия – это не жестокость. Это просто способ быстрого лечения.

«Я теперь понимаю, что чувствует мужчина, когда жена ему рождает ребеночка. (На самом деле рождает себе, но очень важно, что рождает – от него, от любимого, которым можно гордиться и который детям передаст всего себя; тут большая тонкость, я сейчас выразить не сумею.) По крайней мере первый год или два. Он чувствует то же самое, что чувствует мать, когда ребеночек вырастает. А я-то в ее жизни – где? Я тут – при чем?

Пришла моя очередь спрашивать: где я-то, Степа? Я-то здесь при чем?

Ты, верно, замечал: со мной происходит неладное. Давно уже происходит. И устроил все это безобразие с подростковыми погонями, машинками, девчонками и ряжеными дедами морозами, борода из ваты. Мне было очень обидно, когда все открылось, я чувствовала себя голой перед всеми. Но умом я все-таки понимаю, что ты не думал меня задеть. Ты просто слишком долго живешь в каком-то странном мире, где все считается по ходам, бьется доводами, пускается по ложному следу. Ты ведь от нас откупаешься, Степа; стоит с тобой заговорить о какой-то душевной проблеме, ты тут же спрашиваешь: сколько? Щедро предлагаешь, бескорыстно. Но так, чтобы тебя ни о чем больше, кроме денег, не попросили. Ты думаешь, что люди все такие. Нет. И всё равно, Степа! ты хотел меня развлечь, спасибо».

Да не развлечь, не развлечь – встряхнуть, накатить электрошоком, чтобы сердце забилося заново. Умом она понимает. Было бы чем.

«Но вот какое дело, Степа. Все эти годы я жила за тобой, как за каменной стеной. Мне не нужно было даже выглядывать из-за этой стены; все необходимое для удобной жизни мне доставляли в норку. Но ты меня из норки выманил. И думал, что посадишь в большую клетку. Золотую, конечно же. И просторную. Тоже – твою. Но так случилось, Степа, что я из норки вышла, а в клетку не попала. То ли ты ее случайно запер, то ли сторожа оказались не самые лучшие. Я впервые в жизни оказалась полностью свободной. До ужаса свободной. Я была предоставлена сама себе. Мне стало страшно, неудобно. И очень интересно. А как оно там, за пределом?»

Что, собственно, и требовалось доказать.

«А там оказался свежий воздух. И другие люди. От которых я отвыкла.

Степа, что крутить. Я полюбила. Пишу и краснею. Старая тетка, а туда же».

Забавный поворот событий. Молдаваны-то были правы, черт их совсем побери.

«Я не хотела себе признаваться. Между прочим, он тоже признаваться не хотел – себе. Потому что – ну, ты понимаешь, почему. Потому что он Иван Ухтомский, костромской актер, которого ты нанял, чтобы со мной поиграться в задетые чувства. Он поигрался и чувства задел. И мои, и свои. Но мы оба держались, ждали, когда рассосется.

Степа! если бы ты не стал дразнить меня через Аню, клянусь, ничего бы не случилось. Ничего. Вспыхнула бы страсть и угасла. Я ведь не была уверена, что мы подходим друг другу, что все это мне хоть зачем-то нужно. Но после Ани я как с цепи сорвалась. Вскрыла гнойник. И уже остановить себя не могла. А потом проросло. И все случилось, что должно было случиться. Вот так я скажу. Невнятно. Но ты, я уверена, понял.

Прости, я понимаю, что тебе больно, особенно после стольких лет уверенности, что я – навсегда, что не предаю, не сдаю, на шаг не отойду. Ты, наверное, сидишь сейчас и думаешь, что я тебя предала, что мир сволочной, что единственный человек, которому верил, и тот оказался, и т. д. и т. п. Особенно сейчас, когда ты попал в историю, и тебе не до тонких эмоций. Всякий, кто с тобой сейчас – друг, а кто не с тобой – враг.

Но, Степа! я жутко дергаюсь, и при этом ни о чем не жалею. Я тебе не враг, никогда им не была и никогда не буду. Но я пережила такое, о чем даже смутно не догадывалась, и теперь мне страшно подумать, что я могла умереть, никогда не испытав этого. Женщина существо нежное, уступчивое, пока не полюбит. Неважно кого. Полюбит. Она. Как только полюбит – жестокое без оглядки. Мужчина таится, ходит кругами, пытается сохранить все как есть, делает всем плохо и себе в особенности; женщина если решилась, значит решилась. Я решилась, Степа. Прости, если сможешь. Я хочу жить своей, отдельной жизнью. Я хочу счастья. Даже если его не бывает.

На Ивана зла, пожалуйста, не держи. Это все я. Он сломался под моим напором. А ты и не знал, что у меня есть напор... Я тоже не знала. Помнишь, у писателя Шишкова (кроме нас, томичей, кто его мог читать?) в «Угрюм-реке» героиня, Нина, берет управление заводом на себя? До этого она была добрая, сердечная, вступалась за права рабочих, охлаждала норы жестокого мужа. И вдруг: подавить! не отступать! Вот оказалось, что и я такая.

И сейчас ты в этом убедишься.

Степа. Я была мужней женой. Я бы ею охотно и осталась. Но вышло как вышло. И мне нужно будет научиться жить самостоятельно. Представляя интересы Тёмы. Я не сумасшедшая, не собираюсь требовать раздела имущества, распределения портфелей и оффшоров (на список которых ты сам меня навел, увы). Но хочу знать, каково твое мнение на этот счет. Как мы будем договариваться. На каких *реальных* условиях.

Еще одна неприятность – для тебя.

Мои интересы будет в этом деле представлять Забельский. Он и только он. Соломон совсем обрюзг, но все-таки он дело знает. Можно было, конечно, подыскать кого-нибудь стороннего, но не хочу. Тут уж сердись, не сердись: это моя маленькая месть за твою дурацкую затею. Но без этой затеи моя жизнь не повернулась бы на сто восемьдесят градусов... Не знаю, проклинать тебя или благодарить. Не знаю, как все объяснить Тёме. Ничего не знаю. Ни-че-го! Ныряю с головой в поток.

Еще раз прости меня, Степа. Не только за то, что уйду. Но и за то, что я к концу письма как-то вдруг разозлилась, прижала уши, зашипела. Не обращай внимания на тон, пожалуйста. Я не хотела. А переписывать письмо сил нет. Да и, может быть, если не отправлю то, что сходу написалось – уже никогда не решусь объясниться. И опять заползу в пыльную норку. И поручу то, что начало уже строиться. Нет!

Прости меня, если можешь. Прости. Отправляю немедленно.

Чтобы не успела передумать.

Жанна».

Вот и разрешилась проблема Ваниного гонорара... Мелькисаров был раздавлен, можно сказать, что убит. Но взял себя в руки, надел дежурную улыбку и пошел обратно, пировать.

13

К недовражинскому дому была пристроена летняя кухня и сколочен представительский стол, человек на сорок-пятьдесят. Специально для подобных случаев. Под навесом протянулась металлическая сетка; на сетке лежали булжники, от них исходило тепло. Из бани подтащили? нет, разогрели электричеством; грамотно.

Сельские смешались с городскими, русские с иностранцами; пиршество началось.

Федотовна разливала борщ, стараясь зачерпнуть погуще, с кусочком

жирного мяса; неприметные мужички подносили жареную домашнюю колбасу; женщины невнятного возраста предлагали вареной картошки из дымящихся чугунков; блаженно улыбаясь, Коля разламывал черный хлеб и хвастливо раздавал гостям: «Сам пек! Сам пек! Сам пек!». Искандеров радушно выставил на общий стол четыре банки болгарского лечо: лично от себя. Недовражин говорил положенные тосты; гости выпивали и закусывали, сельские – есть ели, пить не пили. Впереди работа и праздник, а уж после погуляем, как вам и не снилось...

Первое, второе, третье; бабы разложили пироги, полоумный Коля и механик Витя, пригибаясь, подтащили царский самовар. Трехведерный, покатый, латунный, с непомерной загнутой трубой, из которой вырывался темный дух сосновых шишек. Самовар жил своей отдельной жизнью: шипел, плевался, исходил паром; Недовражин, разливавший чай по сколотым чашкам, походил на домового.

Искусствоведы перебрали, а трезвые телевизионщики получили отставку: снимать на камеру процесс коллективной сборки Недовражин не позволил. Приезжих разбросали по избам, баиньки, и потянулись на церковный холм.

Пузатые коробка, членистоногие ответвления, спиралевидные отсеки просторно разбросали возле фундамента, установили лестницы и козлы – и началась упорная работа возведения. Остатки камня скрылись под сплетеньями стволов и веток; вверх, неуклонно, устремилась многоярусная башня; уровень за уровнем, ступень за ступенью; каждый следующий ярус чуть уже и чуть ниже предыдущего; выше, выше! тоньше, тоньше! Время от времени точный строительный план словно бы давал физиологический сбой; башня возбуждалась собственной силой и давала неприличные отростки. Несомненным было и ее округлое, раздвоенное завершение; русская башня соблазняла всемирное небо, дразнила вечность и звала совокупиться.

Недовражин не руководил, не вмешивался по мелочам; он, как полководец, наблюдал за общим ходом битвы – и само его присутствие уже вносило строй и ясность. Каждый чувствовал: хозяин здесь, он видит; каждый понимал, что нужно делать, а чего – не надо; в какой последовательности приплетать очередные кольца и в каком направлении выпускать отросток; бабы непристойно шутили, мужики похохатывали, но работа шла сосредоточенно и методично, по-немецки.

Мелькисаров сидел с Недовражиным на плетеном вербном табурете и следил за строительством башни. Настал его черед повествовать; он подробно и неспешно говорил про то, что было после Томска; Недовражин

молча слушал. Друг на друга они не смотрели, только вперед и вверх, как египетская парная скульптура.

14

– Дядя Ваня! осторожней! Коля, лестницу страхуй! – Недовражин подался вперед; падение предотвратили; он успокоился и подытожил: – Исповедь сдал, исповедь принял; ты, Мелькисаров, лорд Байрон для среднего класса!

15

Наконец-то основательно стемнело; наступила священная тишина. Телевизионщики выстроились кругом; камеры были готовы, свет выставлен; только дайте команду «мотор». Недовражин, как маленький бог, мягко взмахнул рукой; дядя Ваня подпалил смоляной факел, передал медсестре; медленно, олимпийски, та поднесла огонь к основанию вербной башни.

Сыроватая верба сдалась не сразу; древесная кожа раздувалась и лопалась, слышались пустые щелчки, как пузыри от жвачки; но через минуту пламя занялось. Сухощаво перебирало прутья, выплевывало сучки; жадно заползало снизу вверх, опоясывало башню по окружности, буйно разрасталось внутри, завихрялось и рвалось на части.

Красно-белый, желто-синий жар метался в темном воздухе; не хватало только шаманского бубна.

Сельские стояли полукругом, разбившись на статические группы. Дядя Ваня скорбно и мрачно смотрел, как пламя забирает его замысел, его труд; Федотовна сложила руки на груди, прижалась к дяде Ване. Новоделова сияла счастьем; Коля-дурачок ликовал. Русский оператор, одурев от счастья, перебегал со штативом с места на место; помощник отставал, оказывался в кадре; оператор грозно рычал. Немцы действовали согласно заранее утвержденному плану, позицию не меняли, играли наездами и отъездами. Французы то стояли смиренно на месте, то вдруг срывались и неслись навстречу пламени, а потом так же быстро отлетали в сторону.

Огонь непристойно облизывал фаллосы, изливался из утолщений,

разбрасывал искры; вдруг он вспыхнул ярко, на пределе, и разом ослаб; наступила темнота; остов башни обвалился, сотни красных угольков брызнули в разные стороны и обратились в едкий дым затухшего костра. Празднество было окончено.

– И все же огонь – очищает, – туманно выразился Недовражин.

По домам расходились медленно, осторожно; впереди была выпивка и закуска, но теперь у каждого – своя компания. Искусствоведы с искусствоведами; телевизионщики с телевизионщиками; местные с местными; Недовражин должен был всех обойти по кругу, а Мелькисаров гулять отказался. Завтра трудный день, опасный; надо выспаться как следует. Да и нет настроения пить.

Он отвел Недовражина в сторону, сказал ему откровенно:

– У меня большие неприятности. Вплоть до того, что делаю ноги. Куда – не скажу. Неважно. Спасибо тебе за все. Береги своих индейцев. И если можешь, продай мне телефон. Прямо с твоей симкой. Он мне сейчас нужнее, чем тебе.

– Да чего продавать? Бери.

16

Ночью Мелькисаров просыпался дважды. Первый раз – полтретьего, от звука битого стекла и бабьих воплей – пьяных, истеричных, заполошных. А затем под утро. Еще не рассвело, но и жуткой, непроницаемой деревенской ночи уже не было; проступали очертания предметов. То ли у реки, то ли за рощей – стреляли. Скорей всего, дробовик, или мелкий калибр. Базарно каркали вороны, разлетаясь врассыпную.

Спать расхотелось. Чувство было мерзкое, как будто отравился. Мелькисаров оделся, обулся, и, как сомнамбула, поплелся на взгорье. Тут было все разорено и пахло мокрой гарью. Экранчик светился ярко, как зеркальце, в которое попало солнце.

«Жанна!»

Неправильно так обращаться, резко.

«Дорогая Жанна».

Не годится. Так она писала: «Дорогой Степа». Клавиша Backspace.

«Милый Рябоконт!».

Стерто.

«Здравствуй, Рябокони!».

Вот это, кажется, подходит.

«Здравствуй, Рябокони!»

Не буду уходить в эмоции. Толку никакого, только запутаем дело. Я не знаю, как мне реагировать на Твое письмо. Каким образом Ты угодила в этого Ивана, Я могу понять. Не могу понять, что дальше. Решения нет, а Я этого не люблю.

Так что не буду Тебя ни отговаривать от ухода, ни отталкивать: иди, мол, куда идешь. Мой замысел Ты разложила по полочкам. Молодец, все точно, недаром столько лет живем. Только одного вопроса Ты себе не задала: зачем Мне было все это? Котомцев, Забельский, Ухтомский? И, конечно же, Анна, которая почему-то Тебя особенно зацепила. Ты догадалась: это было что угодно, только не развлечение. Уж поверь Мне, развлекся Я мог бы как-нибудь и по-другому. Не так затратно и во всяком случае повеселее. Но ведь это было и не только желание Тебя встряхнуть; здесь Ты ошибаешься.

Знаешь, каким был бы настоящий финал, если бы не это идиотское похищение? Наутро Мы улетели бы с Тобой в Париж. И вдоль всей дороги из «де Голля» висели бы щиты по-русски: «Жанна, Мы вместе!» Проехали еще сто метров, и опять: вместе. И снова. И снова. Французики ничего не понимают, а Ты бы поняла, чего ради Я полез во все это. Надеюсь.

Зато ты спрашиваешь про другое *зачем*. Зачем Ты Мне была нужна? если Я всегда скользил вдоль Твоей жизни по касательной? И внутрь своей, как Ты убеждена, не допускал. Пробую ответить, объяснить. Может быть, не только Тебе. Но и себе самому.

Во-первых, не была, есть. А, во-вторых, имеется такой особый способ жить – все время вести разведку боем. Выскочил из укрепления, подставился под удар, понял, где прячутся огневые точки противника, и быстрее назад, покуда цел. А там, за крепостной стеной, уже развернуты пушки, снаряды быстро подносят, Ты теперь знаешь, куда нужно прицельно бить: огонь, огонь! Добыча будет нашей. Самое главное в этом способе – не думать об ударе в спину. Не то что не бояться, а вообще – не думать. Потому что такое даже в голову прийти не может. За спиной – все настолько свое, что предательство невозможно. Ни при каких обстоятельствах. Иначе никогда не победишь.

Ты Мне обеспечивала не тыл (это удел домохозяйек-клушек), а линию обороны. Без такой женщины, как Ты, Я давно бы сломал голову. Ты считаешь, что Мы очень мало говорили. Наверное, мало. Но не потому, что Ты была мне якобы неинтересна. А по совершенно другой причине. Мне не

нужно было разбирать, как Ты смотришь на те или иные вещи, поскольку Я заранее знал: неправильно Ты смотреть не можешь. В принципе – не можешь, и все тут. Так зачем расспрашивать Тебя о ненужных деталях? Зачем прокручивать отдельные Твои суждения, которые Я все равно забуду и точно что никогда не стану учитывать в своих раскладах? Я Тебя ощущал в целом. Ты была условием Моего успеха. Что еще нужно Мужчине от Женщины?

Нужно еще кое-что, конечно. Но для того, чтобы состариться под одной крышей, пусть и в разных квартирах, главное – чувство совместного боя. Против посторонней жизни. Против натиска обстоятельств. Любовь это или не любовь? Не знаю. О словах готов поторговаться. Но, видимо, Я именно так люблю, а по-другому не умею, не хочу и не буду.

Поэтому когда Ты начала закисать, Я не просто потревожился о Твоем душевном состоянии. Если хочешь, Я почувствовал, что сам тону. Судорога. Ты когда переехала в Томск? В каком возрасте? Девчонкой или уже подростком? Ты говорила, но Я забыл. Но неважно. Я лично там вырос. Мы с мальчишками купались в ледяной Томи. В трусы всегда закалывали английскую булавку. Если сводило ноги, нужно было ткнуть в икру булавкой, до крови, чтобы сразу отпустило. Чем резче боль, тем быстрее разжимается мышца. Считай, что Я не только о Тебе заботился, Я себя спасал. Нужен был болевой шок, чтобы не пойти ко дну.

А получилось все как получилось. Прошу прощения. Но дальше все равно решать Тебе. Начала Ты отдельную жизнь или просто ответила новой судорогой – на попытку судорогу снять.

А хочешь Мою версию? Ты не влюбилась. Ты уцепилась. Чтобы от Меня удрать. Ты себя уговорила. Ты – в этого? Я не верю. Я его слепила из того, что было. Как в песне. Вот что это такое.

Буду ждать. Либо твоего письма, либо письма от Забельского. Можешь не волноваться. Ни Тебя, ни тем более Тёму в случае чего не обижу. Но все-таки подумай еще раз.

Пока, Жанна.

PS. Если что, письмо от Забельского должно быть на бланке. Закулисно списываться с Ним не буду. Передай».

Подписи он не поставил. Это лишнее.

Самолет забился мелкой дрожью, взревел и помчался по взлетной. Колотун внезапно прекратился, рев притих, движение стало гладким, как детский взмах на качелях. Пейзаж разрастался вширь, как будто раскрывалась диафрагма. Леса, озера, реки, суетливые трассы, хаотичная россыпь домов, крытых ржавым железом, блескучей жестью, новенькой кудлатой черепицей. Золотым и белым сияли острые церкви, закругленные бисерными куполами. Солнце сверкало нещадно; где-то там, внизу, грелись кошки, блаженствовали дедушки и бабушки, просыхала земля.

Соседнее кресло пустовало; Мелькисаров бросил на него огромную конфетную коробку. Сладкого он не любил, но удержаться не смог: в дьюти-фри продавали роскошный набор с картинками из Третьяковки. Безмятежные медведи, мягко приминающие хвою; ржаво-серая осень; детишки, как лошадки, тащат материнский гроб сквозь вьюгу; зеленоватое серебро луны мерцает над темной рекой; обнаженная красавица присела, чтобы укутать сынка после бани; веселые вруны-охотники лежат на солнечном привале; незнакомка, отдающая синькой, как будто предназначена для лаковой брошки; вот страдания армян на фоне лазурного моря; вот болотные мечтания прекрасной Василисы... На одной безразмерной коробке были воспроизведены все картинки сразу – мелковато, но различимо; ее-то Мелькисаров и купил.

Принесли газеты; перед завтраком зазвякали бутылки в сине-стальной тележке: пожалуйста, вода без газа и томатный сок; на фарфоровых блюдах разложили икряные тарталетки, изящный омлет; дали горячего чаю со сливками; собрали грязные подносы. Когда он снова посмотрел в иллюминатор, под ними были только облака. Скучные, вязкие, как только что взбитый белок. Мелькисаров откинулся в кресле и прикрыл глаза.

Эпилог

1

У Томских намечался праздник. Посреди прогретого газона сиял белоснежный шатер. Любимые овчарки Алекс, Маша и Васса носились наперегонки, сталкивались в воздухе могучими телами, лаяли напропалую, тыкались холодными носами в поваров, таскавших уголь и припасы; повара трусливо охали.

Слева от шатра была возведена концертная площадка; музыканты принаравливали звук; повизгивали скрипки, резонировал контрабас; духовики издавали неприличные звуки: пррр...пррр. Дирижер заигрывал с худышкой в серебристом платье; из-под короткого плаща маэстро торчали вороньи фалды концертного фрака; красотке было холодно, она крепилась.

Поближе к дому, под навесом, рабочие в комбинезонах выставляли мощные этюдники с картонными листами; оттуда доносился запах неразбавленной гуаши, акварели на меду – и свинцово-тяжелого масла. Это Ванька придумал, его ноу-хау: художник по вкусу клиента. Так сказать, эскорт-услуга. Хочешь Софронова, будет Софронов. Или Дубосарский. Или даже Кантор, если хватит денег. Художник обозначит тему, немного обождет в сторонке, даст время проявить фантазию – и начнет сеанс одновременного рисунка.

Вообще, он оказался ловким малым; именины, крестины, корпоративы – очередь расписана на месяцы вперед. Делает со вкусом, самобытно, но при этом с пониманием клиента, как бы изнутри его заверченных мозгов. Судя по всему, деньгами тут правит Жанна, но держится в глухой тени: это все Ухтомский, что я, а вот он – молодец. Сколько лет ждала своей минуты... Страшно сказать, повезло. Хотя что значит повезло: Ванька при ней, а она-то сама по себе. Со Степаном развелась, за этого не вышла; на людях появляются вдвоем, а живут на два дома. Ванька где-то в Куркино, Жанна в своей квартире, а в Степиной теперь – наездами – Артём.

Тёма, надо сказать, здорово изменился, солидный юноша; щеки розовые, снигириные, вид мрачноватый, но не злобный. Волосы отпустил; жесткие, стоят дыбом, зрелище комичное до умиления. С полуотчимом вполне сошелся; они сегодня приехали вместе, пораньше; именно Тёмка придумал, как развести в пространстве стариков, молодых и детишек – и

при этом избежать концертной какофонии. Virtuозы сыграют возле дома, для старших; через овраг, на спуске, за елями – будет зажигать Земфира, причем колонки развернут налево, в сторону «Барвихинских далей»; а за домом, под присмотром целой армии нянек, пускай веселятся клопы. Все вместе, в общей куче: и внуки партнеров, и детишки из его звенигородского лица: сироты, но никаких детских домов! никаких! домашняя атмосфера, воспитателей все зовут мама и папа, но только на вы.

Сегодня Кирюше – полгода; Татьяна и Андрей с утра по-стариковски беззащитно улыбались друг другу и с удовольствием говорили: ну что, бабуля, все готово? Надеюсь, что успеем, дед. Им очень нравилась эта игра: молодые, энергичные, а при этом – дед и бабушка. Кирюшенька их узнавал: когда они склонялись над кроваткой, он агукал, бодро бил ногой по карусели-погремушке, карусель крутилась, мерцала, тренькала; внук сиял во весь рот, а во рту было два беззаботных зуба. Когда же ему гулили и делали козу дед и бабушка с той стороны, он вел себя совсем не так! он был сдержан, как будто бы скован, только вежливо дрыгал ногой.

Анюта ревниво наблюдала, как Андрей Николаевич и Татьяна Никитична тетешкаются с Кирой; быстро девчонка повзрослела: почти что ровесница Тёмы, а уже настоящая женщина; что значит материнство. Между прочим, вчера впервые согласилась съездить с ними в церковь, отстояла всенощную; устала, но, кажется, растрогалась, когда отец Феогност после службы, в сумрачном, душистом храме, подошел и приласкал младенца.

Конечно же, сначала они были в шоке. Особенно Таня. Жениху девятнадцать, невеста полгода назад окончила школу; обрюхатил, дурак; девка тоже хороша, не знала, что ли, как предохраняться? про церковное лучше молчать. Ладно хоть не пария, не золушка; папа с мамой из соседнего поселка. Не подстилка, ничего не добивалась от Андрюхи, а просто сглупила по неопытности, и не делать же теперь аборт.

Первые месяцы, встречая невестку, Татьяна улыбалась сжатыми зубами. Быстро раздвигала губы, тут же сдвигала обратно; взгляд оставался холодный, прямой. Духовник советовал смириться; она старалась – но не выходило. Утром, став на молитву перед огромной, в полстены иконой Казанской Божией Матери, размякала, как баранка в чае; ощущала свечение веры, грелась надеждой: ну смогу полюбить, ну смогу же. А едва завидит тощую фигурку – кожа да кости, что он в ней нашел! каменела, покрывалась холодным гневом; намоленная чистота куда-то испарялась.

Но как только живот у девчущки раздулся, стал похож на маленький мячик, Таня сразу же сдалась. Чем тверже был Анин живот, тем мягче

становилось отношение и тем чаще Татьяну хвалил духовник. Она легко обнимала невестку, ощущала ее твердую округлость, и сердце матерински билось над внучатым плодом; такое удовольствие, не передать. Когда же малыш стал вздыбливать ножками-ручками и без того уже звонкое пузо, Таня слегка помутилась в рассудке, начала переживать состояние Анюты – как свое. Стала немного беременной – вместе с ней.

А что творилось во время родов! они же начались внезапно, Швейцария накрылась медным тазом! Вспомнишь – вздрогнешь. Таня приказала включить мигалку, следом за «скорой» понеслась в роддом, прорвалась в родильную палату и стала метаться, срываясь то в слезы, то в смех. Аню вырвало зеленоватой жижей – не удержала рвоту и Татьяна. Андрюха думал отсидеться в приемном покое; мать впихнула его насильно, посадила рядом с юной женой, приказала: держи ее за руку, жми сильнее, ей от этого будет легче! Незнакомый еврейский врач отговаривал: ну не надо, ну прошу вас, *женщина*, он же еще мальчишка, они брезгливые, потом к жене не сможет подойти, будет вспоминать, как *это* все *оттуда* лезло. Ничего, подойдет! А нет – и не надо, справимся сами...

2

Татьяна пошла наблюдать за процессом, а Томский удалился в кабинет. Необходимости работать не было, от оперативного управления он давно отошел, только общий контроль и присмотр, но привычка – вторая натура. Включил телевизор на Блумберге – высветился скучноватый фон: кисейными лентами тянутся цветные строки; как на вокзальном табло, продолговато прокручиваются цифры. Пробежался по основным котировкам. Заглянул на форум.

11:11 BUGULMA

Сметать будут почти все – денег валом – а фишек мало!!! Раллий будет долго!!!!

11:12 Fire2k

СибиряК насдак 2400 это да, согласен....кто-то наепнёца: не сейчас, конечно.

11:13 \$/\$

Виктория, а вдруг у нас общий прадед!? во как_)))

11:17 stinker

это писэээээ... Все с корабля пока не поздно!!!

11:19 Клещ

НЕФТЬ!!!!!!!!!!!!

Бедные ребята! Болтают, нервничают, продают, покупают, советуются, друг друга выручают, потом пускают по ложному следу и в последнюю секунду швыряют подсказку, как спасательный круг. Попутно кадрятся. И все – обман. Нет у них личной жизни. В пять сорок пять закроются торги, они переползут на форекс, чтобы торговать деньгами. Доллары на евро, евро на йены, йены на франки. И тоже будут дергаться, надеяться, гадать: где пробьется уровень поддержки, какое разрешить плечо, от скольких пипсов допустим спред? В час-два ночи отвалятся в постель; в глазах по-прежнему искрит; привидится обвал и крушение рынка – проснутся в холодном поту, сердце колотится, на часах четыре утра, и уже не уснуть.

Кто виноват, что эти – опоздали? Точно что не Томский. Так уж устроена жизнь. Каждому поколению – свой кнут и свой пряник. Эти – выросли в покое и достатке, зато не получают простора, будут частью чужого замысла. А мог ли думать Дрюпочка Томский, что будет сидеть на Рублевке, посреди четырех гектаров, дом с колоннами, настоящий замок? Никакой Рублевки не было. Не было замков. Был выжженный, желто-белый город бахчевых, Чарджоу. Всеобщий дух лепешек и зеленого чая, пахнущего горькими сухофруктами. Излет пятидесятих, детский дом для больных скалиозом. Жизнь заранее лепила его для будущего; он тогда не знал, что это – Промысел.

Днем их голенькими клали в гипсовые формы; они лежали неподвижно, как ракушки в известняке; жирные мухи норовили сесть на пипу, пот щекотно стекал по ребрам под спину; к концу сеанса гипсовые формы превращались в ванночки с горячим соляным раствором. Все время хотелось покушать; что за еда бахчевые? поздним летом и осенью липкие «колхозницы»; зимой – соленые арбузы, закатанные в банки, как помидоры или огурцы; на сладкое сушеные семечки. Поэтому главные люди в Чарджоу – блатные; у них тельняшки, фиксы и наколки, они держат местный рынок и могут угостить кониной, провяленной до черноты; ее можно долго сосать и тереть зубами; а иногда они дают бесплатно забросить под язык зеленоватый душистый кайф.

В середине девяностых Томский приказал узнать: что стало с пацанами? Лучше бы не узнавал. Ему тогда пятидесяти не было, а все уже перемерли. Все. Кто заразился лагерным туберкулезом. Кто спился. Двое встретились на урановой зоне, под Челябиной; Рахмонов за убийство, Иванов за групповуху. Убийца прикрыл насильника, не отдал петушить; через неделю одного обнаружили на хоздворе со ржавым гвоздем в ухе, а другой

случайно свалился в шахту. Шешерин скончался от запущенного сифилиса; Серегу Пашкова нашли по запаху через неделю после смерти; он пил в одиночку, перебрал, случился приступ, а телефон был отключен за неуплату.

И Томский должен был плохо кончить. В восемь лет он сделал первую наколку на предплечье, блатные ему показали, как надо *залазить* через форточку в квартиру. Когда Шешерин плюнул ему в морду, Томский пошел в слесарку, взял ржавый напильник без ручки, вернулся, встал перед Шешериным на одно колено, и пока тот тупо на него глядел, пригвоздил шешеринскую ногу к земле – напильник прошел сквозь подметку сандаля. Кровь ударила вверх, как водяной вонтанчик на улице, попала в ноздрю...

Судьба была предreshена; вмешался случай. Дрюпочка отлично считал. По разнарядке в детский дом пришли контрольные вопросы матолимпиады; пожелтелый, усохший директор-туркмен вызвал Томского, усадил за столик у окна, лично устроил хороший сквозняк, чтобы мозги работали, и приказал: Дрюпа, решай! только правильно решай, слышишь меня, мальчик? И поцеловал его в макушку. Почему-то запомнилось: столик был светлый, лакированный, лак весь потрескался, а в нескольких местах пожух и вздулся. И еще был запах жаркой свежести. И трепыхалась короткая, выцветшая добела занавеска.

Потом была победа, прекрасная столица их республики, вся пестрая от полосатых шелковых халатов, красивая грамота с белым профилем Ленина, переезд в московский интернат для юных физиков и математиков; учеба, учеба, учеба; жадное счастье познания; а потом учеба кончилась, и пришлось выбирать. Или наука, голод, общежитие. Или заработки, схемы и аферы. Он выбрал то, что выбрал. И никогда не позволял себе об этом сожалеть. Хотя и каялся за прегрешения.

И о чем сожалеть, если все получилось? Прошлое слиплось и ссохлось в комок, отброшено, как грязное белье в стиральную машину; щелк! и бодро пенится вода, смывая все дурное без остатка. Он смог, состоялся; пока все раболепно протирали брюки в бесконечных трестах, занимали денег в кассе взаимопомощи, мелко воровали финскую бумагу, распределяли в очередь заказы с синеватой курой, золотыми шпротами и гречкой, он – жил. Просторно, не робея. Это ведь особое искусство – жить с размахом. Это счастье.

Вот карта страны, в кабинете. И сквозь нее, как сквозь прозрачную стену, ты видишь повсюду – себя. Прилетаешь затемно, мчишь по заснеженной плоской дороге, сквозь нарастающий свет; облепленный роем начальства, проходишь по своим цехам, где когда-то все было пусто, грязно

и мертвенно тихо, а теперь гремит, вздымается, стремится. Тысячи людей, при деле, при зарплате; каждый знает, что ему нужно делать; каждый живет – не напрасно. Это стоит того, чтобы откупаться, вилять и поддерживать отношения.

Правда, возраст изредка дает о себе знать. Здоровье крепкое, прокаленное. Но как-то вдруг, внезапно, вырубается интерес. Живешь, решаешь проблемы, все получается; хоп, и оцепенение. Потом справляешься с собой, возвращаешься к нормальной жизни. Но как-то неправильно мягчеешь. А в этом деле мягчить нельзя. Игумен Андроник, внимательный дядька, все видит насквозь, года полтора назад посоветовал ему: Андрей Николаевич, знаете что? не срывайте резьбу. Смените обстановку. Что-нибудь такое... экстремальное... например, через пустыню. Как наш возлюбленный владыка с вашим дорогим Чубайсом. Ангела-хранителя вам в путь.

Идея вдохновила; он начал готовить маршрут. Только не через пустыню; в Чарджоу он песка насмотрелся на всю оставшуюся жизнь. Пусть будет вода. Большая вода. Океан. Считалось, что они пойдут втроем. Томский, Степан и Андрюшка. Мелькисаров, засидевшийся в своей загранке, придумал взять на Гугле страницы космических снимков, сделанных со спутников слежения. Океан похож на черный мрамор с белыми прожилками. Вручную, на компьютере совместил красивую картинку с лоцманскими картами, и вывел на термопленку с клеевой основой. Они собирались обтянуть стены кают-компании, а потом флажками отмечать отрезки, пройденные за день...

И тут объявилась Аня. Томский сразу понял: дело швах. Андрюха потерян для дела. Они отложили поход на полгода, потом еще на три месяца, и еще на два; знаменитый путешественник Кучерский, запросивший невшибенных денег за океаническую яхту, терял терпение, ставил ультиматумы: либо в этом мае, либо никогда, у него потом другие планы.

А сегодня Томский понял: вот оно! сына меняем на сына. Раньше просто в голову не приходило, что Тёма – дозрел. И в мае он наверняка свободен; лицей раздаст дипломы в конце апреля.

3

Они сидели дома, на крылечке; окна выходили на железную дорогу;

дерзко свистанув, из-за поворота вылетел поезд. Впереди глазастый паровоз, под трубой аршинный лозунг «Из варяг – в греки!». На платформах, вместо вагонов, разные домики. Кирпичные, шлакозасыпные, из неоструганного бруса. Возле домов происходит жизнь: бабы развешивают драные простыни, аршинные трусы; сопливые мальчишки стреляют из рогаток по воронам; мужики строгают рубанком, желтая стружка отлетает вниз. Мелькисаров смотрит: а они уже и сами – с Жанной – на платформе; едут куда-то, за спиной стоит их дом, а мимо пролетают степи.

После таких невнятных снов просыпаешься с чувством вины. Перед кем и за что непонятно. Сквозь полуспущенную штору сочится раннее римское утро; на часах половина пятого; еще не понесли мотоциклисты – тихо; из окон тянет тепловатой сыростью: февраль. Мелькисаров шарит под кроватью тапочки, бредет на кухню. Стальной аппаратик громко жужжит; чем-то похоже на быструю, недовольную итальянскую речь. Густо пахнет кофейной жижей... Чашка, другая, третья... Главное не разбудить Джованну; она солидно всхрапывает в своей отдельной спальне; девушке рано вставать, полусонно ползти на службу в магазин нарядного белья. Не то, что ему.

Зато ей совершенно все равно, есть посторонние в доме, или нет; а он уже год как смиряется. Живет с чужой, ненужной, излишней женщиной. Чуть полноватой, но симпатичной; охотно нанял бы ее убираться три раза в неделю и при случае как следует щипнул. Ощущает кислотные запахи, наспанные ею за ночь и способные мгновенно, ядерным выбросом распространиться по квартире, как только одеяло скинут; слышит утреннее шлепанье по выстуженному кафелю, жизнеутверждающий спуск воды в унитазе, мелкое журчание биде, наглое завывание фена, базарный разговор по телефону; видит на сияющем кафеле ванной – оползни длинных волос, кругляши лобковой поросли, недосмытую пену на круглой зеленой бритве... И ничего, справляется. Потому что – а куда деваться? Каждую минуту может нагрянуть полиция, чтобы проверить: ведется ли совместное хозяйство? на месте ли теплые тапки? По-другому получить гражданство невозможно; терпи и доказывай: брак настоящий; а не хочешь – мы не принуждаем, поезжай домой.

Но домой – нельзя. Первое дело, по Вушкэ, закрыто; второе, по Лотяну, люди Томского ведут к развязке; спасибо Андрею, не сдал. Но не успеваешь откупить одну угрозу, как тут же нарождается другая. Сначала Сергиенкова разыскала его электронку и прислала осторожное письмо. По форме – болтовня с когдатошним начальником про жизнь, про утекающие

годы и про домишко возле Лимассола, двадцать километров к югу, хорошо, но пейзаж унылый, море каменистое, босиком не походишь: не Сочи. По содержанию – сигнал тревоги, штормовое предупреждение. Физтеховцев стали таскать на *беседы*; вы же понимаете, Степан Абгарыч, в чем загвоздка. Ну, прощайте же, держитесь и всех благ.

Вроде бы Томский и в этом вопросе нащупал ценовое дно; сколько – не сообщает, дареному коню, и все такое. И тут – последний удар, под дых. Отмывание... в особо крупных... та самая папка, с которой к нему приходили лейтенант с майором. Продали все-таки. Мразь ментовская. Узнав об этом, Мелькисаров обозлился так, что потерял контроль. Перерыл бумажные залежи, отыскал рекламную открытку, которую привез когда-то из Парижа, с выставки российского искусства: два мента, среди березок на снегу, целуются в засос, и ручки ласково кладут на попки. Написал на обороте: *Рома, любимый! Скучаю. Твой Степа...* Не поленился запутать следы: доехал до границы, шлепнул испанскую марку – и отправил без конверта, на адрес отделения. Пускай *коллеги* лейтенанта почитают.

Томский устроил ему потом *коллег*. Покрыл таким православным матом... он ведь и по этой истории почти что сторговался, но после открытки Роман Петрович пошел на принцип. И пока не видно перспективы, не похоже, чтобы рассосалось. Пришлось заложиться на долгую жизнь в непонятках; тоска. Ощущение бильярдного шара, закатанного в лузу. Для вас игра окончена. Лежите, слушайте, как сверху, над вами щелкает кий и раздается тихий выдох.

4

Он переливает кофе в металлический кофейник, берет свою стальную чашку и на серебряном подносе несет все это в гостевую. Здесь у него любимый склад. Конечно, не наличных денег; что было, то прошло, не повторится.

На стенах – картины. Огромные; до Первой мировой холсты не сэкономили. Лесная отсыревшая опушка; токует тетерев, самозабвенно заведя глаза. Рядом – болотная нежить; яркие лисья лежат на серо-зеленой ряске. И еще – деревушка на взгорье, в полутумане; крестьяне топят печи; по гниловатой траве разбросаны холмики старого снега. Вот моя деревня, вот мой дом родной... только домишки странные; крыши из давленной соломы, штaketник чересчур подлатан, а каменных строений многовато...

Картинки он заметил в галерее; здесь по-тихому распродал остатки лотов. Мелькисаров различил их с порога. Они вспыхнули перед глазами, а все остальное погасло. Так посреди разношерстной толпы мгновенно различаешь женщину, которую любил когда-то. Вот они, его любимчики. Красавцы. Но как они сюда попали? Почему не были проданы с торга? Они же в моде? на подъеме? Подошел поближе, почитал таблички, а вместо Боголюбова и Шишкина увидел: на одной – Маринус Адриан Куккук, на другой – Янус ла Кур, а на третьей – Андерс Андерсен-Лундбю. И цены подходящие. Всего-то с четырьмя нулями.

Потом он будет увлеченно рыться в Интернете, закажет книжки по почте, детально изучит вопрос; узнает о голландцах, о датчанах, дюссельдорфцах, которые работали одновременно с Шишкиным, Саврасовым, Васильевым – и были настолько своими, что трудно поверить: сплошной Лундбю. Но это потом. А в первый миг вопросов не было. Только желание громко сказать «мое».

А на самом видном месте гостиной, как главную гордость собрания, Мелькисаров развесил Тёмины фотки, подарок: Москва, увиденная сверху.

5

Томский долго терпел, завистливо подглядывал сквозь прозрачные стены веранды, как ребята листают Тёмины фотки – и не удержался, напросился. Они как вежливые люди потеснились, промолчали, но и радости не выказали; ладно, вырастут – поймут, что значит пообщаться со взрослыми детьми. А Тёма и вправду мастер. В этот свой приезд забрался на высотную площадку МГУ. Устроился под шпилем. Чтобы не скукожиться, поставил палатку; камера снимала сама, в автоматическом режиме, через установленные промежутки. А специальный штатив потихоньку вращался вокруг оси. Вот в Лужники стекает свет прожекторов, как лава, а на заднем плане тихо подсвечен Новодевичий. Вот слегка расплывается Комсомольский: красиво, продумал выдержку. И первое солнце на пестром Кремле... Про океан отснимет не хуже.

Надо будет вечерком отписаться Мелькисарову, согласовать кандидатуру Тёмы; эх, поспешил Андрюха, поспешил... Но про главное он скажет Степе не сейчас. И не в порту, не по дороге. А как только они сойдут на берег. Будет неожиданная радость. Потому что милиция – продавилась; жадность взяла свое; к осени зачистим швы, и можно брать

билет обратно.

6

День первый. 50: 06: 43 N / 5: 01: 44 W.

Впереди – 4 000 морских мили, под 8 000 километров.

Холодно не по-весеннему.

Федор Сергеевич обещает *приливную лунную волну* и ухмыляется.

Сегодня болтанка. Шесть баллов.

Айвоз: девятый вал, глинистое море подсвечено зеленым, кораблик чуть побольше Нашей яхты, моряки сражаются с волной; а бывал ли Он в открытом море?! Чувствую Себя размокшей спичкой в коробке; коробок подбрасывают волны; за что уцепиться? И радость: генератор копит электричество.

Если откажет, конец. Потеряем навигацию: GPS и айпод разрядятся, отключится радар. Останемся без холодильника. Пропадет освещение. Налетит ночью танкер – размажемся. Интересно: когда сам ходил на траулере, не думал про лодчонки рыбаков тумане.

Яхта трещит. Спрашиваю Тёму: не жалеет, что ввязался? Не жалеет.

День восьмой. 28: 05: 24 N / 17: 06: 25 W.

Сегодня пройдено 118 м. миль.

Приближаемся к о. Гомера, Канары. Океан успокоился.

Главное чувство – не страх, не голод и не жажда. Главное чувство – спать хочется, а невозможно. На второй день выползаешь на палубу, перебрасываешь себя от зацепа к зацепу и вваливаешься в кокпит, где стоит на вахте Федор. Не мерзнет, мурлычет что-то под нос; Ты ему про болтанку, Он тебе – штиль намного хуже.

Смотришь перед собой: навстречу темная стеклянная стена, пять или шесть метров, конец! Но яхта взлетает на гребень, зависает на долю секунды и рушится вниз. Со свистом. Какое там американские горки! русские качели! никакого сравнения. Резиновый канат, на котором вниз башкой бросаются с моста, чтобы мысленно умереть и ожить, когда Тебя на растяжке уносит обратно.

Внутренности отделяются от костей, лезут в горло. Через две минуты – новая стена; опять удача: гребень, невесомость, полет.

А ночью океан ревет, швыряет из стороны в сторону, загородки отбивают бока. Гугловская карта основательно попорчена; катаюсь валиком

по койке, норовишь уцепиться за стену, царапаешь линию склея.

На четвертые сутки проваливаешься в короткие сны – чтобы тут же опять проснуться. Стихает ветер, ползешь на корму, как старая собака смотришь неподвижно в одну точку. От горизонта до горизонта вода. А Ты в полудреме. То, что сейчас – оно на самом деле? Или привиделось?

Только вечером заставляю Себя включить наладонник. На память.

К вечеру четвертого дня подул южный ветер, на небе проглянули крупные звезды, над водой замельтешили крылатые рыбки. Одна взлетела, сверкнула мимо и погасла; за ней еще и еще; вдруг полная темнота – сидишь у бортика, ноги подогнуты по-турецки, гадаешь: видел Ты это все или померещилось?

А вчера справа по борту проплыла морская тюрьма. Медленно, пять-шесть узлов, не больше. Белый пароходик. На палубе вышка, что-то вроде судейского места в середине теннисного корта. Возле рубки – деревянная церковь с белым крестом на крыше, а в стену церкви вделано баскетбольное кольцо. Тюрьма белая, небо синее, море зеленое, от людей – отвыкли, полное ощущение потусторонности.

Я жив еще? или уже нет?

Вечером и ночью проходим мимо мелких светящихся кучек. Как светляки собрались на ночевку: Карибы.

Завтра, а может, уже и сегодня, стоянка. Поспим, очнемся. Поучимся стоять у штурвала. А главное, сможем помыться!!! Соль белесыми кристалликами покрыла кожу, пах сжат, как черепаший панцирем.

День 25. 24: 02: 33 N/ 22: 02: 19 W.

Сначала здорово помотало. Зато летели вперед, и только вперед. И вдруг – сразу – обесточило. Раздвинулась хмарь, выступило небо.

Яхта скользила тише, тише, и почти остановилась. А на Барбадосе – ждут.

Попробовали запустить мотор. Взревел и подавился. Вода подмешалась? Но по любому – починить не сможем. Кучерские были мрачные. А Мы голиком прыгали в океан, плавали, наблюдали сквозь маску за разноцветными стайками рыбок. Томский загарпунил рыбину. Хорошо, молоденькую, метр с небольшим, а то бы унесло Его неизвестно куда.

Развели огонь в барбекюшнице (лучше бы вода попала в уголь, чем в мотор!), запекли и съели. Кайф. Ни в одном ресторане, ни за какие деньги... тает во рту и пахнет свежим морем. И еще лимон у Нас был. Канарский, рыхлый. И местные сигары, в железных тубусах, непромокаемые. Светлые-светлые, очень легкие; курили, смотрели в небо: мирный разврат.

После обеда выставили тент, подремали. На вечерней зорьке наконец-то почитал Библию. Хорошо написано. Немного пафосно. Не противоречит теории большого взрыва. И все было безвидно... и отделил небо... и вот, вода повсюду, и дух божий витает над ней... почти как Мы сейчас. А потом пошел чесать, страница за страницей. Краем глаза, по отсвету, отмечал: солнце спустилось еще на полсантиметра. Буковки стали слипаться. Поднял глаза: минуту-другую еще была видна полоска неба, и сразу полная, беспримесная темнота. Настоящая темень только здесь. Вытягиваю руку с книгой – не видно ни руки, ни книги.

Хоп, на яхте включается свет.

Сегодня впервые проснулся не из-за грохота и треска, а от ощущения запредельной тишины. Слышно, как булькнула вода в неполной пластмассовой емкости.

Палуба как бы ошкурена жестким солнцем; колючая поверхность раскаляется, жар спускается в трюм, внутри градусов пятьдесят, к железу не прикоснуться, духота выталкивает все живое наружу.

Экономим электричество.

Скучно купаемся, вяло едим.

Разговаривать не хочется. Тёма извелся: нет Интернета, даже через спутник. Вечером я передавал Томскому миску с гороховым супом, чуть поскользнулся, выплеснул полложки. Томский взвился: «Ты какого чччерта!.. руки-крюки». Потом извинился, но как-то зло. Федор сплюнул: началось. Вышел из-за стола, хлопнул дверью.

День 27. Без движения.

Кастрюля на плите не расплескивается. Непривычно.

Хоть бы чайка пролетела. Но до земли далеко.

Молча переключаем парус.

День 30. Без малейших перемен. Все друг друга тихо ненавидят.

День 31. Пишу наспех. Ветер опять подключили. Рванул без разгона. Взрыл волну, как землю лопатой: было ровное поле, и вдруг ямы, холмы, ямы, холмы. Пытались по очереди держать курс; шесть часов кряду – шли поперек волны, кокпит накрывало полностью, окатывало рулевого с головой. Опять подбрасывало на шесть метров – и вниз, амплитуда все двенадцать, при ударе носовой частью о воду раздается жуткий шлепок, и кажется: конец, сейчас развалится. Но – не разваливается. Значит, еще не конец.

А с парусом беда. Ветер креп, достиг тридцати узлов, отдельные порывы – все тридцать пять. Решили: рубим грот-мачту; лучше уж без паруса в живых...

День 32. Рубили в темноте; настоящего размера волн Мы уже не видели, только ощущали: внутренности хлюпают. Сейчас видим. Море как бы закипело, Мы внутри гигантской кастрюли, Нас крутит на месте, всасывает на дно, выбрасывает с пузырьками наверх, как картофель в супе.

Прорвемся?

На экране бортового компьютера исчезает изображение нашей яхты, наложенной на сетку координат; появляется штормовое предупреждение. Наперерез идет реальный ураган, в диаметре 1500 миль. Зацепит. Книжки читали, знаем. Десять метров – сходу, без предупреждения. Волна пойдет от горизонта по косой, и сначала будет восторг, когда Мы вылетим на гребень. А потом отвесное падение. Двадцать метров в амплитуде. Семиэтажный дом. И кислород в крови.

Ну что, святитель Николай? Христос, говоришь, воскрес? Воистину? Хорошо бы.

Тёма, на выход!

2004–2008

Содержание

[Александр Архангельский Цена отсечения](#)

[ЧАСТЬ 1](#)

[Глава первая](#)

[Глава вторая](#)

[Глава третья](#)

[Глава четвертая](#)

[Глава пятая](#)

[Глава шестая](#)

[ЧАСТЬ 2](#)

[Глава седьмая](#)

[Глава восьмая](#)

[ЧАСТЬ 3](#)

[Глава девятая](#)

[Глава десятая](#)

[Глава одиннадцатая](#)

[Эпилог](#)